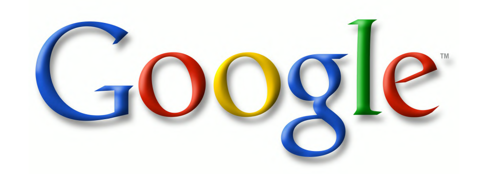


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

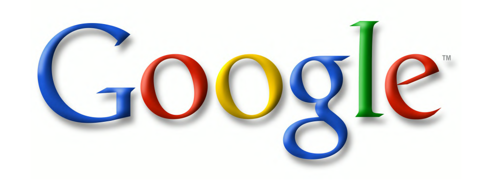
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы ирединяли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

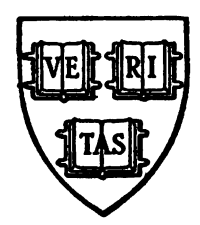
- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

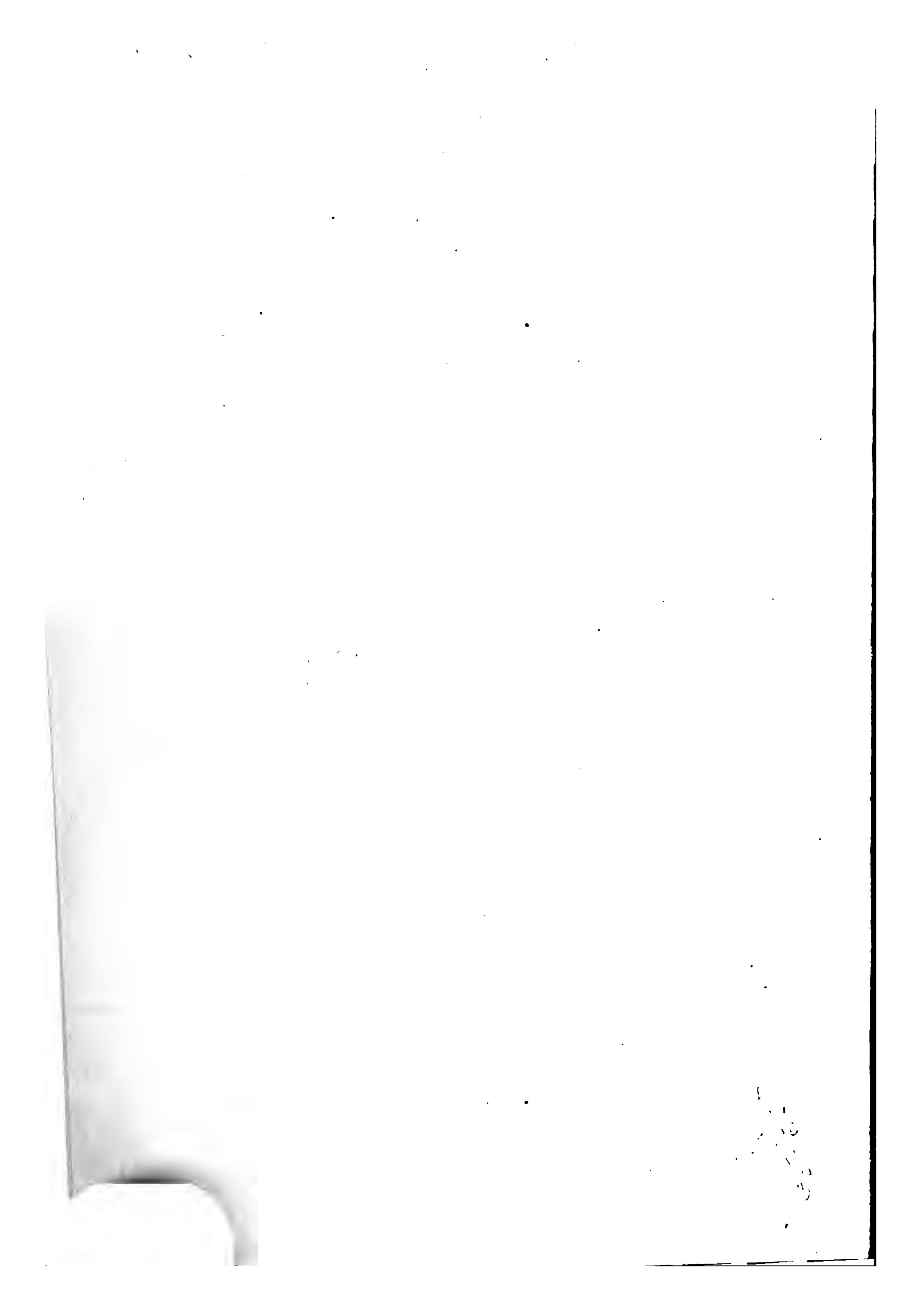
Slav 4335.7.385

Harvard College Library



BOUGHT WITH MONEY
RECEIVED FROM THE
SALE OF DUPLICATES

СКАЗОЧНЫЯ БЫЛИ.



А. В. Амфитеатровъ.

Сказочныя были.

Старое въ новомъ.

Изданіе И. В. Райской.



6-ая тысяча.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Складъ изданія и типогр. Товарищества „Общественная Польза"
Бол. Подъяческая № 39.

1904.

Slav 4335.7.385

HARVARD COLLEGE LIBRARY
BOUGHT FROM
DUPLICATE MONEY
April 29, 1958

E

Князю Эсперу Эсперовичу

Ухтомскому

дружески посвящается эта книжка.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отъ автора.

Разсказы и статьи, собранные въ книжкѣ «Сказочныя были», всѣ уже были напечатаны въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ послѣднихъ пяти лѣтъ и воспроизводятся здѣсь безъ перемѣны или съ самыми незначительными редакціонными измѣненіями.

Относительно серіи статей «Старое въ новомъ», печатавшейся ранѣе въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» (за исключеніемъ статьи «Вербы на Западѣ», помѣщенной въ «Новомъ Времени»), я долженъ предупредить, что очерки эти — компилятивнаго характера и представляютъ собою подготовительный матеріалъ къ книгѣ «Призраки язычества», о которой я упоминалъ въ предисловіи къ своей «Святочной Книжкѣ» на 1902 годъ. Поэтому прошу видѣть въ нихъ не болѣе, какъ эклектическую попытку изложить въ легкой формѣ нѣкоторыя старинныя народныя вѣрованія и, отчасти, извѣстнѣйшія миѳологическія воззрѣнія на нихъ. Дальнѣйшихъ претензій, въ настоящемъ своемъ видѣ, статьи эти не имѣютъ.

Изъ остальнаго содержанія книги, разсказы «Наполеондеръ» и «Сибирская Легенда» были первоначально напечатаны въ «СПБ. Вѣдомостяхъ», «Землетрясеніе» въ «Историческомъ Вѣстникѣ», «Морская Сказка» и «Исторія одного сумасшествія» въ «Россіи», «Не всякаго жалѣй» въ «Приазовскомъ краѣ».

А. В. Амфитеатровъ.

23 августа 1902 года.
Минусинскъ.

МОРСКАЯ СКАЗКА.

Морская сказка.

Ихъ было пятеро, и всѣ они, какъ на подборъ, были щеголи-матросы. Хозяйка кабачка то и дѣло мѣняла на столѣ предъ ними жестяныя кружки съ кислымъ монферрато, и они каждый разъ аккуратно расплачивались, доставая изъ штановъ горстями тяжело звучащія мѣдныя монеты. Выпили они много, но пьяны не были, сидѣли тихо и вели философскую бесѣду.

— Ученые,—сказалъ жирный Фрицъ, задумчиво глядя сквозь табачный дымъ голубыми выпуклыми глазами,—ученые додумались теперь, что родъ человѣческій произошелъ отъ обезьянъ. Ну, нѣтъ! Хоть ученые и умный народъ, и мастера убѣждать, но въ этомъ они могутъ увѣрять кого угодно, — только не нашего брата... Слава Богу,—за двадцать лѣтъ, что я хожу въ море,—достаточно перевидалъ я этой хвостатой твари. И скажу вамъ, братцы: коли ученые не врутъ, хитра была та первая обезьяна, которой удалось родить человѣка!

Онъ захохоталъ тяжелымъ смѣхомъ сѣвернаго нѣмца.

— Теперь это оставлено, — съ важнымъ видомъ сказалъ бритый краснолицый брюнетъ еврейскаго типа, должно быть, корабельный фельдшеръ. — Теперь въ обезьяну уже не вѣрятъ, а вѣрятъ въ общаго родоначальника.

— То есть?

— Какъ бы тебѣ лучше объяснить? Ну, вотъ... у тебя есть братья?

— Былъ одинъ. Не знаю, живъ ли. Лѣтъ пятнадцать не видались, Маркомъ звали.

— Онъ у тебя кто такой? Какое его званіе?

— Извѣстное дѣло, не принцъ крови. Крестьянинъ, виноградникомъ питаетъ себя... у насъ вся деревня — виноградари.

— А отецъ у васъ, двоихъ, кто былъ? Тоже крестьянинъ?

— Разумѣется, да еще, вѣчная память ему, — какой исправный.

— Такъ вотъ видишь ли: отецъ у васъ крестьянинъ, а изъ сыновей одинъ, по-отцовски, мужикомъ остался, а другой — ты, Фрицъ, значитъ, — лучшаго захотѣлъ, пошелъ въ матросы; стало быть, перемѣнилъ участь, загнулъ на другую линію.

— Ну?

— Ну, и съ происхожденіемъ человѣка — тотъ же самый порядокъ. Былъ да жилъ такой общій родоначальникъ, — звѣрь не звѣрь, человѣкъ не человѣкъ, — отъ котораго пошли двѣ вѣтви потомковъ. Одна все развивалась, умнѣла, улучшалась и выровнялась въ человѣка, какъ быть слѣдуетъ. А другая все дичала, дурѣла, унижалась и выродилась въ обезьяну. Понялъ?

— Какъ не понять? — протяжно возразилъ Фрицъ. — Какъ не понять, когда хорошо растолкуютъ? Выходитъ, слѣдовательно, что одинъ-то сынъ былъ парень себѣ на умѣ и въ люди выскочилъ, а другого — дурака — отецъ, за непочтеніе, въ обезьяны отдалъ... Ловко соврано.

Онъ снова захохоталъ, точно бочку покатилъ съ горы, и, отсмѣявшись въ одиночку, продолжалъ:

— Нѣтъ, нѣтъ... что до меня касается, я не перестану ·ть въ старика Адама и бабушку Еву... И знаете, брат-

цы. почему? Потому что я самъ ихъ видѣлъ,—вотъ этими моими собственными двумя глазами!

Смуглый генуэзецъ Альфіо, при этихъ словахъ, бросилъ подозрительный взглядъ на стоявшую предъ Фрицемъ кружку и, оттянувъ указательнымъ пальцемъ лѣвой руки вѣко на лѣвомъ глазу, остальными пальцами весьма скептически заигралъ предъ лицомъ своимъ: дескать — вотъ началось—не любо не слушай, врать не мѣшай!.. Но нѣмецъ настаивалъ увѣренно и спокойно:

— Да, я былъ знакомъ съ Адамомъ и съ Евою. Ева-то, положимъ, когда я имѣлъ честь быть ей представленнымъ, уже никого не узнавала отъ старости и, какъ недвижимое имущество какое-нибудь, лежала денно и нощно подъ шалашомъ на циновкѣ. Но Адамъ, хоть и сѣдой, какъ лунь, держался еще молодцомъ, и мы съ нимъ славно выпили передъ отходомъ нашего брига съ острова...

— Ага!—проворчалъ Альфіо, опуская руку,—исторія какого-нибудь Робинзона!

— Вотъ видишь: догадался!—хладнокровно возразилъ Фрицъ,—стало быть, нечего было и рожи строить!..

— Ну, такихъ-то Адамовъ не въ диво видѣть всякому моряку, которому океанъ не въ первинку, — замѣтилъ третій матросъ—по блѣдножелтымъ волосамъ, датчанинъ, шведъ или чухонецъ. — Безъ нихъ не стоитъ ни одинъ островъ въ южныхъ моряхъ. Исторія обычная: облюбуетъ себѣ какой-нибудь тюленебой островокъ въ океанѣ, какъ постоянную станцію, и начинаетъ сперва ходить туда изъ года въ годъ на промыселъ, потомъ станетъ на островкѣ заживаться, потомъ зазимовать попробуетъ, потомъ—глядь, и уѣзжать ужъ никуда не хочетъ. Поселокъ строитъ, семью съ материка везетъ, коли женатый, либо съ туземкой свяжется... Вѣдь это — въ родѣ болѣзни, какъ прилипаютъ люди къ такимъ островкамъ. Кто въ Робинзоны попалъ одинъ разъ, того потомъ всю жизнь тянетъ назадъ, въ пустыню.

*

— Мой Адамъ, — перебилъ Фрицъ, — не изъ тюленебоевъ. Онъ былъ французъ, человѣкъ образованный, хорошей фамиліи, — хотя настоящаго имени своего онъ намъ не пожелалъ сказать: очень стыдился, что одичалъ... На островѣ звали его «муссю Фернандъ».

— Какъ же его угораздило попасть на островъ?

— Да обыкновенно—какъ попадаютъ всѣ Робинзоны: черезъ кораблекрушеніе. А ужъ черезъ какое именно, когда и какъ, — этого я вамъ объяснить не могу, потому что—начнетъ, бывало, старикъ разсказывать и все перепутаетъ... совсѣмъ лишился памяти. Вѣрно одно: отбылъ онъ—съ сестрою своею—молодою дѣвушкою—изъ Лиссабона... годовъ этакъ, примѣрно сказать, тому назадъ пятьдесятъ, потому что не только о войнѣ франко-прусской, но и Наполеонѣ III никто на островѣ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія.

Думали, что во Франціи королевство, Орлеаны правятъ. Ѣхали они, совсѣмъ, должно быть, проферштилясь, въ Бомбей, гдѣ муссю Фернандъ долженъ былъ получить хорошее мѣсто при какой-то англійской фирмѣ, а сестра его, мамзель Люси, собиралась открыть пансіонъ для дѣвочекъ. Чуть обогнули Капскій мысъ,—тогда о Суэзскомъ каналѣ и помину не было, — стало ихъ трепать. Больше ничего не помнитъ и не можетъ разсказать толкомъ. — Дѣдъ! — говорю, — да неужели ты, пока изъ ума еще не выжилъ, не догадался записать своей исторіи?.. Молчитъ, трясетъ головою, ничего не разумѣетъ... Ну, да внученокъ его выдалъ: за фунтъ карамели и перочинный ножикъ—хотите, говоритъ, украду вамъ дѣдушкины листки, на которыхъ онъ свою жизнь написалъ?.. Валяй!.. И укралъ. До сихъ поръ берегу ихъ. Только — чортъ бы дралъ! — безъ начала и конца... Ohé! padrona! — прервалъ онъ рѣчь свою, стуча кружкою,—еще жестяночку вашей кислятины, да время и—къ дѣвицамъ...

Когда матросы собрались уходить, я задержалъ жир-

наго Фрица и просилъ его познакомить меня съ доставшеюся ему рукописью Робинзона.

— А зачѣмъ вамъ?—возразилъ онъ,—можетъ быть, ищете какого-нибудь пропавшаго родственника?

— О, нѣтъ! Просто—я писатель, и меня очень заинтересовалъ вашъ разсказъ.

— Ага! писатель! Въ такомъ случаѣ—очень радъ вамъ услужить. Хоть вовсе ее возьмите у меня себѣ на память...

Я заикнулся было, что готовъ заплатить, но нѣмецъ добродушно перебилъ меня:

— Ну, вотъ еще! какіе тутъ могутъ быть счеты? На что мнѣ нужны эти бумажонки? Разопьемъ вмѣстѣ бутылочку винца,—и квиты.

На завтра мы бутылочку эту роспили, и въ руки мои перешла пачка желтыхъ, истрепанныхъ, замусленныхъ, мѣстами закопченныхъ, точно опаленныхъ, мѣстами размытыхъ водою листковъ, исписанныхъ мелкимъ бисернымъ почеркомъ стараго французскаго пошиба... Вотъ что писалъ на нихъ старый Робинзонъ.

...на палубу. И небо, и море имѣли все тотъ же плачевный видъ взлохмаченной ваты, раздувающейся, подъ бѣшеными порывами шквала, вверху бѣлыми клочьями, внизу—грязносвинцовыми. Капитанъ молча указалъ мнѣ только-что возвѣщенный берегъ. Придавленный густою шапкою тучъ, онъ чернѣлъ надъ водою невысокою извилистою полоскою,—словно ядовитая піявка вилась на горизонтѣ.

— Островъ?

— Островъ.

— Какой же?

— А чортъ его знаетъ!—былъ утѣшительный отвѣтъ.— Дайте мнѣ хоть на минутку солнце, и я вамъ скажу, куда насъ принесла нелегкая... А пока я знаю столько же, сколько и вы. У насъ сломанъ руль, не работаетъ машина, а если мы поставимъ паруса, то насъ перевернетъ

вверхъ дномъ. «Измаилъ» уже не пароходъ, но поплавокъ, и—куда бы его ни затащило, лишь бы къ твердой землѣ,—мы должны сказать спасибо!..

Идти «Измаилъ» полнымъ ходомъ не могъ, но его *несло* полнымъ ходомъ къ острову, и вскорѣ—хотя и въ глубокомъ туманѣ—мы могли уже разглядѣть часть береговыхъ очертаній: блѣдный коническій силуэтъ вулкана, и, у его подножія, между двумя черными, скалистыми мысами, вокругъ которыхъ яростно кипѣли буруны, входъ въ широкоразинутую бухту.

Экипажъ «Измаила», толпясь вокругъ капитана, спорилъ и держалъ пари, гдѣ мы. Большинство склонялось къ мнѣнію, что буря загнала насъ обратно—къ Азорскимъ островамъ и Зеленому Мысу. Другіе клялись, что мы — если не у св. Елены, то у о. Вознесенія, либо Тристанъ д'Акунья. Третьи стояли на томъ, что буря, хоть и жестоко закрутила насъ, но — въ концѣ концовъ— вѣтеръ взялъ попутное направленіе, и теперь «Измаилъ» приближается къ какому-либо крохотному, безыменному островку-вулкану Индійскаго океана. Капитанъ, на всѣ предположенія, только пожималъ плечами и повторялъ:

— Все можетъ быть. Я знаю лишь одно: это—не Тенерифъ. А затѣмъ—всѣ вулканическіе острова похожи другъ на друга, какъ двѣ капли воды... и, если не увѣренъ въ широтѣ и долготѣ, такъ развѣ чортъ ихъ различитъ съ моря.

Стали стрѣлять изъ пушки,—съ острова ни отвѣта, ни привѣта, ни лоцманской лодки. Несмотря на вѣтеръ и дикую качку, всѣ пассажиры, кого еще не вовсе уложила пластомъ морская болѣзнь, повылѣзли на ютъ, привѣтствуя все яснѣе опредѣлявшуюся чернь острова.

Мы съ сестрою Люси стояли рядомъ, ухватясь за какую-то снасть; рядомъ съ нами—ближе къ борту—торчалъ, въ своемъ песочномъ пальто, словно безконечная харона, мистеръ Смитъ; разставивъ свои длинныя ноги

циркулемъ, онъ преловко балансировалъ вмѣстѣ съ «Измаиломъ» и еще ухитрялся смотрѣть въ подзорную трубу на береговые туманы, откуда—сквозь свистъ вѣтра и плескъ волны—уже долеталъ къ намъ ревъ буруна...

И вдругъ—палуба подъ ногами нашими задрожала, выгнулась, какъ пружина, мы съ сестрою расцѣпились и покатились въ разныя стороны, а мистеръ Смитъ взвился, какъ ракета, и полетѣлъ за бортъ. Затѣмъ «Измаилъ» пересталъ плыть и началъ медленно вращаться на одномъ мѣстѣ, причемъ страшно хрустѣлъ, кряхтѣлъ и стоналъ,—точно всѣ внутренности его сокрушались. Приподнявшись, я увидалъ, что сестра сидитъ на палубѣ и, безсмысленно глядя на пушку, утираетъ окровавленный носъ,—а затѣмъ откуда-то вынырнуло предо мною лицо капитана—бѣлое, какъ мѣлъ, съ вытаращенными глазами и рыжими усами, въ которыхъ каждый волосокъ встопорщился щетиною. Тому прошло уже сорокъ лѣтъ, но лицо это живо въ моей памяти—будто я только вчера его видѣлъ; и стоитъ мнѣ слишкомъ плотно поужинать, чтобы капитанъ—тутъ какъ тутъ – снился мнѣ всю ночь, и воскресала, вмѣстѣ съ нимъ, въ памяти вся послѣдующая суматоха.

Разсказать ее немыслимо: она захватила всѣхъ насъ, какъ вихрь, и сразу закружила до одурѣнія. Всѣ метались, кричали и никто никого не слушалъ и ничего не понималъ. Капитанъ бѣгалъ въ толпѣ съ высоко поднятыми руками, тыкалъ снизу вверхъ указательнымъ пальцемъ въ ладонь и оралъ, перекрикивая вѣтеръ:

— Словно иглою!.. какъ флюгеръ на шпилѣ... черезъ два часа—однѣ щепки!..

Затѣмъ я вспоминаю себя уже въ шлюпкѣ, куда меня швырнули сверху, точно куль съ мукою, какъ попало. Подъ ногами у меня лежала въ глубокомъ обморокѣ сестра Люси, а на колѣняхъ очутилась зыбка съ близнецами Мэркли. Шлюпка плясала по морю, шатаясь будто

пьяная,—а въ десяткѣ саженъ волны бѣшено таранили вспѣненными гребнями неподвижный, брошенный «Измаилъ». Онъ сидѣлъ на проткнувшемъ его рифѣ, скривясь на правый бокъ—будто смертельно раненый слонъ или китъ на мели. Волны, налетая зубатыми акулами, рвали съ него обшивку, и онъ безсильно содрогался отъ боли и страшно скрипѣлъ, досылая къ намъ свой предсмертный стонъ сквозь кружившую насъ бурю. Доски падали, будто мясо съ костей, — и мѣстами зіяли уже проломы въ темныя внутренности, обнаженными костями торчали балки и стропила...

— Надо же подобрать его! Вѣдь человѣкъ былъ!

— А куда мы его возьмемъ? Здѣсь и живымъ тѣсно...

То были первыя слова, ясно услышанныя и понятыя мною послѣ катастрофы.

Рѣчь шла о Смитѣ. Бѣдняга носился по водамъ безобразною бурою колодою, ставъ какъ будто еще длиннѣе и ўже, чѣмъ былъ живой. Голову ему расплющило въ лепешку,—и, когда мертвецъ обращалъ къ намъ, кивая по волнамъ, темнокрасный кровавый кружокъ этотъ,— невозможно было удержаться отъ дрожи ужаса и отвращенія. Никогда не видалъ я болѣе противнаго покойника... Я не выдержалъ и закрылъ глаза; меня стошнило.

Теченіе несло насъ прямехонько къ острову, но вѣтеръ рвалъ во всѣ стороны. Мы шли на веслахъ,—они трещали и гнулись въ рукахъ гребцовъ; съ матросовъ потъ катился градомъ, и они то и дѣло мѣнялись на веслѣ.

Берегъ былъ много-много въ полуверстѣ, но—что толку? Близокъ локоть, да не укусишь. Всѣ эти двѣсти саженъ кипѣли молочною пѣною буруновъ; валы ходили ходуномъ, и—по морю точно гудѣла канонада: съ такою силою, такъ неугомонно часто—бухъ! бухъ! бухъ!—бросало оно волны на каменныя гряды, отдѣлявшія насъ и подъ водою, и еле торча надъ водою, отъ обрыва береговой линіи—пустынной, грозной и унылой, какъ кладбище. Этотъ таинственный,

безмолвный островъ съ чернымъ конусомъ курящагося вулкана, подъ бѣлымъ тучевымъ небомъ, низко-низко надъ нимъ повисшимъ, въ оторочкѣ серебряныхъ кружевъ разыгравшагося моря,—походилъ на погребальный катафалкъ, готовый всѣхъ насъ великолѣпно принять и переселить въ страну, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія.

Бухта не давалась намъ, какъ заколдованная. Мы сдѣлали не менѣе ста попытокъ прорваться сквозь буруны. Они швыряли нашу шлюпку, какъ котенка,—и она жалобно стонала и пищала, какъ котенокъ. Суда—что люди. Когда имъ не везетъ, они теряются, становятся неловки и безтолковы. Вскорѣ—шлюпка одурѣла; она болталась на гребняхъ волнъ глупою и безпомощною балаболкою, то взлетая на темя водяной горы, то ухая въ темную пропасть. Всѣ чувствовали, что не капитанъ ведетъ шлюпку, но шлюпка ведетъ капитана. Исполняя свой долгъ и обманывая отчаяніе свое и наше, онъ боролся съ бурунами, какъ герой, но—герой слѣпой. Безъ карты, безъ инструментовъ, что могъ онъ разобрать въ мутной кипени этой незнакомой бездны? Онъ лавировалъ на-удачу, стараясь не позволить шлюпкѣ раздробиться о подводныя скалы; ихъ гребешки то и дѣло скрежетали подъ нами, и матросъ, сидѣвшій супротивъ меня на веслѣ,—сѣдой, морщинистый человѣкъ, съ запухшимъ отъ огромнаго синяка лѣвымъ глазомъ—всякій разъ, что раздавался зловѣщій скрежетъ, кивалъ головою, словно одобряя грозящую намъ гибель,. и глубокомысленно повторялъ по-итальянски:

— А, сегодня у моря есть зубы! есть зубы!

Въ воздухѣ не было холодно, и вода, бурлившая вокругъ насъ, была, на ощупь рукою, довольно высокой температуры. Но, пробывъ нѣсколько часовъ въ облакахъ соленыхъ брызгъ, мы тряслись отъ холода, какъ Іуда на осинѣ. Насъ прохватило до костей сыростью, которую море на насъ поливало, а вѣтеръ въ насъ вдувалъ, будто

изъ ста глотокъ, слѣва, справа, спереди, сзади, и съ такою силою, съ такимъ дьявольскимъ напоромъ, что водяная пыль колючими иголками входила въ поры и леденила кровь въ жилахъ. Соль покрыла насъ корою, разъѣдая глаза и ноздри,—соль во рту, соль въ ушахъ, солью пропитана одежда. Безумная пляска по волнамъ вымотала изъ насъ всѣ внутренности. Я чувствовалъ, что во мнѣ все переболталось, какъ въ бутылкѣ, что кишки мои перемѣстились въ мозги, а желудокъ свернулся жгутомъ и вотъ-вотъ сейчасъ полѣзетъ наружу черезъ горло. Мистриссъ Мэркли—обезумѣвшая, почти безчувственная отъ морской болѣзни—уткнулась лицомъ въ мой затылокъ, и я самъ былъ настолько боленъ, что не имѣлъ ни силъ, ни даже догадки отстранить отъ себя это отвращеніе. Въ дополненіе несчастія, Смита носило вмѣстѣ съ нами,—трупъ раза два стукнуло о шлюпку, и женщины визжали не своими голосами, уже не зная, чего бояться больше—бушующей волны или безобразнаго мертвеца. Моряки суевѣрны. Матросы вообразили, что это Смитъ приноситъ имъ дурной вѣтеръ и не пускаетъ насъ къ берегу. Они проклинали горемычный трупъ, грозили тѣлу кулаками, пихали его веслами и багромъ, но, покорный волнѣ и вѣтру, покойникъ—куда мы, туда и онъ. А старикъ-итальянецъ насупротивъ меня знай качаетъ головою да твердитъ нараспѣвъ:

— О! о! Англичанинъ не хочетъ идти одинъ въ водяную могилу... Вотъ увидите: онъ всѣхъ насъ потянетъ за собою... всѣхъ! всѣхъ!

— Замолчишь ли ты, чортъ?—крикнулъ капитанъ.— Джой! дай ему по мордѣ!

Кто-то протянулъ руку между моею и мистриссъ Мэркли головами и, торчкомъ, сунулъ смоляный, мускулистый кулакъ въ зубы матроса. Итальянецъ странно посмотрѣлъ на кулакъ, словно впервые видѣлъ такую штуку и только-что очнулся отъ долгаго сна. На тычокъ онъ

ничего не сказалъ, плюнулъ въ море кровью и, утихнувъ, налегъ на весло, но все продолжалъ бормотать про себя и улыбаться.

Наконецъ, Смита занесло въ подводную колдобину, гдѣ онъ застрялъ и не выплылъ болѣе, освободивъ насъ тѣмъ хоть отъ одного ужаса. Матросы выбились изъ силъ, а у капитана опустились руки. По волнамъ прыгали длинныя, темныя тѣла, которыя мы, пассажиры,—у страха глаза велики! — приняли было кто за акулъ, кто за крокодиловъ, но то были—просто балки и бревна разметаннаго «Измаила». Они мчались на буруны, какъ боевые тараны, и намъ пришлось увертываться, чтобы не очутиться на ихъ разрушительномъ пути. Пали сумерки, а мы—хоть бы на шагъ подвинулись впередъ. Вулканъ затянуло мглою, берегъ слился съ облаками, море закурилось низовымъ туманомъ... Вѣтеръ какъ будто сталъ, если не тише, то опредѣленнѣе и постояннѣе и тянулъ шлюпку въ открытое море. Быстро наступавшая темнота приводила насъ въ отчаяніе. Мистриссъ Мэркли и сестра Люси кричали, что ужъ лучше имъ сразу потонуть и умереть, чѣмъ медленно погибать отъ ужаса и морской болѣзни, болтаясь въ этой скверной посудинѣ; матросы галдѣли; старый итальянецъ, уже никѣмъ не препятствуемый, громко и злорадно вопилъ:

— Говорю вамъ: всѣхъ насъ потянетъ на дно каналья-англичанинъ... всѣхъ, всѣхъ!

— Товарищи,—сказалъ капитанъ,—оставаться среди тумана и темной ночи въ этой каменной ловушкѣ немыслимо. Насъ расшибетъ, какъ орѣховую скорлупу, первою же волною, которую мы прозѣв...

Бѣдняга, вѣроятно, хотѣлъ сказать «прозѣваемъ», но договорить это слово, какъ всю остальную рѣчь, ему пришлось уже въ вѣчности. Шлюпка вдругъ затрещала ужаснымъ образомъ, близнецы исчезли съ моихъ колѣнъ, точно провалились въ театральный люкъ, дно шлюпки и

скамья ушли изъ-подъ меня, и я очутился глубоко въ водѣ и, какъ топоръ, пошелъ ко дну. Плавать я тогда не умѣлъ, да, еслибы и умѣлъ, не успѣлъ бы спохватиться: такъ быстро закогтила меня и потянула внизъ черная бездна.

Говорятъ, что утонуть — смерть блаженная; что въ послѣдній мигъ сознанія утопающій вдругъ—въ капелькѣ воды—видитъ мелькающую, какъ въ калейдоскопѣ, всю свою протекшую жизнь; другіе, захлебываясь, бредятъ зелеными лугами, хрустальными дворцами, золотыми рыбками, дамами въ зеленыхъ платьяхъ — прекрасными русалочными видѣніями. Это, должно быть, когда тонешь въ прѣсной водѣ или умѣешь плавать. Я, впадая въ смертный обморокъ, чувствовалъ лишь, что вокругъ меня — ночь, глухая, холодная, черная, безъ малѣйшаго звука, безъ искры свѣта; ночь—бездна, куда я падаю, падаю, и—казалось—конца не будетъ паденію.

Потомъ ночь прошла, и я перересталъ падать; непроглядный мракъ смѣнился густымъ туманомъ, сквозь который, подобно водорослямъ или артеріямъ тѣла, вѣтвились свѣтящіяся полосы—то мутно-зеленаго, то кровяного цвѣта... И, вмѣстѣ съ тѣмъ, самъ я, всѣмъ тѣломъ своимъ, сталъ тянуться и надуваться въ огромный безобразный нарывъ, налитой дурными соками, которые душили меня, — я задыхался... метался... надо было или назрѣть и лопнуть, или умереть... и я сдѣлалъ страшное усиліе, чтобы прорваться... и очнулся.

Съ меня и изъ меня лила струями морская вода. Въ лицо, обжигая кожу, били пламенные солнечные лучи. Благоуханіе земли наполнило и расширило неизъяснимымъ наслажденіемъ мои ноздри, трескъ птицъ ошеломилъ мой слухъ, еще неясно зрячими глазами я видѣлъ, какъ сквозь мелкую мушчатую сѣтку, человѣческія тѣни, мелькавшія надо мною... Меня трясли, качали, растирали, — я понялъ, что меня возвращаютъ къ жизни, и, въ страстно мучительной жаждѣ бытія, напрягъ всю свою волю, чтобы ожить, — и ожилъ.

Три лица склонились надо мною — одно бѣлое, два черныхъ. Въ бѣломъ я узналъ сестру мою Люси; черныя принадлежали негритянкѣ Целіи, кормилицѣ близнецовъ Мэркли, и Томасу, нашему пароходному коку.

— Гдѣ мы?—спросилъ я.

— На островѣ и въ безопасности.

— А экипажъ «Измаила»?

Мнѣ не отвѣчали.

Единственно насъ четверыхъ море возвратило сушѣ живыми.

Я не намѣреваюсь передавать содержанія полуистертыхъ строкъ муссю Фернанда, слово за словомъ. Для тѣхъ, кто знакомъ съ исторіей хоть какого-нибудь Робинзона, въ нихъ не нашлось бы ничего новаго. Убѣдившись, что они — единственные люди на островѣ, жертвы кораблекрушенія сперва пришли-было въ отчаяніе, думали, что все въ жизни для нихъ уже кончено и — быть можетъ —, даже лучше сразу умереть, покончивъ съ собою самоубійствомъ, чѣмъ вѣковать въ заключеніи на клочкѣ земли, затерянномъ безъ вѣсти... въ какомъ океанѣ? — они даже и этого не знали. Они были вдругъ вышиблены изъ всѣхъ условій человѣческаго общества и знанія, очутились какъ бы внѣ времени и пространства. Обыкновенно, Робинзоны, о которыхъ пишутъ въ книжкахъ съ приключеніями, бываютъ замѣчательно умны, образованны, находчивы — точно ихъ предварительно всю жизнь подготовляли къ случайностямъ, возможнымъ на необитаемомъ островѣ, предреченномъ имъ судьбою. Но здѣсь не было ничего подобнаго. Муссю Фернандъ, — баронъ Фернандъ де-Куси, какъ называетъ онъ самъ себя въ запискахъ своихъ, предупреждая, однако, что имя это — выдуманное, и что настоящая фамилія его еще громче, — обнищалый французскій баричъ, вынужденный наняться въ приказчики къ англійскому купцу, — попалъ въ усло-

вія Робинзона свѣтскимъ человѣкомъ, то есть — полнымъ невѣждою во всѣхъ житейскихъ отношеніяхъ. Онъ зналъ множество, чего вовсе не надо было знать на островѣ: пять европейскихъ языковъ, геральдику, танцы, фехтованіе, а передъ отъѣздомъ съ родины къ своему бомбейскому хозяину, прилежно и старательно изучилъ итальянскую бухгалтерію. Но бѣдный малый не умѣлъ ни построить себѣ шалаша изъ древесныхъ вѣтвей и пальмовыхъ листьевъ, ни поставить сѣти на птицу и невода на рыбу, ни сварить мяса, ни добыть соли въ приправу къ пищѣ. Не будь съ ними негра и негритянки, къ счастію, оказавшихся отличными людьми, Фернандъ и Люси погибли бы отъ голода и безпріютнаго житья, — ихъ спасло исключительно благодушіе и трудолюбіе черныхъ, покорившихся бѣлымъ по своей доброй волѣ, то есть, по сызмалу привычной дисциплинѣ и внушенію видѣть въ европейцѣ господина. Молодая жажда жизни, — самому старшему изъ четырехъ невольныхъ изгнанниковъ, негру Томасу, было 28 лѣтъ! — богатая, щедрая природа и дивныя климатическія условія острова мало-по-малу побѣдили отчаяніе — и четверо людей кое-какъ устроили свой быть, — жилища и питаніе... Какъ подбирали они выбросы моря послѣ кораблекрушенія, какъ хоронили трупы утонувшихъ матросовъ и пассажировъ, какъ воспользовались одеждою этихъ покойниковъ, какъ негру удалось выловить на мѣстѣ, гдѣ погибъ «Измаилъ», кое-какіе припасы и оружіе, какъ сперва приспособили для житья обширную вулканическую пещеру, потомъ выстроили себѣ шалаши, — разсказывать не стоитъ: повторяю, все это сотни разъ описано во всѣхъ исторіяхъ Робинзоновъ, притомъ же гораздо подробнѣе и эффектнѣе, чѣмъ сумѣлъ описать муссю Фернандъ. Денно и нощно жгли они костры на высотахъ острова — въ надеждѣ, что дымъ и пламя привлекутъ съ моря вниманіе кого-либо корабля, проходящаго чрезъ пустыню этихъ

таинственныхъ водъ. Надежда эта, единодушная въ началѣ пребыванія на островѣ, таяла съ каждымъ днемъ: кораблекрушеніе приключилось осенью, наступила зима... и ни одинъ парусъ, ни одинъ столбъ дыма изъ пароходной трубы не оживили безнадежно-мертваго, безбрежно-широкаго, на всѣ четыре стороны, горизонта. Люди стали привыкать къ мысли, что связаны съ островомъ навсегда. Черные покорились своей участи болѣе или менѣе спокойно, съ свойственнымъ расѣ ихъ фатализмомъ— бѣлые пережили много нравственныхъ мученій,—безсильнаго гнѣва, тоски и отчаянія... Дальше — пусть опять говоритъ самъ муссю Фернандъ.

Такъ прозимовали мы — въ вѣчной, томительной и жадной тревогѣ напрасныхъ ожиданій. Пришла весна. Она прелестна на нашемъ островѣ. Воздухъ тогда — пьяный отъ благоуханій. Пышные тюльпаны, золотистый анемонъ, бѣлый нарциссъ, дикій жасминъ и разноцвѣтныя ползучія розы затягиваютъ сплошнымъ ковромъ каждую береговую полянку, каждую прогалинку въ лѣсу. И — днемъ — надъ ними дрожитъ, мечется и гудитъ пестрое полчище бабочекъ, жуковъ, мухъ, шмелей, осъ, дикихъ пчелъ; а — чуть падутъ сумерки — крутится пламенный вихрь свѣтящихся мухъ, между тѣмъ какъ въ травѣ и на листвѣ окружныхъ деревьевъ висятъ, сіяя зеленымъ огнемъ, огромные безкрылые свѣтляки—будто неподвижныя лампады на фантастическомъ балу живыхъ искръ. Насѣкомыя острова безконечно разнообразны. Мы ловили въ пригоршню, по десятку и больше за одинъ взмахъ, маленькихъ мотыльковъ, — голубыхъ, какъ глаза сестры Люси, — малютокъ, которыя, распустивъ свои яркія крылышки, не покрывали собою ногтя на мизинцѣ. Мы ловили гигантскихъ черныхъ бабочекъ, величиною съ летучихъ мышей; когда онѣ летѣли, то шумъ ихъ крыльевъ былъ слышенъ даже сквозь морской прибой, и вѣтеръ

отъ ихъ движенія заставлялъ склоняться головками цвѣты, надъ которыми онѣ кружили. Въ глазахъ рябитъ смотрѣть на луга подъ этою воздушною толкучкою, когда ее припекаетъ солнцемъ: кажется, будто всѣ цвѣты острова сошли съ ума и, сорвавшись съ стеблей, играютъ въ чехарду, танцуютъ, кувыркаются, дерутся, кричатъ и поютъ,—потому что и гудятъ эти полянки тоже – будто гдѣ трезвонятъ далекіе, праздничные колокола.

Въ нашихъ рощахъ — въ тѣни магнолій, превращаемыхъ цвѣтеніемъ въ бѣлые ароматные стога, одно уже приближеніе къ которымъ тѣснитъ дыханіе, кружитъ голову и отнимаетъ разумъ; въ тѣни акацій и каштановъ, качающихъ въ воздухѣ шапки бѣлыхъ, желтыхъ, лиловыхъ цвѣтовъ; въ тѣни чешуйчатыхъ пальмъ, переплетенныхъ гибкими ліанами, съ пестрыми пастями орхидей; — въ этихъ таинственныхъ рощахъ распускаются странные, бархатные цвѣты: темнокрасныя чашечки, отороченныя черною каймою, съ золотою, какъ огонь, сердцевиною.Ароматъ ихъ нѣженъ и проницателенъ, и кто довѣрится его коварному обаянію, того одуряютъ любовныя мечты и сладострастныя грезы.

Нѣтъ перелетной птицы, которая бы не дѣлала стоянки на нашемъ островѣ. Черныя скалы бѣлѣютъ, одѣваясь стадами чаекъ, гагаръ, гусей, лебедей и водяныхъ курочекъ; розовые, зобатые пеликаны важно качаются въ тихихъ бухтахъ; красноперый фламинго, аистъ въ черномъ фракѣ, долгоногіе журавли арміями бродятъ по пескамъ побережья, толкаясь точно встрѣчные люди въ толпѣ. Отъ гомона, писка, скрипа, визга и рева чудовищныхъ птичьихъ стай мы, бывало, — у берега — не могли разговаривать между собою и, стоя рядомъ, должны были кричать во все горло, чтобы понимать другъ друга. Часто — будто быстрое облако, стремительно пролетая, накрывало островъ скользящимъ пятномъ, и, поднимая глаза, мы съ изумленіемъ узнавали въ нежданной тучѣ необозримое скопище

куликовъ или куропатокъ: они летѣли, какъ саранча, и, какъ за саранчею, слѣдомъ за ними мчались хищные орлы и быстрые соколы,—и капала горячая кровь, и падали внизъ, колеблясь по вѣтру, пестрыя перья,—но живая туча мчалась впередъ и впередъ, ни на мгновеніе ока не задерживая своего неутомимаго стремленія. Птицы и насѣкомыя летѣли, любили и убивали. Колибри кувыркался въ воздухѣ, ловя мошекъ, чтобы накормить свою, сверкающую изумрудными и рубиновыми огнями, подругу— сидящую на яйцахъ въ развилкѣ двухъ вѣточекъ смоковницы. Мохнатый, точно гусенокъ, шмель, въ дѣтскій кулакъ величиною, пронзалъ колибри острымъ, какъ шпага, жаломъ и тутъ же погибалъ, схваченный на-лету хищнымъ сорокопутомъ... Рыба тучилась въ морѣ, стоя сплошными и глубокими стѣнами; стада эти можно было углубить, но не спугнуть и не раздвинуть: такъ тѣсно жались между собою ихъ ряды; скользя надъ ними въ челнокѣ, Томасъ—ради забавы—втыкалъ въ нихъ длинную тростинку или жердь,—и она долго торчала и колебалась стойкомъ надъ морскою гладью, прежде чѣмъ провалиться сквозь эту подводную почву живыхъ тѣлъ. Мы ловили рыбу сѣтями, били острогами, глушили дубинами, выстрѣлами изъ ружей надъ поверхностью воды, брали руками,—солили, вялили, нарубили въ горѣ каменныхъ погребовъ и навалили ихъ рыбными запасами, достаточными для годового прокорма не четырехъ человѣкъ, но цѣлаго полка голодныхъ кроатовъ. Ѣли рыбу мы въ такомъ количествѣ, что послѣ двухъ-трехъ недѣль весны мы уже не въ состояніи были взять въ ротъ деликатнѣйшихъ сортовъ ея, не могли безъ отвращенія подумать о кефали, скумбріи, золотыхъ краснушкахъ. Да мы ли одни Я видѣлъ чаекъ, объѣвшихся до того, что крылья не хотѣли поднимать ихъ, и птица безпомощно сидѣла на скалѣ въ тягостной дремотѣ медлительнаго пищеваренія. Я видѣлъ, какъ выдра, распластавшись на береговомъ камнѣ, ле-

жала, уткнувъ въ прозрачную воду усатую морду, и жирныя сельди плыли мимо ея носа, и выдра смотрѣла на нихъ сонными глазами обжоры, закормленнаго до пресыщенія, и, казалось, думала: нѣтъ, ужъ—хоть сами полѣзайте въ пасть, но, чтобы я схватила еще васъ,—къ этому не соблазнять меня никакія водяныя блаженства!

Это жгучее солнце, эти жаркіе, пѣвучіе дни, эти душныя, благоуханныя ночи—то золотыя, съ луною, бродячею полнымъ кругомъ въ бездонныхъ небесахъ, и длиннымъ, дрожащимъ столбомъ искръ въ бездонномъ морѣ, то темныя, хоть глазъ коли, съ огромными изумрудными звѣздами и сверкающею кисеею Млечнаго Пути въ аспидной вышинѣ; эта бездѣльная, безпечная, сытая жизнь, какой, кромѣ насъ, не зналъ, быть можетъ, никто изъ смертныхъ съ тѣхъ поръ, какъ огненный мечъ архангела изгнала Адама и Еву изъ земного рая;—все это скопленіе блаженства жизнью привело насъ именно къ той же бѣдѣ, въ наказаніе которой и засверкалъ нѣкогда палящій мечъ надъ головами нашихъ прародителей. Весь островъ—каждою травкою въ полѣ, каждою пташкою въ лѣсу, каждою рыбкою въ ручьѣ и въ морѣ — трепеталъ счастіемъ любви, восторгомъ юнаго парованія, нарожденія новыхъ жизней. Людямъ ли было уйти отъ сладкой любовной заразы, которою весна отравила и воздухъ, и воду, и землю? Чистота нашей маленькой общины—до сихъ поръ братской, будто безполой—нарушилась. Грѣхъ страстныхъ желаній прокрался въ наши сердца и властнымъ пламенемъ потекъ по жиламъ. Велико библейское слово, что люди замѣтили наготу свою, лишь когда постигло ихъ грѣхопаденіе. Люси и Целія продолжали ходить въ тѣхъ же матросскихъ курткахъ и шароварахъ, что и зимою, и тогда мы не находили нарядъ ихъ ни нескромнымъ, ни соблазнительнымъ—въ трудѣ и заботахъ, не давая себѣ ни льготы, ни поблажки, мы просто не замѣчали его. Теперь мужской нарядъ нашихъ женщинъ

смущалъ насъ при каждомъ взглядѣ—своею неестественностью онъ не скрывалъ, но, наоборотъ, только рѣзче подчеркивалъ ихъ полъ. И женщины, какъ бы впервые сознавъ неловкость мужского костюма, конфузились въ немъ при насъ, старались прикрасить свои одѣянія, сдѣлать ихъ болѣе приличными и изящными. Женщины умѣютъ нарядиться и въ пустынѣ. Онѣ опутывали себя вѣнками и гирляндами. Целія плела изъ дикаго винограда, хмеля, плюща и ліанъ какія-то зеленыя юбки и потомъ бѣгала въ нихъ, вся утыкавшись душистыми магноліями, по лѣсамъ и горамъ, крича и распѣвая во все горло, точно черная вакханка. Африканку мучило то же безуміе, что и насъ,—и, когда мы сходились всѣ четверо къ обѣду и ужину, пятымъ между нами незримо присутствовалъ не Богъ, но дьяволъ, насмѣшливо ожидающій своего торжества. Я слышалъ его въ томъ принужденномъ молчаніи, которое замѣнило обычныя наши бесѣды,—словно теперь мы боялись, что, если станемъ разговаривать, то скажемъ другъ другу лишнее, въ чемъ потомъ придется раскаиваться. Слышалъ его—въ безпорядочной веселости, какою, временами, перемежалась эта напускная сдержанность, когда,—наѣвшись, мы острили, плясали, пѣли, скакали черезъ горячіе ручьи и ямы, полныя сѣрнаго дыма, съ визгомъ, съ хохотомъ, подражая крикамъ птицъ и звѣрей, которые насъ окружали. Я видѣлъ его — и въ сверкающихъ исподтишка кровянымъ огонькомъ глазахъ Томаса, когда они останавливались на стройномъ станѣ Люси или на плечахъ полуобнаженной негритянки; и въ томной нѣгѣ, которою поминутно заволакивало круглые, звѣриные глаза Целіи; и въ измѣнчивыхъ душевныхъ настроеніяхъ сестры, то безнадежно-грустной, страстно тоскующей по далекой родинѣ, раздражительно требовательной и повелительной по отношенію ко всѣмъ намъ, то веселой, рѣзвой, кроткой и проказливой, будто молочный котенокъ, только-что продравшій слѣпые глаза.

*

Но — больше и мучительнѣе всего — чувствовалъ я дьявола въ себѣ самомъ. Онъ окружалъ меня со всѣхъ сторонъ видѣніями—въ темныя ночи, когда я безсонно ворочался на своей постели изъ сухихъ пальмовыхъ листьевъ,— и шумѣлъ лѣсъ, и гудѣло море, и рокотали горные ручьи, и, споря съ ними, тысячами глотокъ перекликались соловьи и птица-пересмѣшникъ, а подлѣ — въ двухъ шагахъ отъ меня—шумно вздыхалъ, точно раздувая внутри груди своей кузнечные мѣхи, богатырь Томасъ, охваченный тою же мечтательною безсонницею. Вереницею страстныхъ грезъ пролетали предо мною прекрасныя женщины, которыхъ я любилъ и зналъ въ далекой Европѣ, и я готовъ былъ плакать отъ мысли, что не видать мнѣ уже никогда ни одной изъ нихъ, не прижимать къ своей груди, не сливать губъ своихъ съ ихъ горячими устами. То—вдругъ, въ рой этихъ свѣтлыхъ, недостижимо-далекихъ призраковъ врывался грубый, но близкій образъ Целіи, съ ея чувственнымъ взглядомъ и чернымъ, бархатистымъ тѣломъ. Стыдясь страстной грезы о невѣжественной рабынѣ, о цвѣтной женщинѣ изъ породы, которую я сызмала привыкъ считать чѣмъ-то, вродѣ переходной ступени человѣка къ животному, я старался гнать бредъ свой прочь, какъ величайшее униженіе для себя—представителя высшей расы, образованнаго общества и благородной фамиліи—издѣвался надъ собою, бранилъ Целію скверною негритянкою, чернымъ уродомъ. Но едва закрывалъ глаза, какъ она снова уже плясала предо мною, обдавая меня своимъ горячимъ дыханіемъ и ароматомъ увитаго цвѣтами тѣла... И поутру я вставалъ съ шальною головою и разбитымъ тѣломъ и, пока не освѣжало меня морское купанье, чувствовалъ себя несчастнѣйшимъ на свѣтѣ человѣкомъ. А каналья Томасъ и смѣшилъ, и бѣсилъ меня своими неизмѣнными — изъ утра въ утро—жалобными причитаніями:

— О, муссю Фернандъ! о! какъ хорошо быть жена-

тымъ въ наши съ вами годы! какъ хорошо быть женатымъ!

Этотъ чудаковатый малый въ послѣднее время замѣтно и какъ бы умышленно отбился отъ нашего общества, проводя время одиноко—то на челнокѣ въ морѣ, то на охотѣ или рубкѣ дровъ въ лѣсу. Онъ завалилъ наши кладовыя рыбою, дичью и плодами, которые онъ находилъ въ лѣсистой глубинѣ острова. Въ лѣсу—по большей части—онъ пилъ и ѣлъ, возвращаясь въ шалашъ только ночевать. Даже на вечернюю молитву, единеніе на которой строго соблюдалось у насъ зимою, пересталъ ходить,—и, когда я сдѣлалъ ему замѣчаніе, Томасъ, въ извиненіе свое, откровенно привелъ причину, полную дикой наивности:

— Видите ли, муссю Фернандъ: когда молишься, то надо становиться на колѣни. А, когда я становлюсь на колѣни, то—прямо противъ своего носа—я вижу затылокъ мамзель Люси, и онъ въ такихъ хорошенькихъ золотыхъ завиткахъ, что, вмѣсто «Отче нашъ» и «Богородицы», мнѣ лѣзетъ въ голову, чортъ знаетъ что̀...

Долженъ признаться: починъ грѣхопаденія въ нашей общинѣ свершился не чрезъ черныхъ полудикарей,—виноватымъ оказался я, бѣлый, образованный человѣкъ. Люси услала Целію въ лѣсъ пошарить по птичьимъ гнѣздамъ яицъ на ужинъ, и я, возвращаясь съ охоты, встрѣтилъ негритянку вдали отъ нашихъ шалашей, въ рощѣ цвѣтущихъ каштановъ. Она окликнула меня съ высоты. Поднявъ глаза, я увидѣлъ Целію прямо надо мною,—повисшую, точно акробатка, на толстой ліанѣ, цѣпко перекинутой между двумя мощными вѣтвями орѣшника. Я крикнулъ, чтобы она прекратила свою опасную шалость, но глупая женщина, съ визгомъ раскачавшись на рукахъ, вскочила на ліану обѣими ногами и стала прыгать на упругой лозѣ, съ хохотомъ выкрикивая негритянскую пѣсню. Полунагая, позолоченная солнечнымъ лучомъ, про-

бившимся сквозь темень дремучей листвы, съ своими дикими движеніями, пламеннымъ взоромъ и сверкающими зубами, она казалась какой-то черною нимфою — демономъ этой тропической чащи. Дождь благоуханныхъ лепестковъ сыпался изъ-подъ ногъ ея, а вокругъ головы— увѣнчанной бѣлою шапкою цвѣтка магноліи—съ криками метались, встопорщивъ хохлы, бѣлые какаду и зеленые попугаи.

— Довольно, сумасшедшая! Ты сломаешь себѣ шею! сойди! сойди же!—повторялъ я... и, когда Целія сошла, она упала прямо въ мои объятія...

Я умолялъ Целію скрыть нашъ проступокъ отъ Люси и Томаса, но у безпечнаго существа не хватило для того ни хитрости, ни охоты, ни просто женской скромности, — и, едва мы возвратились къ шалашамъ, какъ она—только-что давъ мнѣ строжайшее обѣщаніе молчать о происшедшемъ — позабыла всѣ мои просьбы и предостереженія и, какъ ребенокъ, — прежде, чѣмъ я успѣлъ зажать ей ротъ,—закричала во все горло Томасу, вышедшему къ намъ навстрѣчу:

— О! о! Томасъ! Знаешь ли, какую новость скажу я тебѣ. Муссю Фернандъ на мнѣ женился!

Томасъ, придя въ необычайный восторгъ, хохоталъ, кривлялся, кувыркался и увѣрялъ, будто это мистическій танецъ, которымъ всенепремѣнно должна быть освящена всякая порядочная негритянская свадьба. Онъ нарвалъ огромный, какъ вѣникъ, букетъ изъ бѣлаго шиповника и, съ ужимками, поднесъ его Целіи, будто новобрачной. Съ тѣхъ поръ,—если по близости не было Люси, онъ называлъ Целію не иначе, какъ «мадамъ Фернандъ», и оба хохотали отъ радости, какъ бѣшеные. Люси дѣлала видъ, будто ничего не замѣчаетъ, и лишь время отъ времени глубокіе синіе глаза ея обдавали меня мимолетнымъ взглядомъ холоднаго презрѣнія, жалившимъ меня въ самую глубину сердца... Кромѣ того, она попросила

меня—въ первый же разъ, что мы остались наединѣ — выстроить для нея отдѣльный шалашъ, такъ какъ — гордо прибавила она, не глядя на меня — по причинамъ, которыхъ она не желаетъ объяснять, она не находитъ болѣе согласнымъ съ своимъ достоинствомъ ночевать въ одномъ помѣщеніи съ «этою негритянкой».

Впослѣдствіи Целія и Люси стали и прожили вѣкъ добрыми пріятельницами, но до того многой водѣ надо было утечь.

Недѣлею позже этихъ происшествій, Люси раннимъ утромъ позвала меня въ свой шалашъ, когда я проходилъ мимо, изъ лѣсу, послѣ охоты, и, съ искаженнымъ злобою лицомъ, сказала мнѣ голосомъ, хриплымъ отъ стыда и гнѣва:

— Вотъ достойные плоды нашего развратнаго поведенія! Полюбуйтесь: негодяй-негръ смѣетъ объясняться въ любви вашей сестрѣ и предлагаетъ мнѣ послѣдовать примѣру вашего нечестія.

Клянусь, никогда въ мірѣ ни одинъ влюбленный не посылалъ дамѣ своего сердца болѣе увѣсистаго письма, чѣмъ этотъ дуракъ Томасъ адресовалъ бѣдной Люси. Онъ воспользовался бѣлымъ плоскимъ камнемъ, торчавшимъ изъ земли неподалеку отъ ея шалаша, и на поверхности плиты намазалъ красною глиною - печатными буквами и съ страшными ошибками въ правописаніи — слѣдующія чувствительныя слова:

— Мамзель Люси, я васъ люблю; пожалуйста, выйдите за меня замужъ, потому что муссю Фернандъ женился на Целіи, и вы теперь однѣ, а я всегда буду вамъ преданный Томасъ.

Я былъ взбѣшенъ. Кровь де-Куси бросилась мнѣ въ голову. Наглость негра пробудила во мнѣ фамильную гордость—до тѣхъ поръ нѣмую, мертвую и забвенную въ тяжкихъ обстоятельствахъ, что переживали мы, четверо, со дня кораблекрушенія—въ непрестанной борьбѣ за существо-

ванie, не зная поутру, будемъ ли мы живы вечеромъ. Я вспомнилъ свою тысячелѣтнюю родословную, свой гордый гербъ, царственные дома, считавшiе честью родниться съ фамилiей де-Куси. Ружье было у меня за плечами. Попадись Томасъ мнѣ подъ горячую руку, — ему не быть бы живому. Къ счастiю, онъ въ тотъ день съ утра ушелъ въ бухту на рыбную ловлю, заночевалъ въ морѣ, и мы встрѣтились лишь назавтра и безъ оружiя.

Негръ сидѣлъ у моря, верхомъ на плоскомъ желтомъ камнѣ, и чинилъ сѣть изъ пальмоваго лыка, которою онъ такъ искусно ловилъ для насъ толстыхъ тунцовъ. Я, въ гнѣвныхъ выраженiяхъ, высказалъ ему свое негодованiе. Онъ положилъ сѣть въ сторону, всталъ, засмѣялся, протянулъ мнѣ свою огромную, черную пятерню и сказалъ:

— Не будемъ ссориться изъ-за бабъ. Это глупо.

Я съ сердцемъ оттолкнулъ его руку и закричалъ:

— Грязный негръ! Подлая черная скотина! Какъ только могла взбрести въ твою глупую башку такая гнусная блажь?!

Онъ смотрѣлъ на меня круглыми, желтыми глазами и повторялъ:

— О? о? о-о?... Но мы же друзья, Фернандъ, мы же друзья...

Невѣжество и добродушiе Томаса могли бы обезоружить даже инквизитора. Гнѣвъ мой сталъ утихать; природная веселость, вступая въ обычныя права надъ моимъ нравомъ, освѣтила мнѣ комическiя стороны непрiятной исторiи,—я вспомнилъ его глупый камень, — и дѣло кончилось бы миромъ и смѣхомъ, но проклятаго негра угораздило снова взбѣсить меня глупымъ замѣчанiемъ.

— Я вовсе не хотѣлъ оскорбить сестры твоей, Фернандъ,—сказалъ онъ.—Я только хотѣлъ жениться на ней, какъ ты женился на Целiи ..

— Целiя! Целiя! – сердито перебилъ я его,—дуракъ! Вспомни, что̀ такое Целiя: негритянка, которыхъ на рынкахъ Кубы и Новаго Орлеана продаютъ сотнями по сту

долларовъ за штуку. А на дѣвицахъ де-Куси женились короли и владѣтельные герцоги.

Онъ серьезно посмотрѣлъ мнѣ въ глаза и возразилъ:

— Но здѣсь нѣтъ королей и владѣтельныхъ герцоговъ.

Я продолжалъ кричать:

— Хоть бы то сообразилъ ты, животное, что — будь мы въ Америкѣ — тебя линчевали бы за одну любовную мысль о бѣлой женщинѣ!

— Но мы не въ Америкѣ,—спокойно остановилъ онъ меня.

Затѣмъ онъ заговорилъ холодно, вѣско и съ большимъ достоинствомъ:

— Ты много кричалъ на меня, дай теперь сказать и мнѣ. Когда буря загнала насъ на этотъ островъ, ты заставилъ меня присягнуть, что я буду стоять съ тобою во всемъ заодно, окажусь тебѣ вѣрнымъ другомъ и помощникомъ. При этомъ ты произнесъ прекрасныя слова; они покорили меня тебѣ на вѣки. Помни,—говорилъ ты,—здѣсь нѣтъ ни бѣлыхъ, ни черныхъ, ни господъ, ни рабовъ; есть только два сильныхъ и бодрыхъ мужчины, которымъ приходится — кромѣ себя самихъ — кормить и защищать еще двухъ слабыхъ женщинъ. Теперь ты бранишь меня грязнымъ негромъ и хвастаешься высокимъ происхожденіемъ твоей сестры. Но ея родословная осталась за океаномъ, въ странѣ, куда мы никогда не попадемъ, потому что—я увѣренъ—намъ суждено скончать свой вѣкъ на нашемъ островѣ: Богъ бросилъ насъ сюда, чтобы мы заселили этотъ маленькій рай. Поэтому не говори мнѣ о короляхъ, герцогахъ и знатныхъ дамахъ твоей родни: это выходитъ глупо. Здѣсь мы четверо, — всѣ безъ предковъ и безъ потомковъ; мы, всѣ здѣсь — первые люди, живемъ равною жизнью и, значитъ, равны между собою. И правъ ты былъ, Фернандъ де-Куси: между нами, дѣйствительно, нѣтъ ни знатныхъ, ни ничтожныхъ, ни господъ, ни слугъ, ни бѣлыхъ, ни черныхъ,—есть лишь два мужчины и двѣ женщины, осужденные прожить вмѣстѣ до конца дней

своихъ. Мужчины должны кормить и опекать женщинъ, а женщины должны принадлежать имъ, какъ жены, и рождать имъ дѣтей. И, если ты — бѣлый человѣкъ, Фернандъ де-Куси—взялъ себѣ негритянку Целію, то я, черный человѣкъ, имѣю право требовать и требую себѣ бѣлую Люси.

На проклятую логику негра мнѣ нечего было отвѣтить, —я могъ лишь разразиться новымъ потокомъ ругательствъ. Томасъ выслушалъ ихъ, пожимая плечами, и, когда я кончилъ, возразилъ съ искусственнымъ и злораднымъ спокойствіемъ:

— Хорошо, я оставлю въ покоѣ барышню Люси. Но, въ такомъ случаѣ, уступи мнѣ Целію. Она негритянка, какъ я, и у нея нѣтъ знаменитыхъ предковъ; мы—съ нею пара. Но,—прибавилъ онъ съ жестокою улыбкой, —тогда тебѣ самому останется одинъ выборъ: или жить и умереть монахомъ, или взять женою опять-таки все ту же барышню Люси... другихъ женщинъ на островѣ нѣту!

— Негодяй!—грозно прервалъ я его,—не забывай, что ты говоришь о братѣ и сестрѣ! Христіане мы или нѣтъ?

Томасъ засмѣялся и сказалъ:

— Ага! Но, если ты помнишь родство и намѣренъ уважать его,—то кто же будетъ мужемъ барышни Люси? Мнѣ отдать ты не хочешь, а себѣ взять не можешь.

— Пусть лучше она увянетъ въ безплодномъ дѣвствѣ,—съ яростью воскликнулъ я,—чѣмъ достаться тебѣ!

Мы, бѣлые, когда въ гнѣвѣ, краснѣемъ, блѣднѣемъ,—негры сѣрѣютъ. Несмотря на все наружное спокойствіе Томаса, я видѣлъ, что черная рожа его начинаетъ выцвѣтать,—и въ голосѣ его стали прорываться мѣдные, свирѣпо ревущіе звуки.

— Прекрасно, — сказалъ онъ. — Это твое и ея дѣло. Пусть барышня Люси останется старою дѣвою, а ты вѣчнымъ холостякомъ. Но я къ монашеству не чувствую ни малѣйшей охоты, — и, разъ ты не позволяешь мнѣ даже

думать о Люси, я сегодня же уведу въ свой шалашъ Целію.

— Попробуй!—съ угрозою отвѣчалъ я. Тогда онъ, въ негодованіи, всплеснулъ руками и запрыгалъ на мѣстѣ, какъ быкъ на привязи, обожженный раскаленнымъ клеймомъ.

— Видишь, видишь, какая ты дрянь!—кричалъ онъ, изступленно колотя себя въ грудь кулаками, — какъ ты лгалъ, когда клялся, что между нами не будетъ ни слуги, ни господина. Ты хочешь преудобно устроиться, чортъ возьми!—не хуже любого бѣлаго богача на материкѣ. Твой островъ, твои женщины, и есть еще въ распоряженіи каналья-негръ, который даромъ работаетъ на тебя, какъ волъ, рубитъ лѣсъ, ловитъ рыбу, стрѣляетъ птицу и звѣря, готовитъ обѣдъ и ужинъ... Такъ—нѣтъ же, убей Богъ мою душу! Если небеса спасли меня отъ рабства, то не для того, чтобы я закабалилъ себя здѣсь. Провались ты, Фернандъ де-Куси, и съ гордячкою сестрою своею, и съ толстою потаскушкою Целіей! Я ухожу отъ васъ! Перенесу свой шалашъ въ западную бухту и заживу одинъ, самъ себѣ господиномъ... А вы здѣсь—хоть съ голоду поколѣйте, мнѣ все равно! Я согласенъ умереть на работѣ, трудясь для жены своей и ея брата, но пальцемъ о палецъ не ударю, чтобы прокармливать чужихъ, презирающихъ меня, бѣлаго барина и бѣлую барышню.

— Поступай, какъ знаешь,—сказалъ я съ притворнымъ спокойствіемъ, хотя сердце мое сжалось отъ этой угрозы, отнимавшей у насъ главную опору нашего существованія, обрекавшей насъ на новыя бездны труда и лишеній.

— И, чортъ васъ побери, ужъ коли быть врозь, такъ—врозь! — продолжалъ онъ орать, какъ разсвирѣпѣлый горилла.—Даю тебѣ честное слово, Фернандъ де-Куси: если кто изъ васъ покажетъ носъ въ западную бухту, я влѣплю тебѣ пулю въ лобъ и изнасилую твоихъ женщинъ!

Выкрикнувъ эти безумныя слова, Томасъ вдругъ— склонивъ по-бычьи свою курчавую башку — стремглавъ, широкими скачками, помчался отъ меня къ морю и бухнулъ съ разбѣга въ кипучій прибой. Изумленный неожиданностью, я смотрѣлъ въ недоумѣніи, какъ онъ, добрыхъ пять минутъ, плавалъ въ серебряной, искристой пѣнѣ, между скользкими, блестящими камнями, вращая выпученными бѣлками, отдуваясь и фыркая, словно огромный тюлень. Наконецъ, онъ возвратился ко мнѣ, весь мокрый, лоснясь отъ воды, какъ черный атласъ.

— Отлично,—промолвилъ онъ, отряхаясь,—а то меня непремѣнно хватилъ бы параличъ. Останемся друзьями, Фернандъ де-Куси! Подумай: вѣдь насъ, людей, только четверо на островѣ.

— Оставь свои гнусныя притязанія,—отвѣтилъ я,—и дружба наша пойдетъ попрежнему.

Онъ задрожалъ отъ новаго гнѣва, но сдержалъ себя и сказалъ глухимъ и тихимъ голосомъ:

— Стало быть, мы будемъ врагами? Хорошо. Будь потвоему. Враги—такъ враги. Но вспомни: я вдесятеро сильнѣе тебя, ловчѣе и быстрѣе.

И, схвативъ съ земли огромный, круглый камень, сталъ играть имъ, какъ мячикомъ, продолжая:

— Вотъ—я разобью тебѣ черепъ этимъ камнемъ, зарою тебя на кладбищѣ кораблекрушенія и останусь одинъ хозяиномъ острова. Тогда мнѣ достанутся обѣ женщины— и бѣлая, и черная. Ты видишь, что мнѣ выгодно убить тебя. И, будь я, дѣйствительно, развратнымъ и грязнымъ негромъ, какъ ты меня назвалъ, я, конечно, отдѣлался бы отъ тебя еще зимою. Но этого не было, и не дай Богъ, чтобы оно было!

Онъ швырнулъ камень о-земь съ такою силою, что тотъ до половины ушелъ въ песокъ, вызывающе посмотрѣлъ мнѣ въ лицо, закинулъ руки за спину и удалился, насвистывая свой любимый Блюхеровъ маршъ.

Я вернулся въ шалашъ въ ярости и—въ то же время съ страннымъ, смутнымъ сознаніемъ гдѣ-то, въ глубокомъ уголкѣ души, что, быть можетъ, негръ менѣе неправъ по отношенію ко мнѣ, чѣмъ я думаю и—главное—хочу о немъ думать. Въ самомъ дѣлѣ—не онъ ли спасъ меня, послѣ кораблекрушенія, когда я, безчувственный, лежалъ, какъ трупъ, на базальтовой плитѣ, медленно убиваемый тяжкими волнами прибоя? Вѣдь—стоило ему не подать мнѣ помощи, и—онъ правъ: все было бы здѣсь—его и повиновалось бы ему одному. Теперь—чтобы устранить меня—онъ долженъ совершить преступленіе, котораго совѣстится и страшится, но тогда *не спасти* меня даже не было преступленіемъ. Онъ вылавливалъ меня изъ буруновъ, считая за трупъ, и вновь рисковалъ собственною, только-что и едва-едва спасенною изъ тѣхъ же самыхъ буруновъ, жизнью. Зачѣмъ? Чтобы доставить сестрѣ Люси—дѣвушкѣ ему чужой, безвѣстной—хоть одно печальное утѣшеніе—похоронить мое тѣло въ землѣ, а не видѣть его расклеваннымъ коршунами и чайками. Всю зиму онъ работалъ на насъ, не покладая рукъ, оставляя мнѣ самому едва ли треть того труда, который, по справедливости, долженъ бы выпасть—вровень съ нимъ—на мою долю. Ни разу не слыхали мы отъ него грубаго слова, воркотни, попрека своею работою, не видали непріятнаго лица или недовольнаго взгляда. Что онъ, какъ говорится, «врѣзался» въ Люси,—мы всѣ знали давно, и, въ зимніе вечера, это обожаніе доставляло намъ не мало поводовъ для смѣха и шутокъ, — особенно Целія усердно острила надъ влюбленностью своего чернокожаго одноплеменника. И опять-таки онъ не позволилъ себѣ обратить къ предмету своей страсти ни слова, ни намека,—больше того: сталъ избѣгать Люси, когда замѣтилъ, что въ чистоту его поклоненія началъ вкрадываться чувственный оттѣнокъ. Онъ рѣшился заговорить о своей любви—лишь послѣ того, какъ я своею связью съ Целіей разрушилъ незримую преграду между бѣлыми и черными на островѣ и—

противъ своей воли—далъ понять ему, что призывъ природы не сообразуется съ условіями ни расы, ни общественнаго равенства. Да и въ томъ заставлялъ меня сознаться голосъ справедливости, что—если сравнить мои отношенія къ Целіи и объясненіе, сдѣланное Томасомъ Люси—то перевѣсъ нѣжности чувствъ, деликатности, уваженія къ достоинству женщины окажется не на моей сторонѣ... Но— стоило мнѣ вообразить себѣ Люси женою проклятаго чернаго облома, и всѣ эти снисходительныя разсужденія разлетались прахомъ, и я бѣсновался, какъ полоумный, и мнѣ казалось, что лишь кровь мерзавца можетъ смыть позоръ, затѣянный имъ для моей фамильной чести. Сестра, когда я передалъ ей нашу схватку съ Томасомъ, краснѣла и блѣднѣла, глаза ея метали молніи, ноздри раздувались, гордая верхняя губка гнѣвно дрожала надъ гнѣвнымъ оскаломъ стиснутыхъ зубовъ... Она была прекрасна въ эти минуты, я невольно залюбовался ею,—и, какъ дьявольскимъ молоткомъ, стукнули у меня въ мозгу слова, недавно брошенныя мнѣ Томасомъ и за которыя я излилъ на него столько негодующей и нравоучительной брани:

— Если ты уступишь мнѣ Целію, тебѣ самому придется или кончить вѣкъ холостякомъ, или жениться на той же мамзель Люси... А была она дѣвушка красивая, рослая, стройная; и волосы у нея были, какъ золото, и глаза—какъ море.

— Я знаю одно,—мрачно сказала сестра, когда я кончилъ свой разсказъ,—если эта черная собака осмѣлится коснуться меня хоть пальцемъ, я брошусь въ море вонъ съ той скалы...

Я пытался успокоить ее, но она прервала меня, вся дрожа, вспыхнувъ горячимъ румянцемъ:

— Ты долженъ оградить меня отъ этого страха. Неужели въ тебѣ, потомкѣ рыцарей де-Куси, не хватитъ мужества, чтобы защитить честь своей сестры и отомстить за оскорбленіе?

— Чего же ты хочешь отъ меня?—пробормоталъ я въ смущеніи.

— Какъ чего?—вскричала она,—какъ чего? Развѣ ты не понимаешь, что либо мнѣ, либо ему нельзя болѣе жить на этомъ островѣ...

— Не убить же его!

— Именно убить!—запальчиво возразила она,—пока онъ не исполнилъ своихъ угрозъ—не умертвилъ насъ, бѣлыхъ, и не властвуетъ здѣсь вдвоемъ съ негодною Целіей, близостью къ которой ты себя позоришь. Именно убить—какъ убиваютъ бѣшеную собаку, чтобы она не перекусала людей...

Мы говорили еще съ полчаса, и она такъ взволновала меня, такъ взвинтила мое и мужское, и фамильное самолюбіе, что я разстался съ нею, готовый хоть сію минуту послать пулю въ сердце негра. Я пошелъ въ свой шалашъ и—пользуясь одиночествомъ—сталъ заряжать ружье. Целія, войдя съ вязанкою овощей, которыя она собирала въ рощахъ по скатамъ вулкана, застала меня за этимъ занятіемъ.

— О, о! — серьезно сказала она, качая головою,— на твоемъ мѣстѣ я не мѣшалась бы въ это дѣло...

— Какое дѣло?—сердито отозвался я,—что ты воображаешь?

Она сѣла предо мною на корточки и, охвативъ руками колѣнки, стала внимательно вглядываться въ мои глаза своими круглыми глазами:

— Ты хочешь застрѣлить негра,—сказала она.—Напрасно. Онъ хорошій человѣкъ.

— Ты толстая, черная дура!—возразилъ я,—и не понимаешь, что говоришь.

Целія согласно хлопнула глазами и протянула:

— О, конечно, я тебѣ не совѣтчица—это твое мужское дѣло. Застрѣли его, если хочешь,—только ты будешь жалѣть объ этомъ послѣ.

— Люси грозитъ, что убьетъ себя, если Томасъ останется живъ,—сказалъ я—вотъ что она говоритъ! И посмотрѣла бы ты на нее, какъ говоритъ... Морозъ бѣжитъ по кожѣ—слышать. . Кого мнѣ надо беречь, сестру или дерзкаго, наглаго негра?

Целія отвѣтила:

— Дѣвушки много кричатъ, но быстро стихаютъ. А изъ-за дѣвичьяго крика нехорошо убивать друга.

— Ты такъ крѣпко заступаешься за Томаса,—возразилъ я съ гнѣвною насмѣшкою,—что совѣтую тебѣ: поди ужъ лучше прямо предупреди его, что̀ мы затѣваемъ.

— Нѣтъ,—сказала она, уставивъ на меня взоръ, полный собачьей преданности,—ты мой мужъ и господинъ; если ты прикажешь, я сама перерѣжу ему горло.

Солнце уже было близко къ закату. Это былъ первый вечеръ, что мы легли спать, не совершивъ общей вечерней молитвы. Негръ скитался Богъ вѣсть гдѣ. Сестра не показалась изъ своего шалаша. Я—съ убійствомъ въ мысляхъ—не смѣлъ просить Бога: «остави намъ долги наши, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ». Целіи было все равно—молиться или нѣтъ; суевѣрная полуязычница, она обвѣшивала себя раковинами, чурками, камешками, собирая ихъ на счастье, но никакъ не могла заучить на память даже «Богородицу»—а когда я читалъ изъ толстой книги, какъ называла она Библію, хлопала глазами, зѣвала и усиленно чесалась, гдѣ попало, будто ее донимали комары.

Измученный волненіями проклятаго дня, я забылся короткимъ, тяжелымъ сномъ. Меня разбудилъ толчокъ Целіи.

— Тссъ...—шептала она,—негръ вернулся.

Я не слыхалъ ничего, но у Целіи былъ заячій слухъ и кошачьи глаза. Она подползла къ входу шалаша, чуть отслонила завѣсившую его циновку,—и долго лежала на животѣ, прильнувъ лицомъ къ щели; узкій лучъ мѣсяца дрожалъ змѣйкою на ея спинѣ. Наконецъ, она поднялась на ‑и и сказала равнодушно:

— Негръ растянулся предъ своимъ шалашомъ и лежитъ, какъ колода. Если хочешь, поди и застрѣли его.

Ночь была ясная, тихая. Полная луна стояла высоко въ небѣ, и въ ровномъ молочномъ свѣтѣ ея потонули звѣзды; лишь Вега — одна — продолжала сверкать подъ самымъ ея дискомъ, словно изумрудный къ нему привѣсокъ. На землѣ, выбѣленной лунными лучами въ матовое серебро, черными, рѣзкими пятнами очертились тѣни деревьевъ, кустовъ, утесовъ, нашихъ шалашей. И моя тѣнь длинною змѣею скользнула предо мною по песку, и голова ея коснулась — точно поцѣловала — головы негра, лежавшаго, тяжелою, темною тушею, въ двадцати шагахъ отъ меня.

Онъ спалъ крѣпко. Я окликнулъ его сперва шепотомъ, потомъ громче, потомъ въ обычный разговорный голосъ,— онъ и не шелохнулся. Мнѣ не хотѣлось убить его спящимъ... рука не поднималась на лежащаго, беззащитнаго человѣка, такъ довѣрчиво храпящаго бокъ о бокъ со своими врагами.

— Ступай... ступай... разбудишь,—будетъ труднѣе...— шептала мнѣ сзади, изъ шалаша, Целія.—Вѣдь у него тоже есть ружье...

Я подошелъ къ негру. Прежде всего я отставилъ въ сторону его ружье, лежавшее подлѣ него,— такъ что лишь протянуть руку. Теперь онъ былъ въ моей власти. Я наставилъ ружье въ упоръ, прямо въ ухо ему, но руки мои такъ дрожали, что дуло ходило ходуномъ вокругъ головы Томаса, и я не въ состояніи былъ спустить курка. Чтобы собраться съ духомъ, унять біеніе сердца и странную, все возрастающую слабость въ колѣняхъ, я вынужденъ былъ опуститься на первый ближній камень... Целія, скользнувъ изъ шалаша, какъ беззвучная тѣнь, очутилась возлѣ меня. Она вообразила, что я лишился чувствъ,—да, говоря истину, я и впрямь былъ недалеко отъ обморока.

— Стрѣляй же, стрѣляй!—слышалъ я ея тревожный

шепотъ,—стрѣляй или уйдемъ... но лучше уйдемъ! оставь его! лучше уйдемъ!..

Но я не чувствовалъ въ себѣ силы ни выстрѣлить, ни тронуться съ мѣста. Борясь съ удушающимъ сердцебіеніемъ, я тупо глядѣлъ предъ собою въ серебряную ночь и жадно раскрытымъ ртомъ ловилъ ея влажный воздухъ. И, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ оживляла она мои силы,—просвѣтлялось и сознаніе мое, омраченное грѣхомъ, застланное демонскимъ насланіемъ вражды и мести.

Ночи нашего острова безмолвны и величавы. Часто, часто священная тишина ихъ захватывала меня таинственнымъ, почти суевѣрнымъ трепетомъ и раньше того, но никогда не открывались очи мои такимъ внезапнымъ прозрѣніемъ въ природу, никогда не разверзался для нея такъ остро и чутко мой слухъ, какъ теперь, когда я, взволнованный, потрясенный, сидѣлъ надъ тѣломъ спящаго врага и почти касался виска его своимъ оружіемъ.

Я слышалъ, какъ спало спокойное море, одѣвъ берегъ въ ласковые жемчуга чуть шелестящаго прибоя; я слышалъ, какъ спали мирныя, безшумныя рощи—со всею несчетною жизнью звѣрей, птицъ и насѣкомыхъ, таящихся въ нихъ; я видѣлъ, какъ по скатамъ вулкана тянулись брильянтовыя нити глухо рокочущихъ, сонныхъ ручьевъ— и, слѣдя за ними вверхъ по теченію, поднялъ глаза къ небу и увидѣлъ луну,—огромную, свѣтлую, ярко-золотую. Она стояла прямо надъ кратеромъ вулкана, серебря его дымокъ, и на блестящемъ кругу ея рѣзко обозначились темныя впадины, что придаютъ ночному свѣтилу столько сходства съ человѣческимъ лицомъ. Она—точно въ упоръ глядѣла на меня; точно хмурилась, какъ суровый судія, точно посылала мнѣ, чрезъ воздушное пространство, безмолвный, строгій вопросъ:

— Что замыслилъ ты, Фернандъ де-Куси? Опомнись! Ты ли это, христіанинъ, потомокъ рыцарей, защитникъ сиротъ и слабыхъ?! Тебѣ ли убивать изъ-за угла спящаго

человѣка, который спасъ тебѣ жизнь, который поилъ и кормилъ тебя въ дни нужды и скорби?

Я вспомнилъ, что въ простонародьи нашемъ живетъ повѣрье, будто темныя пятна на лунѣ—не иное что, какъ Каинъ—первый убійца на землѣ,—котораго Богъ осудилъ вѣчно жить на сверкающемъ мѣсяцѣ и терзаться угрызеніями совѣсти, глядя на распростертый у ногъ его, вѣчно нетлѣнный трупъ—первой убитой жертвы—Авеля. Мнѣ сдѣлалось жутко. Я опустилъ взоръ на спящаго Томаса, и мнѣ почудилось, что это мы съ нимъ—тѣ люди на лунѣ, тотъ убійца и тотъ неповинно убитый. А негръ и сопѣлъ, и храпѣлъ. Должно быть, онъ размыкивалъ гнѣвъ и страсть свою по лѣсамъ и горамъ острова, пока не измучилъ себя до послѣднихъ предѣловъ усталости и не свалился съ ногъ, гдѣ попало, не имѣвъ силъ даже дойти до шалаша, охваченный мертвымъ сномъ. На сонномъ лицѣ его выражалось тяжкое утомленіе и, вмѣстѣ, восторгъ достигнутаго, наконецъ, отдыха. Онъ наслаждался сномъ, объѣдался имъ,—спалъ, какъ ребенокъ: и смѣшно, и трогательно—съ пузырями въ уголкахъ рта. И мнѣ вдругъ стало безконечно жаль его, и я всѣмъ сердцемъ полюбилъ этого человѣка, котораго пришелъ убить; вся незамѣтно накопленная дружба, что выросла между нами въ трудовой жизни нашей,—въ постоянной взаимопомощи, тысячами обоюдныхъ услугъ, сознаніемъ необходимости обоихъ насъ другъ для друга,—хлынула со дна души могучимъ и страстнымъ порывомъ. Я почувствовалъ, что мы съ нимъ срослись сердцами, и нельзя разрѣзать шва, ихъ связующаго, безъ того, чтобы—если перестанетъ биться одно, не изошло бы вслѣдъ затѣмъ кровью и другое. И не одного Томаса пожалѣлъ я. Жаль стало и этой тихой ночи, съ тихимъ моремъ, тихими рощами, тихою горою, которую—вотъ сейчасъ оглашу я выстрѣломъ предательскаго убійства,—и долго будетъ гудѣть по ущельямъ и лѣснымъ дебрямъ его отвратительное эхо, возвѣщая, что отнынѣ кончился миръ на островѣ,

*

смерть ворвалась въ его тишину и наполнила ее злобою, мучительствомъ, преступленіемъ; рай умеръ, завялъ—и мѣсто его занялъ такой же адъ, какъ всюду на землѣ, гдѣ люди живутъ обществомъ. Жаль стало, что на дѣвственную, благоуханную почву острова прольется человѣческая кровь, невѣдомая ей доселѣ, и впервые напитаетъ ее ядомъ преступленія, вопіющаго къ небесамъ о своемъ отмщеніи. Не знаю, легко ли убить человѣка въ европейскомъ обществѣ, гдѣ людей столько, что имъ жить тѣсно, но тамъ, гдѣ весь родъ человѣческій слагается изъ двухъ мужчинъ и двухъ женщинъ, смерть хотя бы одного изъ членовъ этой маленькой семьи—все равно вѣдь, какъ если бы на шарѣ земномъ вдругъ истребилась четверть человѣчества. Какой-то историческій безумецъ, говорятъ, желалъ, чтобы у человѣчества была одна голова и чтобы онъ могъ отрубить ее однимъ ударомъ. Но то былъ безумецъ... и лишь безуміе власти и тѣсноты жить—въ силахъ порождать подобныя сумасшествія. Тамъ, гдѣ люди считаются единицами, убыль каждой изъ нихъ— смертельный ужасъ для всѣхъ остальныхъ. И—предъ огромною укоряющею мыслью, что я хочу убавить одну человѣческую жизнь изъ четырехъ, теплящихся въ нашемъ крохотномъ міркѣ—сразу померкли теперь всѣ старыя, напускныя мысли, что раззадорили меня въ эти дни на убійство. Я понялъ, что дьяволъ играетъ мною. Словно шелуха спала съ глазъ моихъ. Я понялъ, что все мелко и неважно для меня въ нашемъ новомъ, безвыходномъ положеніи забытыхъ міромъ островитянъ: и гербъ де-Куси, и бѣлая кожа, и былое, ни къ чему теперь непригодное, воспитаніе, и оставленное въ Европѣ общественное состояніе; крупно же и важно лишь одно—жить. И жить не одному, но среди людей, данныхъ мнѣ въ товарищи судьбою,—какіе бы они ни были: бѣлые или черные, умные или глупые, образованные или невѣжды, высокаго или низкаго рода. Жить и рождать, а не убивать.

Я поднялся съ камня, осторожно прислонилъ къ нему

ружье и, протянувъ Целіи руку, сказалъ твердымъ голосомъ:

— Пойдемъ. Намъ нечего здѣсь больше дѣлать.

При лунѣ, я видѣлъ, какъ радостно засверкали ея глаза, и заблестѣли зубы въ широкой улыбкѣ.

— Пойдемъ, пойдемъ...—заторопилась она, таща меня за руку, — точно боясь, что я перемѣню рѣшеніе. — Это прекрасно... пойдемъ, пойдемъ!

Потомъ спохватилась:

— А ружье? Почему ты не берешь его съ собою?

Я отвѣтилъ просто и откровенно:

— Потому что оно можетъ смутить меня на новый грѣхъ. Въ оружіи чортъ сидитъ. Пусть Томасъ, когда проснется, увидитъ, что онъ былъ въ моей власти, но я пощадилъ его, потому что онъ мой другъ.

Целія посмотрѣла на меня взоромъ нѣмого обожанія.

И—когда мы вошли въ шалашъ—она повисла мнѣ на шею—впервые сама, первая, не какъ рабыня, ждущая приказа къ ласкамъ, но какъ женщина, любящая и уважающая того, кто ею владѣетъ—и, осыпая меня восторженными поцѣлуями, бормотала:

— Какъ хорошо! О, какъ хорошо!.. О, какъ я люблю тебя! Какой ты прекрасный!

И, отвѣчая на ласки ея въ эту ночь, я тоже впервые понялъ, что отнынѣ Целія для меня—не только самка, связанная со мною случайнымъ чувственнымъ порывомъ, но жена и другъ, жена на всю жизнь.

Утромъ мнѣ предстояло тяжелое объясненіе съ сестрою Люси. Когда я проходилъ къ ней, Томасъ—руки въ боки—стоялъ предъ ружьемъ моимъ, прислоненнымъ, какъ я оставилъ его вчера, къ камню. На лицѣ негра написаны были недоумѣніе и ужасъ...

— Что это значитъ, Фернандъ? — медленно и важно спросилъ онъ, обернувшись на шумъ моихъ шаговъ.

Я помолчалъ, чтобы справиться съ охватившимъ меня

волненіемъ, — потомъ возразилъ, спокойно и твердо глядя негру въ глаза:

— А какъ ты думаешь, Томасъ?

Онъ весь затрясся и сказалъ:

— Ты приходилъ ночью убить меня?

Я отвѣтилъ съ тою же твердостью:

— Да, но Богъ не допустилъ злодѣйства и удержалъ мою руку. Прости меня, Томасъ.

Онъ молчалъ, потупивъ голову; по лицу его ходили темныя судороги.

Я продолжалъ:

— А если ты боишься меня теперь, считаешь своимъ врагомъ и человѣкомъ коварнымъ, то, вотъ, я стою предъ тобою, безоружный, и, если хочешь, убей ты меня. Убей— какъ грозилъ вчера на берегу, хотя бы тѣмъ же самымъ камнемъ... Но я на тебя не подниму руки: только теперь понялъ я, какъ мы всѣ здѣсь близки другъ другу. Мы, всѣ четверо,—пальцы на рукѣ, и который палецъ ни отрѣжь,— все равно всей рукѣ больно!

Тогда онъ вдругъ, заливаясь слезами, бросился ко мнѣ и, крѣпко стиснувъ обѣ мои руки, сталъ ихъ качать и трясти, глядя мнѣ въ лицо мокрыми глазами и безсвязно твердя:

— О, муссю Фернандъ!.. муссю Фернандъ!.. муссю Фернандъ!..

Слезы невольно покатились и изъ моихъ глазъ, и въ нихъ вылилось все мучительное напряженіе и безпокойство, что̀ повисло было надъ нашимъ маленькимъ раемъ...

Сестра встрѣтила меня, озлобленная, гнѣвная, но далеко не такъ рѣшительная и настойчивая, какъ вчера. Въ глазахъ ея, все еще мечущихъ молніи, я уловилъ, однако, легкую тѣнь смущенія, какъ бы растерянности. Она казалась усталою, нездоровою,—лицо опухло отъ слезъ безсонной ночи, которую, видно, и она провела, не смыкая глазъ.

При видѣ моемъ, она ободрилась и поспѣшила занять воинственную позицію.

— Что значитъ эта трогательная сцена, которую — я видѣла отсюда — ты разыгралъ сейчасъ съ негромъ? — насмѣшливо начала она, кусая губы. Я сказалъ:

— То, что я просилъ у Томаса извиненія за попытку его убить.

Люси страшно поблѣднѣла, широко открыла ротъ...

— Господи!—вырвалось у нея.

— И я надѣюсь, Люси, — продолжалъ я, — что ты не потребуешь отъ меня повторенія этой попытки.

Она молчала изъ гордости, изъ природнаго упрямства, но я, по глазамъ, угадалъ, что въ глубинѣ души она уже раскаялась въ своемъ безумномъ требованіи — ночь принесла ей хорошія мысли — убійственный вихорь мщенія отбушевалъ въ душѣ ея и начинаетъ стихать.

— Ручаюсь тебѣ, Люси, что ты не услышишь отъ негра ни одного обиднаго слова, не увидишь ни одного нѣжнаго взгляда. Онъ далъ мнѣ слово выкинуть свои глупости изъ головы и сдержитъ слово. У него, можетъ быть, тупая голова и неповоротливый умъ, но душа честная, сердце мягкое, характеръ правдивый, и, что онъ сказалъ за себя, то и будетъ.

— Я не спорю,—пробормотала она,—но, если бы его вовсе удалить съ острова, было бы все-таки вѣрнѣе.

— Но, Люси, кто же удалитъ его? и куда? Посадить его въ нашъ челнокъ и отправить переплывать океанъ? Ты видишь, что твое «удалить съ острова» не болѣе, какъ мягкая замѣна вчерашняго «убить». И ужъ, конечно, не мнѣ браться за это дѣло.

— Почему же нѣтъ, Фернандъ де-Куси?—воскликнула Люси, гордо закинувъ голову и опять, по-вчерашнему, засверкавъ глазами.—Вы струсили, раскисли, какъ старая баба...

— Нѣтъ, — возразилъ я, — я только не хочу стать

Каиномъ и убить ближняго своего, своего брата-человѣка.

Она презрительно пожала плечами:

— Каинъ! Каинъ!—сказала она,—все-то фразы, да громкія слова... Откуда вы набрались ихъ? Ну, какимъ братомъ и ближнимъ можетъ быть вамъ этотъ чернокожій?

Я серьезно отвѣтилъ ей:

— Видишь ли, Люси, — вполнѣ ли ты увѣрена, что Каинъ и Авель были бѣлаго цвѣта? Вѣдь дѣло-то случилось давно, и въ Библіи о томъ ничего не говорится...

Затѣмъ, мы оба умолкли. Сестра долго сидѣла, потупивъ голову. Потомъ, когда я уже зашевелился, чтобы уйти отъ нея, положила мнѣ руку на плечо и тихо сказала:

— Это правда... Ты хорошо поступилъ, что не пролилъ крови... Пусть живетъ, но—только бы я чувствовала себя безопасною...

Съ этого дня жизнь нашего мірка вошла въ прежнюю спокойную колею. Томаса мы мало видали; онъ показывался у шалашей на часъ, на два, въ сроки ѣды или молитвы,—всегда веселый, милый, ласковый,—и затѣмъ снова исчезалъ въ лѣсъ или на океанъ. Сестрѣ Люси онъ старался какъ можно рѣже попадаться на глаза. Съ Люси случилась лишь та перемѣна, что, послѣ разсказаннаго только-что столкновенія моего съ Томасомъ, она—вмѣсто прежняго брезгливаго отвращенія къ Целіи, которое постоянно старалась проявлять съ тѣхъ поръ, какъ негритянка сошлась со мною—теперь она начала опять любезно говорить съ нею, дѣлить съ нею время, и—такъ какъ добрую Целію только пальцемъ къ себѣ помани, а она уже вотъ она, вся тутъ!—то въ скоромъ времени жена моя вновь души не чаяла въ «барышнѣ Люси», и мало-по-малу онѣ сдѣлались лучшими друзьями.

Прошла весна, кончилось лѣто. Целія была беременна, работа по дому давалась ей еще легко, но далеко

ходить, по нуждамъ нашего хозяйства, ей становилось уже трудно. Къ удивленію моему, Люси, всегда старавшаяся переложить свою долю работы на другихъ, всегда жившая среди насъ — сравнительно бѣлоручкою, — теперь старалась, сколько имѣла силы и умѣнья, замѣнить Целію. Она собирала овощи, искала яицъ по птичьимъ гнѣздамъ, дѣлала запасы плодовъ, ягодъ, грибовъ, скитаясь для того по дальнимъ полянамъ, рощамъ и косогорамъ... Словно она хотѣла вознаградить насъ всѣхъ нынѣшнимъ своимъ усердіемъ за былую лѣнь и барскую надменность. Лѣсъ сталъ ея лучшимъ другомъ; она съ утра уходила въ его тѣнь, и лишь сырость вечернихъ тумановъ выгоняла ее оттуда... и возвращалась она веселая, смѣющаяся, возбужденная, съ яркими огоньками въ радостныхъ глазахъ, съ звонкимъ, пѣвучимъ голосомъ.

Минулъ годъ, что мы прожили на островѣ. Начиналась осень... Она отозвалась на сестрѣ лихорадочнымъ недомоганіемъ: ее знобило по ночамъ, тошнило, ломало въ костяхъ. Всѣ мы были очень огорчены ея недугомъ и старались, какъ бы его избыть. Хиннаго дерева не было на островѣ, но ивы—сколько угодно, и она пила ивовый отваръ, но лихорадка и тошнота ивѣ не поддавались. Люси была въ отчаяніи, которое и мы всѣ дѣлили,—тѣмъ болѣе, что дѣвушка изводилась со дня на день и прямо-таки таяла на глазахъ нашихъ.

Былъ праздникъ, и мы сошлись всѣ четверо къ обѣду. Я, — исхудавшая, съ утомленнымъ и больнымъ лицомъ, Люси,—Целія, съ необъятною фигурою,—и Томасъ, какъ всегда, со времени своего несчастнаго объясненія въ любви, не смѣющій ни на кого глазъ поднять...

Мы ѣли супъ, когда Люси вдругъ рѣзко бросила свою ложку.

— Я не могу питаться такою гадостью! — брезгливо крикнула она.

Мы посмотрѣли на нее съ изумленіемъ: супъ варилъ

самъ Томасъ, великій мастеръ своего дѣла, и вышелъ супъ на славу!

— Не могу!—продолжала она, уже со слезами на глазахъ, — мнѣ отъ него дурно дѣлается!.. Какъ можно кормить людей такою дрянью?

— Но... но... мамзель Люси...—бормоталъ Томасъ.

— Люси! что за капризъ?—прикрикнулъ я,—супъ великолѣпный!

— Ну, и ѣшь его, если тебѣ нравится! — сердито огрызнулась она,—а я его въ ротъ не возьму... я... я... я артишоковъ хочу!

— Артишоковъ?!

— Да, дикихъ артишоковъ, которые Целія доставала въ прошломъ мѣсяцѣ... Они были такъ вкусны! Я готова съѣсть ихъ цѣлую дюжину. Томасъ! вѣдь я четвертый день прошу! Неужели *ты* не достанешь мнѣ этихъ артишоковъ?!

Томасъ приподнялся съ мѣста и, заикаясь, пробормоталъ:

— Что же, мамзель Люси, но развѣ я... я... хоть сейчасъ пойду... положимъ, сейчасъ они уже прошли... но... для васъ-то? съ удовольствіемъ...

А Целія—хлопая себя по бедрамъ—залилась дикимъ хохотомъ и закричала:

— Ну, Фернандъ! Теперь не безпокойся: я знаю болѣзнь Люси! Душечка! да никакъ вы отъ меня заразились?! Они женились, Фернандъ! Ей-Богу, они женились, какъ и мы. Но какіе хитрые! Какъ ловко скрывались и какъ долго водили насъ за носъ!

Дальнѣйшіе листки рукописи муссю Фернанда мало интересны. Содержаніе ихъ напоминаетъ библейское родословіе: «У Еноха родился Ирадъ; Ирадъ родилъ Мехіаеля; Мехіаель родилъ Маѳусала; Маѳусалъ родилъ Ламеха». Календарныя отмѣтки о пріумноженіи двухъ случайныхъ се-

мей, прерываемыя по временамъ коротенькими записями для памяти, вродѣ:

«Сегодня Томасъ поймалъ палтуса столь огромной величины, что такихъ мы ранѣе и не видывали».

«У нашей маленькой Люси идутъ зубки».

«Было легкое землетрясеніе. Слава Богу, всѣ цѣлы и невредимы».

«Пробовали съ Томасомъ порохъ, приготовленный мною изъ сѣры и селитры... Плохо!».

«Крестилъ близнецовъ, рожденныхъ вчера сестрою Люси. Назвалъ Амедеемъ и Фіаметтою. Дѣти здоровыя, горластыя. Сестра чувствуетъ себя прекрасно».

«Вулканъ третьи сутки въ пламени. Лава движется къ западной бухтѣ. Несносная жара. Пугавшія насъ сотрясенія почвы становятся слабѣе».

«Умеръ отъ родимчика пятый сынъ мой, Самсонъ, трехъ мѣсяцевъ и семи дней отъ рожденія. Упокой, Господи, въ раю невинную его душу!».

«Люси и Целія опять передрались изъ-за дѣтей».

«Страшная гроза. Молнія ударила въ хижину Томаса и сожгла ее. Божьимъ чудомъ, никто не пострадалъ, но люльку съ маленькою Клавдіей Томасъ едва успѣлъ выхватить изъ пожара. Ему опалило волосы и лицо».

Чѣмъ позднѣе по времени отмѣтки эти, тѣмъ труднѣе онѣ читаются. Бисерный почеркъ, которымъ началъ Фернандъ свою рукопись, мало-по-малу грубѣетъ, корявѣетъ и—на послѣднихъ листкахъ—превращается въ совершенно неразборчивыя каракули. Видно, что водила перомъ по бумагѣ рабочая, мозолистая рука, съ одеревенѣлыми пальцами, весь день передъ тѣмъ работавшая топоромъ въ лѣсу или заступомъ на огородѣ. Безупречная ороографія первыхъ страницъ къ концу манускрипта уступаетъ мѣсто безграмотному письму по произношенію, причемъ весьма замѣтно, что Фернандъ утратилъ уже и чистоту природнаго языка: его французская рѣчь, прежде изысканно кра-

сивая, стала походить на жаргонъ негровъ въ колоніяхъ. Европеецъ перерождался въ островитянина, грубѣлъ и дичалъ.

На одномъ листкѣ, уже изъ послѣднихъ, онъ записалъ едва понятными, похожими на печатную азбуку, буквами:

«Сегодня, по настоянію жены моей Целіи, съ согласія сестры моей Люси и зятя Томаса, я благословилъ на бракъ старшаго сына моего Томаса, 17-ти лѣтъ, съ двоюродною сестрою его Целіей, 15-ти лѣтъ, и дочь мою Люси, 13-ти лѣтъ, съ двоюроднымъ братомъ ея Фернандомъ, 17-ти лѣтъ. Всѣ они — хорошія, добрыя дѣти, да благословитъ ихъ Отецъ Небесный! — а Целію и Фернанда мать даже научила грамотѣ и молитвамъ. Мы выстроили имъ хижины и дали по одеждѣ. Начинается второе поколѣніе на островѣ. Всего же насъ здѣсь сейчасъ, съ грудными дѣтьми, тридцать семь душъ, — въ томъ числѣ 21 мужчина и 16 пола женскаго. А живемъ мы на островѣ, со дня кораблекрушенія, 18 лѣтъ и 3 мѣсяца».

Меня заинтересовало, — почему муссю Фернандъ счелъ нужнымъ отмѣтить, какъ особо важное событіе, что новобрачные получили по одеждѣ, — и назавтра, когда, въ томъ же самомъ портовомъ кабачкѣ я вновь встрѣтилъ жирнаго Фрица, я предложилъ ему этотъ вопросъ.

— Видите ли, — отвѣчалъ матросъ, по обыкновенію окружая себя облаками табачнаго дыма, — видите ли: когда мнѣ случилось быть на островѣ муссю Фернанда, онъ былъ уже здорово населенъ... красивый, рослый народъ, — даромъ, что темнокожіе... Но одѣтыхъ между ними я не насчиталъ и трехъ десятковъ, — и это были все старики и старухи, сыновья и дочери первыхъ поселенцевъ. Люди молодые и дѣти, стало быть, внучата и правнучата, — что мужской полъ, что женскій, — ходили, въ чемъ мать родила. Навертитъ на бедра лыка, — въ томъ и весь туалетъ... Дерево такое растетъ у нихъ на острову: чудная штука! — разсказывалъ я простымъ людямъ, такъ не вѣрятъ. На немъ

готовыя сорочки растутъ. Смѣетесь?.. Право, не вру. Что-то вродѣ дуба. Весною сдираютъ съ него кору до роста человѣческаго, и подъ корою обнажаются темныя волокна, цвѣтомъ какъ табакъ, густыя-прегустыя, плотная склейка, руками и не разорвать. Волокна снимаютъ ножемъ,—выходитъ длинная, мягкая трубка. Прорѣзалъ въ ней дырки для рукъ,—вотъ тебѣ и рубаха. Мы, шутки ради, пробовали носить: ничего, жестковато малость, но, кто привыкъ, удобно, и дождь не пробираетъ. Такія древесныя сорочки мы видѣли почти на всѣхъ островитянахъ...

Я такъ полагаю, что старую одежду, которую муссю Фернандъ и негръ его сняли съ покойниковъ послѣ кораблекрушенія, они износили, а новой было сдѣлать не изъ чего, не сумѣли...

— Однако, вы говорите: около трехъ десятковъ. На «Измаилѣ» погибло людей меньше.

— Да вѣдь мы не первые были въ гостяхъ у муссю Фернанда. Къ нимъ заходили суда и раньше. Могли оставить имъ кое-какое хоботье... даже, навѣрное, оставили! Мы, напримѣръ, много имъ надарили: ножей, топоровъ, два ружья, патроновъ,—много чего! А штурманъ нашъ—парень молодой!—въ туземку врѣзался,—такъ, я вамъ скажу, обчистила она его такъ гладко, что никакой европейской потаскушкѣ ловче не обработать. Уѣхалъ съ острова—голъ, какъ соколъ: ну, просто, ни ложки, ни плошки. Правда, и заплатить было не жаль: хороша, бестія! Внучка муссю Фернанда,—Анаисой звали, племянницы его дочь. Только дарилъ штурманъ много, послѣднюю рубашку, можно сказать, снялъ съ себя, а ни съ чѣмъ отъѣхалъ. У нихъ на этотъ счетъ строго. Соблюдаютъ. Оставайся, говорятъ, у насъ на островѣ, поселись, женись,—тогда твоя будетъ дѣвка! А не то проваливай! Ну, на этакую тюрьму штурманъ, какъ ни одурѣлъ, не отважился... Вѣдь, что ни толкуй, а, хоть они и французами себя почитаютъ, и христіанскому Богу молятся, а все же дикари.

— Неужели и деньги брала эта Анаиса у вашего штурмана?

— А то какъ же? Въ лучшемъ видѣ.

— Да зачѣмъ ей—на островѣ-то?

— Наряжаться, надо полагать. Ожерелья тамъ, монисты... Золото и серебро—штука красивая.

— Вы говорите, что не первые попали на островъ... Кто же его открылъ?

— А, право, не могу вамъ сказать. Насъ туда тоже бурей затащило. Сынъ муссю Фернанда, Томасъ меньшой, говорилъ мнѣ, что нашъ бригъ—четвертый, который онъ видитъ на своемъ вѣку. А онъ уже совсѣмъ сѣдой старикъ... лѣтъ за пятьдесятъ будетъ, пожалуй. А отъ перваго корабля они убѣжали.

— Какъ убѣжали?

— Такъ. Очень испугались! Отъ людей, надо полагать, отвыкли. Томасъ меньшой разсказывалъ мнѣ эту исторію. Ему въ то время лѣтъ двадцать было,—уже женился и жилъ своимъ домомъ. Пришелъ, говоритъ, пароходъ, сталъ въ бухтѣ, дымитъ. Мы на берегу—ни живы, ни мертвы: во вѣкъ не видывали этакаго страшилища. А папа Фернандъ—не разобрать, что съ нимъ сталось. Не то онъ радъ, не то пуще всѣхъ насъ испугался. Дядя Томасъ вышелъ изъ хижины, сердитый такой, посмотрѣлъ на пароходъ: французъ, говоритъ. Папа Фернандъ такъ весь и затрясся и сталъ бѣлый, какъ мѣлъ... А тетя Люси,—она тогда близнятъ кормила, Фанни и Жоржа,—уронила ихъ на колѣни, закрыла лицо руками, и сквозь пальцевъ слезы градомъ текутъ. Не хочу, говоритъ, если французы, имъ показываться! Между ними могутъ быть, которые насъ знали, когда мы людьми были, а не дикарями. Если меня признаютъ, я со стыда сгорю... Подобрала своихъ близнецовъ,—и драла въ лѣсъ. Такъ и просидѣла тамъ въ пещерѣ все время, что пароходъ гостилъ у насъ. Цѣлыя двѣ недѣли. Мы съ кузеномъ Фернандомъ тайкомъ носили ей пищу. Дядя Томасъ ея не

удерживалъ, напротивъ, тоже гналъ прятаться,—онъ другого боялся. Онъ самъ въ молодости служилъ на кораблѣ и зналъ, что нашъ братъ морякъ, послѣ долгаго плаванія, какъ дорвется до берега, такъ ему—чротъ не братъ! особливо, въ такой пустынѣ, куда судно заходитъ разъ въ десять лѣтъ... Мы, сказываетъ, сами этакъ-то разъ на Явѣ деревушку въ разоръ разорили; ни одной бабѣ спуска не дали. А тетя Люси все еще красавица была, и любилъ ее дядя Томасъ, — прямо безъ памяти... Однако, французы оказались хорошими людьми и разстались съ островитянами безъ обидъ, по-хорошему. Вотъ потомъ заходилъ къ нимъ англійскій китобой,—ну, съ тѣмъ до ножей дошло... и дѣвку у нихъ уволокъ съ собою въ море, животное скверное,—а на другой день теченіемъ прибило ее къ берегу мертвую, съ перерѣзаннымъ горломъ... Лѣтъ за двадцать до нашего прихода случилось. Такъ настращалъ людей, анаѳема, что съ тѣхъ поръ стали они бояться пароходной трубы пуще дьявола. Отъ насъ тоже было попрятались. Вулканъ этотъ у нихъ—словно медовый сотъ: весь въ пещерахъ, галлереяхъ, норы, лазейки, входы, выходы. Такую, скажу вамъ, инженеръ-механику и архитектуру устроилъ подземный огонь, что, подумаешь, десятки тысячъ людей работали.

Такъ вотъ они—туда. Выходимъ на берегъ,—никого. Цѣлая деревня шалашей въ лѣсу, а людей—точно моръ съѣлъ. Даже жутко стало. Лишь къ вечеру поймали какого-то черномазаго и столковались съ нимъ; скажи, молъ, своимъ, что мы друзьями пришли, никого обижать не намѣрены, а у васъ же гостепріимства просимъ. Только тогда выползли изъ своихъ норъ, да и то сперва одни мужчины, притомъ вооруженные по самую макушку. Ружья, пики, вилы, топоры... Прожили денька два съ нами,—повѣрили, что мы не пираты, вернулись по домамъ всѣ изъ горы. Съ мѣсяцъ мы тамъ прожили. Свыклись,—страсть! Народъ сердечный, глупый. Плакали, какъ мы уѣзжали. Мадамъ Люси—это сестра Фернандова,

она у нихъ вродѣ какъ бы за жрицу или игуменью какую числится—всѣхъ насъ благословила на дорогу. Величественная старуха. Должно быть, и впрямь куда хороша была смолоду.

— И мужа ея, негра Томаса, вы знали?

— Нѣтъ, онъ умеръ лѣтъ за двадцать запять до нашей стоянки. Ещедо китобоя. И—чудное дѣло! Всѣ островитяне, конечно, христіане, католики, а Томаса этого все-таки почитаютъ не то за святого, не то, пожалуй, даже за бога какого-то. Жертвы на могилѣ его приносятъ, подарки на нее вѣшаютъ, молятся на нее, кланяются... вся уставлена горшками съ саломъ, съ виномъ пальмовымъ. И отъ насъ требовали.

— Какъ? заставляли васъ поклоняться могилѣ негра?

— Поклоняться не заставляли, а только серьезничали, словно турки у Магометова гроба,—ни шутки не позволяли, ни легкомысленнаго вопроса о покойникѣ. А, если кто-нибудь изъ насъ, имъ въ угоду, окажетъ, бывало, почтеніе могилѣ Томаса,—ну, цвѣтокъ что ли броситъ, ленточку, бумажку цвѣтную, или высыпетъ щепотку пороха,—тотъ имъ первый другъ. Ужъ и не знаютъ, какъ его почетнѣе принять и лучше угостить. Что же? Мы снисходили къ нимъ. Отчего не угодить хорошимъ людямъ? Языкъ не отвалится помянуть покойника добрымъ словомъ. Къ тому же и не грѣшно: хоть и негръ былъ, а все-таки христіанинъ. Молитвенникъ послѣ него остался. Тоже берегутъ, какъ святыню. Опять же, между нашей братьей, моряками, разборчивыхъ на счетъ религіи немного. Безбожниковъ нѣтъ, потому что и пословица ведется: кто на морѣ не бывалъ, тотъ Богу не маливался. Но—который католикъ, который протестантъ, который грекъ,—объ этомъ мы мало заботимся. Морякъ—онъ всѣхъ вѣръ понемножку, ни одною не долженъ пренебрегать, потому что—какъ знать, какая и когда ему поможетъ?

Онъ засмѣялся.

— Однако, заразительная, я вамъ скажу, штука суевѣріе! Ну,—что мы прожили на островѣ? Три-четыре недѣли! А, между тѣмъ, потомъ—сколько времени!—въ карты ли не везетъ, вѣтеръ ли крѣпчаетъ, глядь, и поймаешь себя на томъ, что бормочешь островное присловье: «Дѣдъ Томасъ, заступись за насъ!»...

— Не знаете, отчего онъ умеръ?

— Лѣсъ рубилъ, деревомъ пришибло. Мадамъ Люси вдовѣла года два, а тамъ другого мужа взяла—Антономъ звать, сынъ муссю Фернанда, племянникъ ей, стало быть, выходитъ. Хорошій человѣкъ, смышленый... и богатырище же, доложу вамъ! Ростъ, плечи, кулакъ... ужасу подобно! Самый красивый мужчина на островѣ...

— Но вѣдь между ними огромная разница лѣтъ?

— Да, мадамъ Люси, когда они поженились, было уже за сорокъ, а ему — что-то семнадцать, восемнадцать... Да вѣдь это разбираютъ, гдѣ невѣстъ много, а на острову — не до прихотей: всякая женщина идетъ въ счетъ. Къ тому же, — сказываютъ, — мадамъ Люси была просто неувядаемая какая-то. Она до сихъ поръ моложава, если хотите. Когда она сказала мнѣ, что ей подъ семьдесятъ лѣтъ, — я вѣрить не хотѣлъ: больше пятидесяти дать невозможно. Лицо румяное, кудри сѣдыя, густыя, прегустыя, глаза ясные, пронзительные, станъ—какъ стрѣла. Прекрасно сохранилась. Вотъ Фернандова жена—Целія, негритянка—та совсѣмъ развалина... Уже и понимать ничего не понимаетъ, что̀ ей люди говорятъ, а только мычитъ, да хлопаетъ глазами, а глаза совсѣмъ мертвые — словно у вяленой рыбы.

— Что же—эти старики? Вспоминаютъ родину? Не тянетъ ихъ порой назадъ, за море, посмотрѣть, что̀ сталось съ Европою, съ Франціей?..

— А Богъ ихъ знаетъ! Мы, бывало, дразнимъ муссю Фернанда: поѣдемъ, молъ, съ нами, старикъ! Людей посмотришь и себя покажешь. Смѣется, головою мотаетъ, ру-

ками машетъ: куда ужъ мнѣ! Свыкся очень, одичалъ. А мадамъ Люси, — штурманъ этотъ, который чуть не женился на Анаисѣ, книжку ей подарилъ, исторію девятнадцатаго вѣка, — такъ она повертѣла книжку въ рукахъ и назадъ отдала.

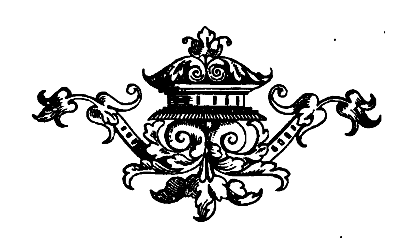
— Что же вы такъ? — спрашиваетъ штурманъ, — неужели вамъ не интересно, что дѣлалось на свѣтѣ съ тѣхъ поръ, какъ васъ отъ него отрѣзало?

— Видите ли,—говоритъ,—молодой человѣкъ, интересно-то очень, да боюсь я.

— Чего же, мадамъ Люси?

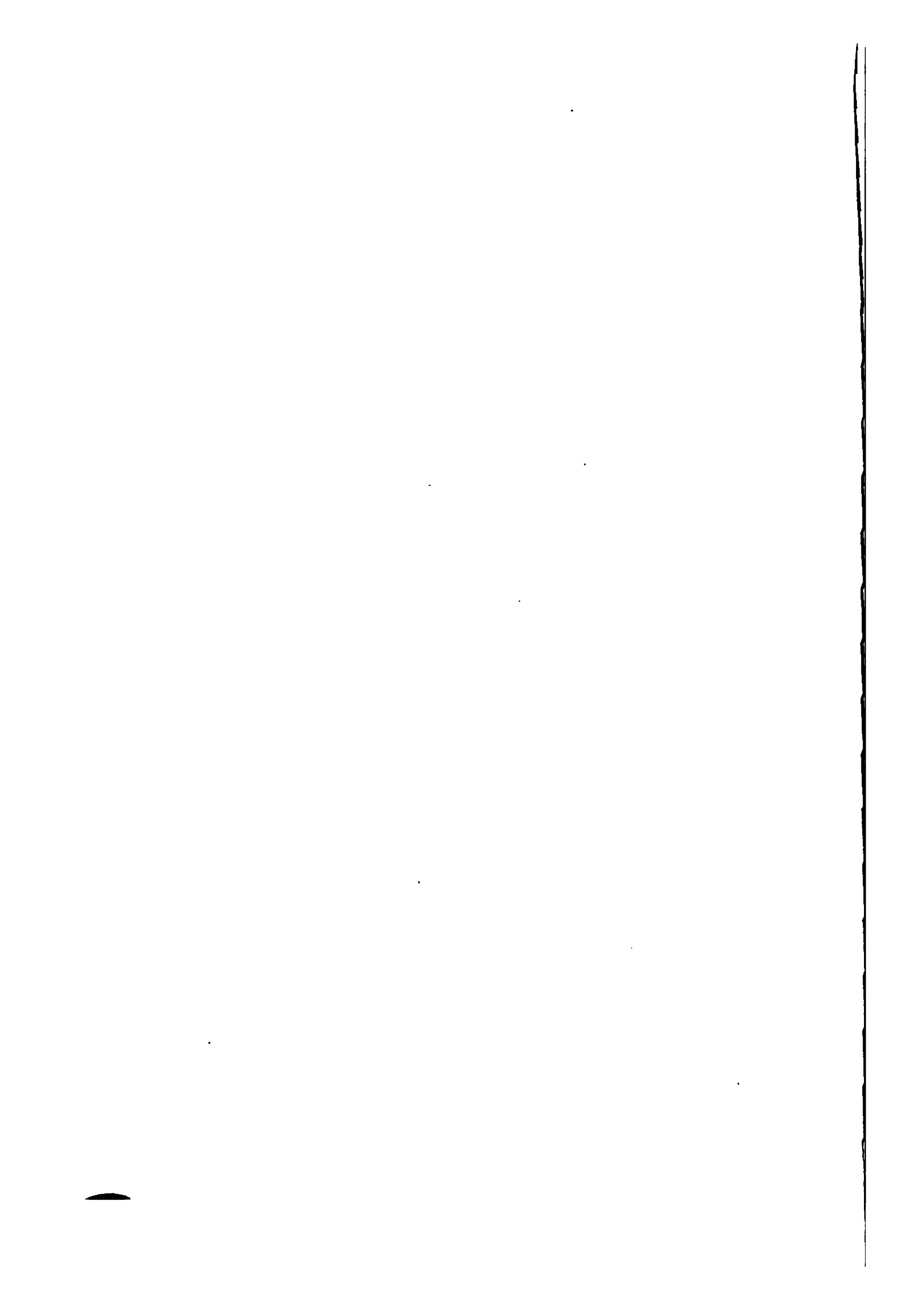
— Безпокойства боюсь. Вы думаете, легко досталось мнѣ, что отъ свѣта-то насъ отрѣзало, легко было примириться съ долею дикарскою? Цѣлыми годами душа во мнѣ горѣла, а на первыхъ порахъ, покуда семьи вокругъ не было, я частенько и головою о камни билась. Такъ-то! Ну, что хорошаго, коли книжка ваша опять меня всколыхнетъ на старое? Да растоскуюсь я, раззавидуюсь, разжалѣюсь, что вся моя жизнь пошла прахомъ? Пожалуй, вѣдь, не стерплю,—опять головой о камни стучать стану, а старухѣ-то оно ужъ и неприлично. Вѣдь я и бабушка, и прабабушка,—съ меня цѣлое племя должно примѣръ брать. Застыла, одичала,—и слава Богу: сплю. Такъ ужъ лучше — и не будите. Дайте умереть спокойно. Наканунѣ гроба приводить себя въ отчаяніе—поздно и страшно...

1899.
Viareggio.



ЗЕМЛЕТРЯСЕНІЕ.

Очеркъ.



Землетрясеніе.

Я СТРАННИКЪ и скиталецъ по призванію. Быть прикованнымъ къ одному и тому же мѣсту земного шара круглый годъ для меня немыслимо и невыносимо. Человѣкъ грѣшный, я, конечно, по смерти своей не разсчитываю попасть въ рай; но, если попаду, паче чаянія, полагаю, что никакія золотыя яблоки на серебряныхъ яблоняхъ, никакіе райскіе напѣвы не утѣшатъ меня въ моей посмертной осѣдлости. И, конечно, я не утерплю, найду какую-нибудь лазейку, чтобы хоть однимъ глазкомъ взглянуть на чистилище, или, время отъ времени, дѣлать тайныя прогулки въ адъ, къ друзьямъ грѣшникамъ, пекомымъ на желѣзныхъ сковородахъ.

Скитаюсь я, преимущественно, по странамъ южнымъ, гдѣ синее небо надъ синимъ моремъ, по вулканической почвѣ, которой мало трехъ отдушинъ Этны, Везувія и Стромболи, оставленныхъ европейскимъ континентомъ подземному огню, и которая, поэтому, нѣтъ-нѣтъ да и развернется подъ ногами населяющаго ее жительства, вспученная изверженіемъ огнедышащей горы или могучими ударами землетрясенія. Въ моихъ скитаньяхъ, какъ поетъ маркизъ изъ «Корневильскихъ Колоколовъ», было много страданья и испытанья. Кромѣ желѣзнодорожнаго крушенія, пережиты всѣ бѣдствія странническаго авантюризма.

Въ томъ счетѣ четыре землетрясенія, а въ ихъ числѣ страшная константинопольская катастрофа, въ іюлѣ 1894 года. Я попалъ въ Константинополь изъ Болгаріи, вскорѣ послѣ паденія покойнаго Стамбулова. Къ событію этому тогда были прикованы взоры всей Европы, и переворотъ въ природѣ Балканскаго полуострова прошелъ какъ-то мало замѣченнымъ, за переворотомъ въ его политикѣ. Разумѣется, однако, не для жителей Стамбула, переживших ъ ужасные дни: землетрясеніе вырвало изъ среды константинопольскаго населенія свыше 2.000 жертвъ.

Когда я возвратился въ Россію, меня постоянно спрашивали въ обществѣ:

— Ахъ, вы видѣли константинопольское землетрясеніе?! Ахъ, какъ это интересно! Ахъ, разскажите, пожалуйста, какъ это бываютъ землетрясенія?

Обыкновенно я отвѣчалъ:

— Очень просто, madame или mademoiselle N. (ибо спрашиваютъ по преимуществу дамы, — ужъ такъ сложилось россійское общество, что женщины въ немъ больше интересуются сильными ощущеніями, чѣмъ мужчины), очень просто. Земля начинаетъ трястись, а дома—падать.

Признаю полную неудовлетворительность такого отвѣта. Признаю, что онъ очень напоминаетъ отвѣтъ артиллерійскаго офицера, который на вопросъ барышни:

— Какъ дѣлаютъ пушки? — объяснилъ кратко, но выразительно:

— Берутъ дыру-съ и обливаютъ ее мѣдью.

Но трудно было отвѣчать иначе по первымъ безотчетнымъ впечатлѣніямъ. Разсказывать и описывать явленія природы легче всего сравненіями. Но землетрясеніе рѣшительно не съ чѣмъ сравнить; это явленіе единственное въ своемъ родѣ и самодовлѣющее. Чтобы имѣть о немъ понятіе, надо его испытать, чего, впрочемъ, не совѣтую никому, кромѣ самоубійцъ, и не желаю даже моему заклятому своему врагу; а сверхъ того, смѣю

увѣрить, что, испытавъ одно землетрясеніе, вы, если случится вамъ пережить другое, испытаете отъ него совершенно новыя впечатлѣнія, и само оно покажется вамъ явленіемъ совершенно новымъ. Ко всему можно привыкнуть, говорятъ умные люди. Человѣкъ притерпѣлся къ самымъ пестрымъ и разнообразнымъ бѣдствіямъ. Уже одинъ фактъ существованія пожарныхъ командъ, громоотводовъ, плавательныхъ аппаратовъ доказываетъ, что онъ притерпѣлся къ бѣдствіямъ отъ огня, воды, электричества и выработалъ привычку борьбы съ ними. А нѣкій анекдотическій семинаристъ утверждалъ даже, будто возможно выработать привычку падать внизъ головою съ Исаакіевскаго собора. Но къ землетрясеніямъ не привыкаютъ. До константинопольскаго я пережилъ землетрясеніе въ Тифлисѣ и въ Генуѣ: послѣднее было непосредственнымъ отголоскомъ подземной грозы, обратившей въ прахъ Ментону и Ниццу. И что же? Когда землетрясеніе подступило къ Константинополю, я не узналъ его сразу, и двѣ-три секунды колебался: что это? старый знакомый, обоготворенный греками и наслѣдникомъ ихъ пантеистическаго язычества Гете, Σεισμός второй части «Фауста» или что-то еще не пережитое, какой-то новый, еще не испытанный ужасъ? Окрестности Неаполя, гдѣ бурленіе Везувія часто колеблетъ почву, должны бы, казалось, за двухтысячелѣтнюю исторію свою, выработать какой-нибудь modus vivendi со старымъ вулканомъ, исконнымъ ихъ губителемъ и благодѣтелемъ вмѣстѣ. Но я имѣлъ удовольствіе присутствовать при изверженіи Везувія и убѣдился, что неаполитанцы свыклись со всѣми шалостями огнедышащей горы,—съ потоками лавы, пламенемъ, пепломъ, раскаленными камнями; одно, къ чему никакъ не могутъ они пріучить свое жизнелюбивое нутро, что всякій разъ поражаетъ ихъ, пережившихъ на вѣку своемъ десятки легкихъ землетрясеній, такимъ же безпомощнымъ ужасомъ, какъ и нашего брата, переживающаго землетрясеніе впервые,—

это шатаніе почвы подъ ногами, дрожь земляныхъ стѣнокъ великаго парового котла Европы. Нельзя привыкнуть! Землетрясенія капризно-разнообразны въ своихъ разрушительныхъ приступахъ. Однообразны только въ результатахъ: прахъ домовъ и трупы людей.

Я сказалъ: землетрясеніе подступило. Лучше сказать: подобралось и набѣжало. Оно подкрадывается, какъ звѣрь къ добычѣ, какъ киргизскій воръ къ стаду барановъ. Мнѣ кажется, что нѣкоторое подобіе смятенія, охватывающаго города, пораженные землетрясеніемъ, испытывали средневѣковыя степныя села при внезапныхъ, какъ молнія, нападеніяхъ половцевъ, печенѣговъ и татаръ. Вечерѣетъ. Небо чисто и прекрасно. Степь лоснится ковылемъ, нѣжась подъ послѣдними лучами уходящаго за курганы солнца. На десятки верстъ кругомъ шепчутся подъ тихимъ вѣтромъ камыши. Село спокойно; въ хатахъ зажигаются огоньки, семьи готовятся вечерять, пѣсня слышна—тягучая и широкая, пѣсня вольнаго степного человѣка... Но вотъ всѣ, сколько ни есть народа въ селѣ, разомъ, съ недоумѣніемъ поднимаютъ головы: въ сельскую тишь хлынулъ потокъ смутнаго шума—дробный и быстрый топотъ тысячи коней, вихремъ вылетѣвшихъ изъ глубины камышей, гдѣ лежала весь день на сторожѣ никѣмъ не замѣченная и нежданная засада вражьей силы. Никто еще не успѣлъ разрѣшить: что это за гулъ? откуда? а онъ уже выросъ въ бурю; онъ уже на дворѣ. Гиканье полулюдей, полузвѣрей оглушаетъ мирно сидящихъ за ужиномъ. Крыши пылаютъ надъ ихъ головами; падаютъ подрубленные столбы хлѣвовъ и коновязей; скотина реветъ тоскливо и жалостно; съ церкви гудитъ запоздалый набатъ... Обезумѣвшій селянинъ бѣжитъ, куда глаза глядятъ, спотыкаясь о трупы своихъ родичей, о тѣла обомлѣвшихъ женщинъ и попадаетъ на арканъ прежде, чѣмъ разберетъ, что̀ за бѣда стряслась надъ нимъ? Кто ... звѣрообразные желтолицые не то люди, не то черти въ ...ыхъ шапкахъ, съ разбойничьими глазами, съ кри-

ками людоѣдовъ?.. Людская буря проносится мимо. Какой-либо, счастливымъ случаемъ уцѣлѣвшій, малецъ, чуя возвращенную степи тишину, выползаетъ изъ погребицы на свѣтъ Божій и растерянно, ровно ничего не понимая, смотритъ на груду углей, въ которую превратилось его родимое село. Какъ же, молъ, такъ? Было село, а осталась зола... Ни тятьки... ни мамки... Десятокъ холодныхъ, залитыхъ кровью труповъ... Вотъ настроеніе этого мальчишки будетъ отчасти похоже на настроеніе человѣка, «видѣвшаго» хорошее землетрясеніе.

Хотите еще сравненіе? Мнѣ сообщилъ его мой другъ англичанинъ, г. Мальтенъ, такой же, какъ я, всесвѣтный бродяга: единственный человѣкъ, кому я завидую: куда только не заносила его... нелегкая, скажутъ профаны; счастливая судьба, — съ завистью вздохнемъ мы, спортсмэны скитальчества подъ чужими небесами. Мальтенъ — человѣкъ рѣдкаго, поразительнаго хладнокровія; я самъ, смѣю похвалиться, не изъ теряющихся, но этотъ англичанинъ не разъ изумлялъ меня; онъ — воплощеніе присутствія духа, мужества нравственнаго и физическаго. Въ день константинопольскаго землетрясенія я встрѣтилъ его въ саду Aux petits champs. Кругомъ выли, кричали, рыдали, проклинали, валялись въ обморокѣ, корчились въ истерическихъ конвульсіяхъ сотни женщинъ; я видѣлъ мужчинъ офицеровъ, — а, конечно, никто не скажетъ, что турецкіе офицеры трусы, — синихъ съ лица, какъ сукно ихъ мундира. Но турки, по крайней мѣрѣ, держались и старались держаться прилично. Ихъ, по восточному ихъ фатализму, ничѣмъ не удивишь: кизметъ! — и все тутъ. И, хотя отъ этого кизмета приходится очень скверно, турка идетъ въ его пасть съ такимъ видомъ, будто все обстоитъ совершенно благополучно, и ничего лучшаго онъ и не ожидалъ. Греки же, армяне и итальянцы, даже пожилые люди съ полусѣдыми бородами, хныкали, какъ бабы, катались въ отчаяніи по землѣ, прислушиваясь къ ея замирающему тре-

пету, звали поповъ и ждали свѣтопреставленія. Мнѣ никогда не забыть одного еврея: онъ спрятался подъ садовую скамейку, уткнувъ лицо въ землю, какъ страусъ, задралъ кафтанъ на голову и такъ лежалъ, а ноги его выбивали судорожную дробь по дорожкѣ. Два знакомыхъ болгарина—атташе дипломатическаго агентства, бѣгутъ безъ шляпъ; лица буро-оливковыя; у обоихъ зубъ на зубъ не попадаетъ... принимаются, наперерывъ, безпорядочно разсказывать мнѣ, какъ они шли въ ресторанъ, и вдругъ дома въ переулкѣ наклонились надъ ними, какъ быки, готовые стукнуться рогами, и совсѣмъ было собрались рухнуть на злополучныхъ братушекъ... но вторымъ ударомъ улицу снова выпрямило. И вотъ, среди такого-то стада ошалѣвшихъ людей, я нечаянно наткнулся на Мальтена: онъ сидѣлъ у столика подъ террасою садоваго ресторана и громко стучалъ, подзывая слугу; послѣдній выслушалъ его приказаніе съ помутившимися, полусознательными глазами и скрылся. Но такова сила служебной привычки и хладнокровнаго внушенія! Немедленно возвратился и поставилъ передъ Мальтеномъ графинчикъ коньяку, стаканъ воды и тарелки съ бисквитами. А затѣмъ выпучилъ глаза на страннаго гостя, видимо удивляясь и на него, да и на себя: какъ, молъ, это угораздило его заказать, а меня—послушаться и исполнить?

— Что это вы дѣлаете?!—укоризненно замѣтилъ я англичанину, здороваясь съ нимъ.

— А что?—удивленно возразилъ онъ, отправляя въ ротъ рюмку.

— Да какъ-то неловко... Кругомъ такой хаосъ отчаянія, а вы коньякъ пьете?

— Развѣ вышелъ законъ, воспрещающій пить коньякъ во время землетрясенія?

— Нѣтъ, но...

— И развѣ землетрясеніе прекратится оттого, что я, Джонъ Мальтенъ, эсквайръ, не буду пить коньякъ?.. Лучше

садитесь-ка со мной и выпейте сами: судя по вашему усталому виду, это будетъ не лишнее.

Хладнокровіе Мальтена сперва показалось мнѣ, по русской сентиментальности, чуть не безсердечіемъ. Какъ это, молъ, видѣть бѣдствіе и не расчувствоваться? Но что же узналъ я впослѣдствіи? Этотъ богатырь, въ моментъ землетрясенія, находился въ Стамбулѣ, на томъ самомъ старомъ базарѣ, гдѣ камня на камнѣ не осталось, и, съ опасностью для собственной жизни, вытащивъ изъ-подъ развалинъ нѣсколькихъ турецкихъ ребятишекъ, на своихъ рукахъ перетаскалъ ихъ, одного за другимъ, къ баркамъ Золотого Рога... Да, послѣ такихъ подвиговъ человѣкъ имѣетъ, пожалуй, право пить коньякъ даже во время землетрясенія.

Такъ вотъ этотъ Мальтенъ разсказалъ мнѣ слѣдующее приключеніе. Его двоюродный братъ, унтеръ-офицеръ индійской арміи, въ одно прекрасное воскресенье отправился изъ Калькутты на загородную ферму, въ гости къ пріятелю. На фермѣ онъ засталъ праздникъ; къ вечеру было пьяно все—господа и слуги, англичане и индусы, люди и слоны. Кузенъ Мальтена — человѣкъ, склонный къ поэтическимъ настроеніямъ, даже стихи пишетъ. Чуть ли не ради поэтическихъ впечатлѣній и угораздило его попасть именно въ индійскую армію. Отдалясь отъ пьянаго общества, онъ одиноко стоялъ у колючей растительной изгороди, смотрѣлъ на закатъ солнца и, какъ очень хорошо помнитъ, обдумывалъ письмо въ Ливерпуль, къ своей невѣстѣ. Именно на полусловѣ: «...ваша фантазія не въ силахъ вообразить, дорогая миссъ Флоренса, неисчислимыя богатства индійской флоры и фау...», онъ слышитъ позади себя тяжкіе и частые удары. Точно какой-нибудь исполинъ сверхъестественной величины и силы, Антей, Атласъ, съ размаху вбиваетъ въ землю одну за другой длинныя сваи. Не успѣлъ мечтатель обернуться, какъ его схватило сзади что-то необыкновенно крѣпкое, могучее, эластическое, подбросило высоко въ воздухъ и, помотавъ нѣсколько секундъ,

какъ маятникъ, съ силою швырнуло въ иглистые кусты алоэ—полумертваго, не столько отъ боли, сколько отъ ужаса непониманія и незнанія, самаго опаснаго и могущественнаго изъ ужасовъ: его описали въ древности Гомеръ и Гезіодъ, а въ наши дни со словъ Тургенева—Гюи де-Мопассанъ. Бѣднягу съ трудомъ привели въ чувство. Разгадка происшествія оказалась очень простою: одинъ изъ рабочихъ слоновъ фермера добрался до кувшиновъ съ пальмовымъ виномъ, опустошилъ ихъ, опьянѣлъ и пришелъ въ ярость. Мундиръ унтеръ-офицера привлекъ вниманіе хмельного скота своей яркостью, и кузенъ Мальтена сталъ его жертвой... Такого разнообразія индійской фауны не только миссъ Флоренса, но и самъ горемычный женихъ ея, конечно, не могъ себѣ ранѣе вообразить!.. Ощущеніе нежданно-негаданно схваченнаго слономъ солдата, въ ту минуту, когда онъ не только не думалъ о какомъ-нибудь слонѣ опредѣленномъ, но, вѣроятно, позабылъ и самую «идею слона», вѣроятно, было близко къ ощущеніямъ человѣка въ первый моментъ землетрясенія.

Былъ ясный и жаркій полдень. Мы, пансіонеры Hôtel de France, въ Перѣ, только-что сѣли завтракать. Рядомъ со мною сидѣлъ также русскій — адвокатъ изъ Петербурга, весьма оригинальный господинъ: спиритъ, мистикъ и... спеціалистъ по бракоразводнымъ дѣламъ. Четыре часа спустя, я долженъ былъ разстаться съ Константинополемъ и ѣхать моремъ въ Пирей. Вещи мои были уже увязаны. Мы разсчитывали весело посидѣть за завтракомъ на прощанье и устроить хорошую отвальную. Хозяинъ гостиницы, милѣйшій Herr Frankl, лучшій изъ венгерцевъ, какихъ посылалъ мнѣ Богъ навстрѣчу, притащилъ по обыкновенію новый, только-что полученный съ почты номеръ «Neue Freie Presse» и принялся политиканствовать. Этому человѣку не гостиницу бы содержать, а первымъ министромъ быть, либо, по крайней мѣрѣ, президентствовать въ какой-нибудь маленькой завалящей республикѣ. И вдругъ началось...

— Что это?—поразился мой сосѣдъ, прислушиваясь къ трепету пола, внезапно задрожавшаго подъ нашими ногами.

— Вѣроятно, пушки ѣдутъ,—спокойно возразилъ ему одинъ изъ пансіонеровъ, французскій commis-voyageur.

Но трепетъ перешелъ въ размахи.

Я узналъ стараго знакомаго, всталъ и сказалъ поитальянски:

— Господа, бѣгите на улицу... Здѣсь нельзя оставаться... Это не пушки, это землетрясеніе.

Залъ опустѣлъ мгновенно.

Я никакъ не могу сдѣлать привычки къ землетрясеніямъ, но у меня есть нѣкоторая опытность, какъ ихъ переносить и какія мѣры надо принимать, чтобы отъ нихъ не то, что не погибнуть,—ужъ если судьба пропасть, такъ пропадешь всенепремѣнно!—а все же передъ погибелью хоть немного побарахтаться. И вотъ я остался одинъ въ готовомъ разрушиться домѣ, съ яснымъ, холоднымъ и отчетливымъ сознаніемъ въ умѣ, что переживаю сильное землетрясеніе, и что землетрясеніе это, по всей вѣроятности, смерть.

Слово «трястись», казалось бы, слово довольно опредѣленное: «трясется» значитъ «быстро колеблется вертикально, сверху внизъ». Но для землетрясенія такого опредѣленія мало. Землетрясеніе является трясеніемъ только въ первой своей атакѣ, когда подземный ударъ приближается, но еще не разразился. Вы чувствуете подъ ногами дрожь; отъ нея начинаютъ дребезжать стекла въ окнахъ, подпрыгиваетъ посуда на столѣ. Только-что вы подумали, что, вѣроятно, по улицѣ провозятъ тяжелую кладь, или тянется артиллерійскій обозъ, только-что собрались обругать архитекторовъ и хозяевъ, зачѣмъ строятъ такіе шаткіе дома,— какъ васъ оглушаетъ неистовый стихійный вопль разсвирѣпѣвшей матери-земли... Да! вопль, рыкъ, пожалуй, стонъ, но непремѣнно звукъ, связанный съ понятіемъ о живомъ существѣ. Это не стукъ, не грохотъ, не громъ, не ревъ мор-

ской бури, не пушечный залпъ, не рокотъ горнаго обвала, но живой голосъ, пугающій васъ прежде всего именно своей жизненностью. Болѣе всего онъ походитъ на крикъ огромной толпы—злобный или радостный, все равно: когда кричатъ десятки тысячъ, разница теряется; толкаясь въ толпѣ подъ Ходынкою, во время знаменитой катастрофы 1896 г., я думалъ, что слышу «ура», а это вопили въ десяти саженяхъ отъ меня попавшіе въ давку люди. Помню еще: смотрѣлъ я звѣринецъ, съ великолѣпнымъ подборомъ медвѣдей. Ихъ было штукъ шесть. Вдругъ они изъ-за чего-то перегрызлись и мгновенно наполнили досчатый балаганъ звѣринца свирѣпымъ рыкомъ. Это былъ, пожалуй, изъ всѣхъ звуковъ наиболѣе похожій на вопль землетрясенія. Жизненность этого вопля такова, что, когда я услышалъ его впервые въ Тифлисѣ, я подумалъ сперва, что на улицѣ разыгрывается какая-нибудь армянская манифестація. Я былъ занятъ, писалъ что-то... вдругъ—ррр... Изумленный вскакиваю отъ стола, и первымъ моимъ словомъ было: это что еще за безобразіе?! Но въ ту же минуту на голову мнѣ посыпалась штукатурка, заставившая понять, что дѣло идетъ не о безобразіи, а о несчастіи.

Разъ вы услыхали страшный голосъ земли, васъ уже не *трясетъ*, но *шатаетъ*; колебанія происходятъ не сверху внизъ, а изъ стороны въ сторону, продольными взмахами слѣва направо, справа налѣво. Сравнить это опять-таки не съ чѣмъ. Нѣкоторые пробуютъ сравнить съ качкой при хорошемъ штормѣ. Нѣтъ, это не то. Мнѣ случалось выносить сильныя качки. Не говоря уже о томъ, что онѣ не возбуждали во мнѣ никакого ужаса, а были только любопытны, самое ощущеніе нетвердости пола подъ ногами—иное. Какъ бы ни были сильны размѣры качки, она все-таки качели. размахъ вверхъ, стремительное паденіе внизъ. И это совершенно регулярно: секунда на взлетъ, секунда на нырокъ. У васъ захватываетъ духъ, вамъ трудно стоять на ногахъ, но вы не теряете головы: вы очень хорошо понимаете, что

съ вами дѣлается, и за какую веревку вамъ надо ухватиться, чтобы не полетѣть кубаремъ по палубѣ. Когда же землетрясеніе начинаетъ шатать дома, у васъ въ головѣ начинается страшный сумбуръ; этого избѣжать не можетъ самый хладнокровный человѣкъ. Дѣло въ томъ, что тутъ нѣтъ послѣдовательныхъ нырковъ и взлетовъ, порядокъ которыхъ можно и должно сознавать и къ которымъ можно приготовиться. А просто такъ: васъ, положимъ, неожиданно опрокинуло спиною на стѣну; пребольно ударившись о нее, вы, однако, рады, что нашли, хоть со вредомъ для собственныхъ костей, точку опоры. Но едва обрадовались, вы уже не стоите, а сидите на полу, онъ же изъ ровнаго сталъ круто покатымъ; стѣна изъ-подъ вашей спины ушла, и вы едва догоняете ее своимъ затылкомъ. Въ то же время вы видите, какъ на васъ надвигается противоположная стѣна со всѣми ея картинами и канделябрами; они пляшутъ на своихъ гвоздяхъ, готовые сорваться. Вы закрываете глаза въ сознаніи, что еще мгновеніе—и вы покойникъ, но васъ перешвыри ваетъ въ уголъ, совсѣмъ вами неожиданный. Вы бросаетесь прочь изъ угла, потому что чувствуете, какъ его стороны стремятся одна къ другой, какъ онъ изъ прямого готовъ сдѣлаться острымъ, сдавивъ ваше тѣло на всѣ градусы своего сокращенія. Съ невѣроятнымъ усиліемъ держаться на ногахъ, въ счастливый промежутокъ страшной тряски, вы выскакиваете на лѣстницу и не отдаете себѣ отчета: что это? никакъ я уже внизу? когда же Богъ помогъ? Видите позади себя пляшущія ступени, рухнувшій карнизъ, обломанныя перила... Все это переживается, чувствуется, думается, исполняется въ срокъ нѣсколькихъ секундъ.

Въ Тифлисѣ, гдѣ былъ мой первый дебютъ по землетрясеніямъ, меня учили: если Σεισμός застигнетъ васъ въ домѣ, надо немедленно стать въ дверяхъ или на подоконникѣ: окна и двери якобы разрушаются послѣдними изъ составныхъ частей дома. Можетъ быть, это и такъ, но самая хорошая теорія весьма часто оказывается трудно при-

ложимою на практикѣ. Я только-что, повинуясь тифлисскому совѣту, выбралъ себѣ пунктъ спасенія въ выходныхъ дверяхъ, какъ вдругъ, на счастье свое, взглянулъ вверхъ и увидалъ, что надъ головою моею дрожатъ готовыя обрушиться ступени и перила парадной лѣстницы. Я забылъ всякую теорію, отложилъ въ сторону всѣ спасательныя затѣи, кромѣ быстроты своихъ ногъ, и въ два прыжка очутился на улицѣ.

Шатанія земли замерли; остался только легкій трепетъ. Переулокъ гудѣлъ стонами и воплями; бѣжали мужчины безъ шляпъ, безъ сюртуковъ, растерзанныя женщины,—кто въ чемъ попало. Константинопольскія дамы дома не стѣсняются туалетомъ; измученныя жарою, онѣ по цѣлымъ днямъ валяются въ своихъ темныхъ спальняхъ, причемъ, разумѣется, заботятся объ одномъ—какъ можно болѣе облегчить себя отъ одежды. Такъ какъ землетрясеніе приключилось немного позже полдня, по-истинѣ палящаго, то легко представить, въ какихъ наивныхъ костюмахъ застало оно и выгнало на улицу злополучныхъ красавицъ Перы и Галаты. Въ саду Aux petits champs, куда сбѣжалось спасаться общество Перы, самыми приличными дамами оказались горничныя, продавщицы изъ лавочекъ, магазиновъ, кельнерши пивныхъ, то-есть женщины служащія, обязанныя съ ранняго утра быть одѣтыми. Что же касается барынь... право, мудрено придумать художника, который бы рискнулъ утѣшить публику точнымъ изображеніемъ ихъ группы въ первыя минуты по землетрясеніи. Наконецъ, нашлись рѣшительные люди, сжалились надъ конфузомъ бѣдняжекъ: вошли въ еще трепещущіе и готовые рухнуть при слѣдующемъ подземномъ ударѣ дома, набрали пледовъ, платковъ, манто, первыхъ, какіе подъ руку попались, и прикрыли горемычныхъ «Евъ поневолѣ».

Горничную нашего отеля угораздило свалиться мнѣ на руки въ глубочайшемъ обморокѣ, и мнѣ, попавъ въ рыцари поневолѣ, пришлось удирать изъ узкаго и опаснаго

переулка, спасая не только свою собственную особу, но и волоча добрыхъ пять пудовъ безчувственнаго тѣла. Это, конечно, значительно задерживало мою рысь, и ни одинъ галерный каторжникъ, я думаю, не проклиналъ свою тачку сильнѣе, чѣмъ я свою толстомясую ношу. Съ завистью поглядывалъ я на спины моихъ товарищей по отелю, а въ особенности на спины нашего хозяина и отельной прислуги, улепетывавшихъ налегкѣ съ быстротою скаковыхъ лошадей. Вотъ, когда я практически понялъ значеніе гандикапа нашихъ спортсменовъ. Наконецъ, дотащился и я до сада и сложилъ на землю свой грузъ... боюсь, что съ меньшею бережливостью, чѣмъ требовало того истинно христіанское милосердіе: по крайней мѣрѣ, толстомясая дѣвица что-то ужъ слишкомъ скоро пришла въ чувство и стала водить вокругъ себя дикими глазами, ощупывая себя: жива, молъ, я, или уже на томъ свѣтѣ? Кругомъ—дикое отчаяніе, во всѣхъ его градусахъ, отъ обмороковъ до истерическаго хохота, отъ колѣнопреклоненій и молитвъ до проклятій и богохульства; дѣти, къ удивленію, вели себя лучше взрослыхъ. Словно — въ морской качкѣ. Дѣти очень рѣдко страдаютъ отъ морской болѣзни, и часто, когда весь пароходъ уже обращенъ волею Нептуна въ юдоль стенаній, рвоты и проклятій, ребята, какъ ни въ чемъ не бывало, рѣзвятся на ютѣ. Встрѣча съ Мальтеномъ послужила мнѣ твердою точкой опоры въ круговоротѣ искаженныхъ лицъ и горестныхъ звуковъ и спасла отъ возможности заразиться паникою, подавляюще царившей надъ садомъ. Кромѣ Мальтена, велъ себя довольно спокойно петербургскій адвокатъ. Но его спокойствіе было какое-то жуткое, фаталистическое. Онъ стоялъ безъ шляпы, борода его вѣяла по вѣтру, глаза горѣли мистическимъ огнемъ. Я окликнулъ его. Онъ вздрогнулъ.

— Какъ знать?—пробормоталъ онъ, сжимая мою руку, въ отвѣтъ на свои мысли,—можетъ-быть, это за меня.

— Что «за васъ»?

— Страдаетъ Константинополь.

Я дико взглянулъ на него:

— Никакъ, компатріотъ сошелъ съ ума отъ страха?

У него въ глазахъ стояли слезы.

— Другъ мой, я великій грѣшникъ. Я разрушилъ тысячу шестьсотъ браковъ. Можетъ-быть, Богъ караетъ Стамбулъ именно за то, что я здѣсь... за мое богомерзкое присутствіе...

— Ну,—возразилъ я бракоразводчику,—вы ужъ слишкомъ самонадѣянный грѣшникъ. Землетрясенія въ Царьградѣ не было четыреста лѣтъ, и—успокойтесь—за этотъ срокъ здѣсь совершались дѣянія не вашимъ чета. Если городъ не провалился сквозь землю послѣ разныхъ Махмудовъ, Селимовъ, Солимановъ, и какъ, бишь, ихъ тамъ еще, то логика Немезиды не позволяетъ ему провалиться только потому, что его надумался посѣтить русскій бракоразводчикъ, съ хорошею практикою...

Мало-по-малу народъ успокаивался. Истерическаго визга и безчувственныхъ тѣлъ стало меньше. И почти тотчасъ же изъ-за плечъ трагедіи стали выглядывать комедія и водевиль. Дѣйствительность иной разъ создаетъ курьезныя нечаянности, какихъ не придумать самому бойкому юмористу. Послѣ землетрясенія прошло уже часа полтора. Одна дама, левантинка, среднихъ лѣтъ и замѣчательной красоты, прекрасно одѣтая, сидѣла близъ нашего столика; она продолжала плакать въ три ручья и закрывать лицо руками. Мы съ Мальтеномъ стали ее успокаивать, говоря, что отъ нерваго землетрясенія, слава Богу, уцѣлѣли, стало быть, плакать уже не о чемъ; а второго удара врядъ ли можно ждать раньше полуночи. Почему мы такъ храбро ручались за добропорядочное поведеніе землетрясенія,— рѣшительно не понимаю, но Мальтенъ диктовалъ программу дальнѣйшаго дня съ такою самоувѣренностью, точно онъ, по меньшей мѣрѣ, начальникъ отдѣленія въ небесной канцеляріи. Дама не унималась. Видя, что у нея нервы рас-

ходились не на шутку, я предложилъ ей стаканъ вина или рюмку коньяку. Она съ жадностью схватилась за коньякъ, но, вижу, не проглотила его, а держитъ во рту. Послѣ нѣсколькихъ минутъ удивленнаго молчанія съ нашей стороны, красавица выплюнула коньякъ и заговорила:

— Вотъ теперь немножко легче. Представьте себѣ, какой со мной ужасный случай! Вѣдь я вовсе не отъ землетрясенія плачу. Я живу на дачѣ на островѣ Халькисъ. Простудилась купаясь, схватила зубную боль. Четыре дня мучилась, на пятый не вытерпѣла, пріѣхала въ Перу къ дантисту, и какова же моя несчастная звѣзда. Осмотрѣлъ онъ мой зубъ, растревожилъ, десну мнѣ исцарапалъ, говоритъ, что надо вырвать. Боль невыносимая. Ну, рвите! Только что онъ наложилъ ключъ на зубъ, какъ вдругъ это землетрясеніе. Онъ взвизгиваетъ не своимъ голосомъ, бросаетъ ключъ и меня и летитъ стрѣлою вонъ изъ кабинета. Я, забывъ на минуту боль, вслѣдъ за нимъ. Мы кубаремъ скатываемся, обгоняя другъ друга по лѣстницѣ, изъ четвертаго этажа, и вотъ я здѣсь. Пока не оправилась отъ страха, зубы не болѣли. Сейчасъ первое впечатлѣніе прошло, и вы вообразить не можете, какъ я страдаю. Ужъ лучше бы опять землетрясеніе!

Экономка нашего отеля бродила между постояльцами въ полномъ отчаяніи.

— Ну, что я теперь буду дѣлать, чѣмъ стану васъ кормить? Въ нашей кухнѣ потолокъ обрушился прямо надъ плитою, и весь завтракъ уничтоженъ.

— Но вы, madame Louise, обѣщали намъ, между прочимъ, устрицъ,—перебилъ я ее.—Устрицъ не ставятъ на плиту. Слѣдовательно, ихъ не раздавило, и мы ихъ съѣдимъ.

— Ахъ, monsieur, ихъ-то первыми и прихлопнуло. И ихъ мнѣ особенно жаль. Вѣдь это были первыя по разрѣшеніи торговать ими. Всѣми признано, что устрицы хорошее противохолерное средство, однако, въ прошломъ году одинъ паша ухитрился умереть отъ холеры, заболѣвъ ею

прямо послѣ ужина съ устрицами. И вотъ уже цѣлый годъ онѣ были контрабандою и были такъ дороги, что и не подступайся. А я ихъ такъ любила! Вчера, наконецъ, полиція сняла запрещеніе. Я накупила превосходнѣйшихъ устрицъ; нашъ Юсупъ вскрылъ ихъ, положилъ на блюдо, я разинула ротъ, чтобы проглотить первую... но... стукъ! грохотъ! съ полки летятъ кастрюли и горшки! Блюдо съ устрицами—вдребезги. Я не помню, какъ очутилась въ саду.

Глядя съ высоты садика Aux petits champs на Стамбулъ,—наиболѣе пострадавшую часть Царь-града, что за Золотымъ рогомъ,—я никакъ не могъ сообразить сразу: чего не хватаетъ какъ будто его великолѣпной, оргинальной, не имѣющей себѣ подобія по захвату зрителя панорамѣ? Что-то было, что-то исчезло, и теперь этого чего-то ужасно недостаетъ; а чего именно, не догадаешься. Мальтенъ тоже щурился, видимо недоумѣвая. Наконецъ мы оба переглянулись, сразу догадались и сразу оба расхохотались надъ своею долгою недогадливостью. Землетрясеніе срѣзало множество минаретовъ и, если можно такъ выразиться, «окургузило» великолѣпныя мечети Стамбула. Стрѣлки ихъ исчезли съ горизонта, и отсутствіе ихъ совершенно измѣнило пейзажъ—не въ пользу его красоты. Минареты надѣлали много бѣды. Длинные и тонкіе, они падали на далекое разстояніе: рухнетъ—и точно каменной плетью хлестнетъ толпу нищихъ, всегда спящихъ близъ мечетей. Вѣсти изъ Стамбула приходили ужасныя. Число жертвъ,—сперва, по слухамъ, незначительное,—все росло и росло. Больше всего погибло людей на Старомъ Базарѣ Стамбула: онъ съ тѣхъ поръ такъ и остался не возстановленнымъ; обрушенные своды его лежатъ во прахѣ... мѣсто запустѣнія и проклятія! Пришла вѣсть, что и на проливѣ, и въ Мраморномъ морѣ тоже неблагополучно. Центръ землетрясенія былъ въ Бруссѣ въ шести часахъ отъ Константинополя. Пострадали Принцевы острова. Халкисъ, откуда пріѣхала лѣчить свои зубы наша трагикомическая левантинка, былъ разрушенъ до основанія... Го-

родъ понемножку одѣвался въ трауръ... Четыре часа спустя, я оставилъ Константинополь. Пароходъ «Чихачевъ» медленно прошелъ въ искаженныхъ, израненныхъ землетрясеніемъ берегахъ, оставляя за собою восемьсотъ тысячъ человѣкъ населенія унылаго, въ мрачномъ и безнадежномъ ужасѣ, ждущаго повторенія своей бѣды... Какъ извѣстно, оно не замедлило: черезъ сутки съ половиною Константинополь снова былъ потрясенъ, хотя и съ меньшею силою... И ужъ какъ же искренно воскликнулъ я, читая телеграмму объ этомъ въ далекихъ Аѳинахъ:

— Слава Богу, что во-время убрался!

На-дняхъ, сидя въ Павловскѣ, «на музыкѣ», я видѣлъ издали своего товарища по несчастіямъ константинопольскимъ—бракоразводнаго адвоката. Я указалъ его пріятелю—литератору; оказалось, что тотъ его прекрасно знаетъ.

— Вы не встрѣчались съ нимъ съ тѣхъ поръ?—спросилъ онъ меня.

— Нѣтъ, а что?

— Стало быть, не знаете, какъ на него подѣйствовала константинопольская катастрофа. Совсѣмъ другой человѣкъ сталъ!

— Да ну?

— Честное слово: практику свою бросилъ, набожный такой сдѣлался. Ну ее!—говоритъ,—вы, господа, насчетъ страшнаго суда всѣ довольно легкомысленны, и «не вѣсте ни дня, ни часа, въ онь же»—это не про васъ писано. А вотъ, какъ я этотъ самый страшный судъ уже видѣлъ и внезапность его на своей шкурѣ испыталъ, то и могу понимать. Сказываютъ: кто на морѣ не бывалъ, тотъ Богу не маливался. Нѣтъ, ты на землѣ потрясись,—тутъ вотъ, дѣйствительно, выучишься молиться!

Вѣроятно, адвокатъ—не единственная заблудшая овца, обращенная константинопольскимъ землетрясеніемъ на путь истинный, и не даромъ «Всевышній граду Константинопо- землетрясенье посылалъ». Смертный страхъ, что и

рить—лучшій изъ миссіонеровъ, лучшее лѣкарство противъ атеизма. Онъ снимаетъ невѣріе, какъ рукой. Но съ другой стороны, даже я—путешественникъ, привычный къ короткой памяти и легкомыслію южанъ—удивлялся, какъ быстро, послѣ катастрофы, мѣстные греки, евреи, итальянцы вошли въ повседневный обиходъ своей лихорадочной жизни—полуторговый, полубезнутной. Надъ Стамбуломъ еще крутились облака пыли отъ расшатанныхъ домовъ, лавокъ и минаретовъ, а, насупротивъ, черезъ Золотой Рогъ, уже кипѣлъ котелъ авантюризма называемый коммерческимъ днемъ Перы и Галаты. Муллы въ мечетяхъ, священники въ православныхъ церквахъ, ксендзы въ костелахъ, раввины въ синагогахъ толковали своимъ паствамъ, что землетрясеніе—наказаніе Константинополю за его нечестіе, подобное нечестію Ниневіи. А едва я взошелъ на палубу «Чихачева», откуда-то вынырнулъ предо мною молодой грекъ и, озираясь, чтобы не поймалъ его кто-либо изъ пароходнаго начальства, предложилъ мнѣ изъ-подъ полы купить альбомъ картинъ гнуснѣйшаго содержанія.

— Ты христіанинъ?—спросилъ его провожавшій меня Мальтенъ.

— Еще бы!—съ гордостью возразилъ онъ.

— А гдѣ ты живешь?

— Тамъ!

Онъ махнулъ рукою въ сторону Стамбула.

— Ты былъ сегодня на Старомъ Базарѣ? Кажется, я тебя видѣлъ.

— Во время землетрясенія? Какъ же! О, Боже мой! Я едва остался живъ!.. Купите картины, господа: такихъ, кромѣ какъ въ Константинополѣ, вы нигдѣ не достанете! Все съ натуры; вѣрьте мнѣ—все съ натуры.

Мальтенъ долго смотрѣлъ на малаго, молча, и потомъ обратился ко мнѣ:

— Нельзя сказать, чтобы небесная кара произвела на этого парня особенно воспитательное впечатлѣніе.

Я расхохотался, а онъ невозмутимо продолжалъ, обращаясь къ парню:

— Любезнѣйшій, тебѣ удалось улепетнуть сегодня изъ ада земного, но отъ ада загробнаго тебѣ не уйти, какъ отъ висѣлицы, — въ этомъ ужъ будь спокоенъ: я тебѣ порукою.

— Э, господинъ англичанинъ,—беззаботно возразилъ малый.—Я тоже человѣкъ и хочу ѣсть. А, чтобы ѣсть, надо торговать. А Богъ, вѣрно, не взыщетъ съ меня-бѣдняка, за то, что мнѣ приходится торговать этою дрянью; чѣмъ я виноватъ, если господа иностранцы, кромѣ подобныхъ картинъ, ничего не покупаютъ?!

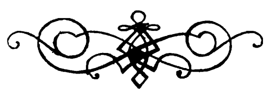
— Негодяй знаетъ логику, какъ дьяволъ! Помните: tu non credesti, che anch' io logico sono!—задумчиво обратился ко мнѣ Мальтенъ. Я невольно вспомнилъ почти однородную сцену изъ Вольтерова «Кандида».

Во время лиссабонскаго землетрясенія, среди ужаса, смерти и развалинъ. Кандидъ и Панглосъ ищутъ сопровождающаго ихъ матроса. А тотъ тѣмъ временемъ, не только равнодушный къ ужасной катастрофѣ, но даже находя, что она ему очень на руку,—ограбилъ разрушенный домъ, разбилъ кабакъ, напился, какъ стелька, и на послѣдній свой золотой купилъ себѣ любовь первой встрѣчной погибшей женщины.

— Другъ мой, — говорилъ ему Панглосъ, — поступая столь безобразно, не находите ли вы, что оскорбляете Высшій Разумъ?

— Поди прочь! — зарычалъ матросъ, — я, братъ, родился въ Батавіи, трижды плавалъ въ Японію, трижды отрекался тамъ отъ Христа и попиралъ ногами Распятіе—нашелъ ты кого пугать своимъ Высшимъ Разумомъ!

Теріоки.
2-го августа 1897 г.



Исторія одного сумасшествія.

Этюдъ къ роману

„Жаръ-Цвѣтъ“.

[illegible] «[illegible]» см. въ [illegible]

«[illegible]»—[illegible] «[illegible] Болѣзнь».

«[illegible]»—[illegible] «[illegible]».

Исторія одного сумасшествія.

ВЪ маленькомъ красивомъ театрѣ города Корфу ставили для открытія сезона Вагнерова Лоэнгрина.

Торжество «премьеры» собрало на спектакль весь мѣстный «свѣтъ» — корфіотовъ постоянныхъ и временныхъ, здоровыхъ островитянъ и болѣющихъ иностранцевъ. Впрочемъ, не все «болѣющихъ». Въ первомъ ряду креселъ, прямо позади капельмейстерскаго мѣста, сидѣли два господина, столь цвѣтущаго вида, что на нихъ, въ антрактахъ оперы, съ любопытствомъ обращались бинокли почти изъ всѣхъ ложъ. Особенно нравился младшій изъ двухъ—огромный, широкоплечій блондинъ, съ пышными волнами волосъ, зачесанныхъ назадъ, безъ пробора, надъ добродушнымъ, открытымъ лицомъ, съ котораго застѣнчиво и близоруко смотрѣли добрые изсѣра-голубые глаза. Несмотря на длинную золотистую бороду англійской стрижки, молодца этого даже по первому взгляду нельзя было принять ни за англичанина, ни за нѣмца; сразу бросался въ глаза мягкій и расплывчатый славянскій типъ. И дѣйствительно, гигантъ былъ русскій, изъ Москвы, по имени, отчеству и фамиліи Алексѣй Леонидовичъ Дебрянскій. Сосѣдъ его, тоже русскій, темнорусый, въ однихъ усахъ, безъ бороды, былъ пониже ростомъ и жиже сложеніемъ, за то бралъ верхъ надъ соотечественникомъ смѣлою свободою и

изяществомъ осанки, чего москвичу сильно нехватало. Загорѣлое, значительно помятое жизнью и уже не очень молодое лицо второго русскаго — скорѣе эффектное, чѣмъ красивое—оживлялось быстрыми карими глазами, умными и проницательными на рѣдкость; видно было, что обладатель ихъ—тертый калачъ, бывалый и на возу, и подъ возомъ, и мало чѣмъ на бѣломъ свѣтѣ можно его смутить и удивить, а испугать — лучше и не браться. Наружность интереснаго господина соотвѣтствовала репутаціи, которая окружала его имя: это былъ графъ Валерій Гичовскій, знаменитый путешественникъ и всесвѣтный искатель приключеній, полу-ученый, полу-мистикъ, для однихъ—мудрецъ, для другихъ — опасный фантазеръ, сомнительный авантюристъ-бродяга.

Дебрянскій всего лишь утромъ прибылъ на Корфу съ пароходомъ изъ Патраса, встрѣтилъ графа въ кафе на Эспланадѣ, познакомился, разговорился, счелся общими знакомыми—и даже чувствовалось, что они сдружатся. Дебрянскій—былъ очень счастливъ, что случай послалъ ему навстрѣчу такого опытнаго путешественника, какъ Гичовскій. Вопреки своей богатырской внѣшности, Алексѣй Леонидовичъ странствовалъ не совсѣмъ по доброй волѣ, — врачи предписали ему провести, по крайней мѣрѣ, годъ подъ южнымъ солнцемъ, не смѣя даже думать о возвращеніи въ сѣверные туманы. И вотъ теперь онъ пріискивалъ себѣ уголокъ, гдѣ бы зазимовать удобно, весело и недорого. Человѣкъ онъ былъ не бѣдный, но сорить деньгами, въ качествѣ знатнаго иностранца, и не хотѣлъ, и не могъ.

Что онъ боленъ, Дебрянскій, по выѣздѣ изъ Москвы, никому не признавался, и самъ желалъ о томъ позабыть, выдавая себя просто за туриста и ведя соотвѣтственно праздный образъ жизни. Нервная болѣзнь, выгнавшая его съ родины, была очень страннаго характера и развилась на весьма необыкновенной почвѣ.

Незадолго передъ тѣмъ, какъ Дебрянскому заболѣть,

сошелъ съ ума короткій пріятель его, присяжный повѣренный Петровъ, веселый малый, одинъ изъ самыхъ безпардонныхъ прожигателей жизни, какими столь безконечно богата наша Первопрестольная. Психозъ Петрова, возникнувъ на люэтической подготовкѣ, выросталъ медленно и незамѣтно. Рѣшительнымъ толчкомъ къ сумасшествію явился трагическій случай, страшно потрясшій расшатанные нервы больного. У него завязался любовный романъ съ одною опереточною пѣвицею, настолько серьезный, что въ Москвѣ стали говорить о близкой женитьбѣ Петрова. Развеселый адвокатъ не опровергалъ слуховъ...

Однажды, возвратясь домой изъ суда, онъ не могъ дозвониться у своего подъѣзда, чтобы ему отворили. Черный ходъ оказался тоже запертъ, а — покуда встревоженный Петровъ напрасно стучалъ и ломился — подоспѣли съ улицы кухарка и лакей его. Они тоже очень изумились, что квартира закупорена наглухо, и разсказали, что уже съ часъ тому назадъ молоденькая домоправительница Петрова, Анна Перфильевна, услала ихъ изъ дому за разными покупками по хозяйству, а сама осталась одна въ квартирѣ. Тогда сломали двери и — въ рабочемъ кабинетѣ Петрова, на коврѣ — нашли Анну мертвою, съ раздробленнымъ черепомъ; она застрѣлилась изъ револьвера, который выкрала изъ письменнаго стола своего хозяина, сломавъ для того замокъ. Найдена была обычная записка — «прошу въ моей смерти никого не винить, умираю по своимъ непріятностямъ». Петровъ былъ пораженъ страшно. Еще года не прошло, какъ, во время одной блестящей своей защиты въ провинціи, онъ сманилъ эту несчастную — простую перемышльскую мѣщанку. Что самоубійство Анны было вызвано слухами о его женитьбѣ, Петровъ не могъ сомнѣваться. Въ корзинѣ для бумагъ подъ письменнымъ столомъ, у котораго подняли мертвую Анну, онъ нашелъ скомканную записку ея къ нему, начатую было — какъ видно — передъ смертью, но не конченную. «Что жъ? Женитесь, женитесь...

а я васъ не оставлю, не оставлю»... писала покойная и— больше ничего, только перо, споткнувшись, разбосало кляксы.

Петрову не хотѣлось разставаться съ квартирою, хотя и омраченною страшнымъ происшествіемъ: его связывалъ долгосрочный контрактъ, съ крупною неустойкою. Однако, онъ выдержалъ характеръ лишь двѣ недѣли, а затѣмъ все-таки бросилъ деньги и переѣхалъ: жутко стало въ комнатахъ, и прислуга не хотѣла жить. Въ день, какъ похоронили Анну, Петровъ, измученный впечатлѣніями и сильно выпивъ на поминъ грѣшной души покойной, задремалъ у себя въ кабинетѣ. И вотъ видитъ онъ во снѣ: вошла Анна, живая и здоровая,—только блѣдная очень и холодная, какъ ледъ,— сѣла къ нему на колѣни, какъ, бывало, при жизни, и говоритъ своимъ тихимъ, спокойнымъ голосомъ:

— Вы, Василій Яковлевичъ, женитесь, женитесь... только я васъ не оставлю, не оставлю...

И стала его цѣловать такъ, что у него духъ занялся. Петровъ съ удовольствіемъ отвѣчалъ на ея бѣшеныя ласки, какъ вдругъ его ударила страшная мысль:

— Что жъ я дѣлаю? Какъ же это можетъ быть? Вѣдь она мертвая.

И тутъ онъ, охваченный неописуемымъ ужасомъ, заоралъ благимъ матомъ и проснулся—весь въ поту, съ головою тяжелою, какъ свинецъ, отъ труднаго похмѣлья, и въ отвратительнѣйшемъ настроеніи духа.

На новой квартирѣ онъ закурилъ такъ, что по всей Москвѣ молва прошла. Потомъ вдругъ заперся, сталъ пить въ-одиночку, никого не принимая, даже свою предполагаемую невѣсту, опереточную пѣвицу. Потомъ также неожиданно явился къ ней позднею ночью,—дикій, безобразный, но не пьяный—и сталъ умолять, чтобы поторопиться свадьбою, которую самъ же до сихъ поръ оттягивалъ. Пѣвица, конечно, согласилась, но поутру—суевѣрная, какъ большинство актрисъ — поѣхала въ Грузины, къ знаменитой

цыганкѣ-гадалкѣ, спросить насчеть своей судьбы въ будущемъ бракѣ...

Вернулась въ слезахъ...

— Въ чемъ дѣло? Что она вамъ сказала? — спрашивалъ невѣсту встревоженный женихъ. Та долго отнѣкивалась, говорила, что «глупости», наконецъ, призналась, что гадалка напрямикъ ей отрѣзала:

— Свадьбы не бывать. А если и станется, на горе твое. Онъ не твой. Промежду васъ мертвымъ духомъ тянетъ.

Петровъ выслушалъ и не возразилъ ни слова. Онъ стоялъ страшно блѣдный, низко опустивъ голову. Потомъ поднялъ на невѣсту глаза, полные холодной, язвительной ненависти, дико улыбнулся и тихимъ, шипящимъ голосомъ произнесъ:

— Пронюхали...

Онъ прибавилъ непечатную фразу. Пѣвица такъ отъ него и шарахнулась. Онъ взялъ шляпу, засмѣялся и вышелъ. Больше невѣста его никогда не видала.

Въ дворянскомъ собраніи былъ студенческій вечеръ. Биткомъ полный залъ благоговѣйно безмолвствовалъ: на эстрадѣ стояла Марія Николаевна Ермолова — эта величайшая трагическая актриса русской сцены, — и, со свойственною ей могучею экспрессіей, читала «Коринѳскую невѣсту» Гете, въ переводѣ Алексѣя Толстого... Когда, величественно повысивъ свой мрачный голосъ, артистка медленно и значительно отчеканила роковое завѣщаніе мертвой невѣсты-вампира:

И, покончивъ съ нимъ,
Я пойду къ другимъ,
Я должна итти за жизнью вновь! —

за колоннами раздался захлебывающійся вопль ужаса, и здоровенный мужчина, шатаясь, какъ пьяный, сбивая съ ногъ встрѣчныхъ, бросился бѣжать изъ зала, среди общихъ криковъ и смятенія. Это былъ Петровъ. У выхода полицейскій остановилъ его. Онъ ударилъ полицейскаго и впалъ

въ бѣшеное буйство. Его связали и отправили въ участокъ, а поутру безуміе его выразилось столь ясно, что оставалось лишь сдать его въ лѣчебницу для душевнобольныхъ. Врачи опредѣлили прогрессивный параличъ въ опасномъ буйномъ періодѣ бреда преслѣдованія. Ему чудилось, что покойная Анна, его любовница-самоубійца, навѣщаетъ его изъ-за гроба, и между ними продолжаются тѣ же ласки, тѣ же отношенія, что при жизни, и онъ не въ силахъ сбросить съ себя иго страшной посмертной любви, а чувствуетъ, что она его убиваетъ. Вскорѣ буйство съ Петрова сошло—и онъ сталъ умирать медленно и животно, какъ большинство прогрессивныхъ паралитиковъ. Галлюцинаціи его не прекращались, но онъ сталъ принимать ихъ совершенно спокойно, какъ нѣчто должное, что въ порядкѣ вещей.

Дебрянскій, старый университетскій товарищъ Петрова, былъ свидѣтелемъ всего процесса его помѣшательства. Въ полную противоположность Петрову, онъ былъ человѣкомъ рѣдкаго равновѣсія физическаго и нравственнаго, отличнаго здоровья, безупречной наслѣдственности. Звѣздъ съ неба не хваталъ, но и въ недалекихъ умомъ не числился, въ образцы добродѣтели не стремился, но и въ пороки не вдавался,—словомъ, являлся примѣрнымъ типомъ образованнаго московскаго буржуа, на холостомъ положеніи, завиднаго жениха и, впослѣдствіи, конечно, прекраснаго отца семейства. Когда Петровъ началъ чудачить черезчуръ уже дико, большинство пріятелей и собутыльниковъ стали избѣгать его: что за охота сохранять близость съ человѣкомъ, который вотъ-вотъ разразится скандаломъ? Наоборотъ, Дебрянскій—вовсе не бывшій съ нимъ близокъ до того времени—теперь, чувствуя, что съ этимъ одинокимъ нелѣпымъ существомъ творится что-то неладное, сталъ чаще навѣщать его. Продолжалъ свои посѣщенія и впослѣдствіи, въ лѣчебницѣ. Петровъ его любилъ, легко узнавалъ и охотно съ нимъ разговаривалъ. Дебрянскій былъ человѣкъ любопытный и любознательный. «Настоящаго сумасшедшаго»

онъ видѣлъ вблизи въ первый разъ и наблюдалъ съ глубокимъ интересомъ.

— А не боитесь вы растроить этими упражненіями свои собственные нервы?—спросилъ его ординаторъ лѣчебницы, Степанъ Кузьмичъ Прядильниковъ, на чьемъ попеченіи находился Петровъ. Дебрянскій только разсмѣялся въ отвѣтъ:

— Ну, вотъ еще! Я—какъ себя помню—даже не чувствовалъ ни разу, что у меня есть нервы; хоть бы узнать, что за нервы такіе бываютъ.

Въ дополненіе къ своимъ визитамъ въ лѣчебницу, Дебрянскаго угораздило еще попасть въ кружокъ оккультистовъ, который, слѣдуя парижской модѣ, учредила въ Москвѣ хорошенькая барынька-декадентка, жена Радолина, компаньона Дебрянскаго по торговому товариществу «Дебрянскаго сыновья, Радолинъ и К°». Надъ оккультизмомъ Алексѣй Леонидовичъ смѣялся, да и весь кружокъ былъ затѣянъ для смѣха, и приключалось въ немъ больше флирта, чѣмъ таинственностей. Но Дебрянскаго, какъ неофита, для перваго же появленія въ кружкѣ, нагрузили сочиненіями Элифаса Леви и прочихъ мистологовъ XIX вѣка, которыя онъ, по добросовѣстной привычкѣ къ внимательному чтенію, аккуратнѣйшемъ образомъ изучилъ отъ доски до доски, изрядно одурманивъ ихъ чертовщиною свою память и разстроивъ воображеніе. Однажды онъ разсказалъ своимъ коллегамъ-оккультистамъ про сумасшествіе Петрова.

— О!—возразилъ ему старикъ, важный сановникъ, считавшій себя адептомъ тайныхъ наукъ, убѣжденный въ ихъ дѣйствительности нѣсколько болѣе, чѣмъ другіе.—О! Почему же сумасшедшій? Сумасшествіе? Хе-хе! Развѣ это новый случай? Онъ старъ, какъ міръ! Вашъ другъ не безумнѣе насъ съ вами, но онъ, дѣйствительно, боленъ ужасно, смертельно, безнадежно. Эта Анна—просто ламія, эмпуза, говоря языкомъ древней демонологіи... Вотъ и все! Прочтите Филострата: онъ описалъ, какъ Аполлоній Тіанскій,

присутствуя на одной свадьбѣ, вдругъ призналъ въ невѣстѣ ламію, заклялъ ее, заставилъ исчезнуть и тѣмъ спасъ жениха отъ верной гибели... Вотъ! Вашъ Петровъ во власти ламіи, повѣрьте мнѣ, а не безумный, нисколько не безумный...

Дебрянскій слушалъ шамканье старика, смотрѣлъ на его дряблое, бабье лицо, съ безцвѣтными глазами и думалъ.

— Посадить твое превосходительство съ другомъ моимъ Васильемъ Яковлевичемъ въ одну камеру,—то-то вышли бы вы два сапога—пара!

— Смотрите, Алексѣй Леонидовичъ! — со смѣхомъ вмѣшалась хозяйка дома,—берегитель, чтобы эта ламія, или какъ ее тамъ зовутъ, не набросилась на васъ. Онѣ, вѣдь, ненасытныя!

— Если бы я была ламіей,—перебила другая бойкая барынька,—я бы ни за что не стала ходить къ Петрову,—онъ такой скверный, грубый, пьяный, уродливый!.. Нѣтъ, я полюбила бы какого-нибудь красиваго-красиваго.

— Да ужъ, разумѣется, вести загробный романъ съ Петровымъ, когда тутъ же на лицо le beau Debriansky,—это непростительно! У этой глупой ламіи нѣтъ никакого вкуса!

Алексѣй Леонидовичъ улыбался, но шутки эти почему-то не доставляли ему ни малѣйшаго удовольствія, а напротивъ, шевелили гдѣ-то въ глубокомъ уголкѣ души—новое для него,—жуткое суевѣрное чувство.

Когда Петровъ принимался безконечно повѣствовать о своей неразлучной мучительницѣ Аннѣ, было и жаль, и тяжко, и смѣшно его слушать. Жаль и тяжко, потому что говорилъ онъ о галлюцинаціи ужаснаго, сверхъестественнаго характера, которую никто не въ силахъ былъ представить себѣ безъ содроганія. А смѣшно—до опереточнаго смѣшно,—потому что тонъ его при этомъ былъ самый будничный, повседневный тонъ старѣющаго фата, которому до смерти надоѣла капризная содержанка, и онъ радъ бы съ нею раздѣлаться, да не смѣетъ или не можетъ.

— Я поссорился вчера съ Анною, начисто поссорился,—ораторствовалъ онъ, расхаживая по своей камерѣ и стараясь заложить руки въ халатъ безъ кармановъ тѣмъ же фатовскимъ движеніемъ, какимъ когда-то клалъ ихъ въ карманы брюкъ, при открытой визиткѣ.

— За что же Василій Яковлевичъ?—спросилъ ординаторъ, подмигивая Дебрянскому.

— За то, что неряха! Знаете, эти русскія наши Церлины,—сколько не дрессируй, все отъ нихъ деревенщиной отдаетъ... Хоть въ семи водахъ мой! Приходитъ вчера, шляпу сняла, проводимъ время честь-честью, цѣлуемся. Глядь, а у нея тутъ вотъ, за ухомъ, все—красное, красное... Матушка! Что это у тебя?—Кровь...—Какая кровь?—Какъ какая? Развѣ ты позабылъ? Вѣдь, я же застрѣлилась... Ну, тутъ я вышелъ изъ себя, и—ну, ее отчитывать!... Всему, говорю, есть границы: какое мнѣ дѣло, что ты застрѣлилась? Ты на свиданіе идешь, такъ можешь, кажется, и прибраться немножко! Я крови видѣть не могу, а ты мнѣ ее въ глаза тычешь! Хорошо, что я нервами крѣпокъ, а другой бы вѣдь... Словомъ жучилъ ее, жучилъ,—часа полтора! Ну, она молчитъ, знаетъ, что виновата... Она, вѣдь, и живая-то была мо-ол-ча-ли-вая,—протянулъ онъ съ внезапною тоскою. Крикнешь на нее, бывало,—молчитъ... все молчитъ... все молчитъ...

— Вотъ тоже,—оживляясь, продолжалъ онъ,—сыростью отъ нея пахнетъ ужасно, холодомъ несетъ, плѣсенью какою-то... Каждый день говорю ей:—Что за безобразіе? Извиняется:—Это отъ земли, отъ могилы. Опять я скажу: какое мнѣ дѣло до твоей могилы? Въ могилѣ можешь чѣмъ угодно пахнуть но, разъ ты живешь съ порядочнымъ человѣкомъ, развѣ такъ можно? Вытирайся одеколономъ, духовъ возьми... опопонаксъ, корилопсисъ, есть хорошіе запахи... поди въ магазинъ, къ Брокару тамъ или Сіу какому-нибудь, и купи. А она мнѣ на это, дура этакая, представьте себѣ:—Да вѣдь меня, Василій Яковлевичъ, въ ма-

газинъ-то не пустятъ, мертвенькая, вѣдь, я... Вотъ и толкуй съ нею!

Въ другой разъ Петровъ, когда Алексѣй Леонидовичъ долго у него засидѣлся, безцеремонно выгналъ его отъ себя вмѣстѣ съ ординаторомъ.

— Ну, васъ, господа къ чорту! Посидѣли и будетъ!— суетливо говорилъ онъ, кокетливо охорашиваясь предъ воображаемымъ зеркаломъ, — она сейчасъ придетъ... не до васъ намъ теперь. Я уже чувствую: вотъ она... на крыльцо теперь вошла... ступайте, ступайте, милые гости! Хозяева васъ не задерживаютъ!

— Ну, — bonne chance pour tout!—засмѣялся ординаторъ,—вы хоть бы когда-нибудь показали намъ ее, Василій Яковлевичъ? А?

— Да, дурака нашли,—серьезно отозвался Петровъ.— Нѣтъ, батюшка, я роговъ носить не желаю. А, впрочемъ,— перемѣнилъ онъ тонъ, – вы, навѣрное, встрѣтите ее въ корридорѣ... Ха-ха-ха! Только не отбивать! Только не отбивать!

И онъ залился хохотомъ, грозя пальцемъ то тому, то другому.

На Дебрянскаго эта сцена произвела удручающее впечатлѣніе. Въ корридорѣ онъ шелъ слѣдомъ за Прядильниковымъ, потупивъ голову, въ глубокомъ раздумьи... А ординаторъ ворчалъ, озабоченно нюхая воздухъ.

— Опять эти идолы, сторожа, открыли форточку во дворъ. Чортъ знаетъ, что за дворъ! Маларійная отрава какая-то, — и холодъ его не беретъ... Чувствуете, какая міазматическая сырость?

Въ самомъ дѣлѣ, Дебрянскаго пронизало до костей холодною, влажною, струею затхлаго воздуха, летѣвшаго имъ навстрѣчу. Степанъ Кузьмичъ, съ ловкостью кошки, вскочилъ на высокій подоконникъ и собственноручно захлопнулъ преступную форточку, съ сердцемъ проклиная домохозяевъ вообще, а своего въ особенности...

— Нечего сказать, въ славномъ мѣстѣ держимъ лѣчебницу.

Онъ крѣпко соскочилъ на полъ и зашагалъ далѣе. Въ темномъ концѣ корридора, близко къ выходу, онъ столкнулся лицомъ къ лицу съ дамою въ черномъ платьѣ. Она показалась Дебрянскому небольшого роста, худенькою, блѣдною, глазъ ея было не видать подъ вуалемъ. Ординаторъ помѣнялся съ нею поклономъ, сказалъ: «Здравствуйте, голубушка!» —и прошелъ. Вдругъ, онъ пересталъ слышать позади себя шаги Дебрянскаго... Обернулся и увидалъ, что тотъ стоитъ—бѣлый, какъ мѣлъ, безсильно прислонясь къ стѣнѣ, и держится рукою за сердце, дико глядя въ спину только-что прошедшей дамы.

— Вамъ дурно? Припадокъ?—бросился къ нему врачъ.

— Э... э... это что же?—пролепеталъ Дебрянскій, отдѣляясь отъ стѣны и тыча пальцемъ вслѣдъ незнакомкѣ.

— Какъ что? Наша кастелянша, Софья Ивановна Кругъ.

Добрянскій сразу покраснѣлъ, какъ вареный ракъ, и даже плюнулъ со злости.

— Нѣтъ, докторъ, вы правы: надо мнѣ перестать бывать у васъ въ лѣчебницѣ. Тутъ, нехотя, съ ума сойдешь... Этотъ Петровъ такъ меня настроилъ... Да нѣтъ! Я даже и говорить не хочу, что̀ мнѣ вообразилось.

Оберегая свои нервы, Дебрянскій пересталъ бывать у Петрова и вернулъ Радолиной Элифаса Леви, Сара Пеладана и весь мистическій бредъ, которымъ-было отравился.

— Ну, ихъ! Отъ нихъ голова кругомъ идетъ.

— Ахъ, измѣнникъ!—Засмѣялась Радолина,—ну, а что вашъ интересный другъ и его прекрасная ламія? Влюблена она уже въ васъ или нѣтъ?

— Типунъ бы вамъ на языкъ!—съ неожиданно искреннею досадою возразилъ Алексѣй Леонидовичъ.

Недѣли двѣ спустя, докладываютъ ему въ конторѣ, что его спрашиваетъ солдатъ изъ лѣчебницы съ запискою о

главнаго врача. Послѣдній настойчиво приглашалъ его къ Петрову, такъ какъ у больного выпалъ свѣтлый промежутокъ, которымъ онъ самъ желалъ воспользоваться, чтобы дать Дебрянскому кое-какія распоряженія по дѣламъ. Торопитесь,—писалъ врачъ,—это послѣдняя вспышка, затѣмъ наступитъ полное отупѣніе, онъ наканунѣ смерти».

Дебрянскій отправился въ лѣчебницу пѣшкомъ,—она отстояла недалеко,—захвативъ съ собою посланнаго солдата. Это былъ человѣкъ пожилой, угрюмаго вида, но разговорчивый. По дорогѣ онъ посвятилъ Дебрянскаго во всѣ хозяйственныя тайны страннаго, замкнутаго мірка лѣчебницы, настоящею королевою которой—по интимнымъ отношеніямъ къ попечителю учрежденія—оказывалась кастелянша, та самая Софья Ивановна Кругъ, что встрѣтилась недавно Дебрянскому съ ординаторомъ въ корридорѣ, у камеры Петрова. По словамъ солдата, весь медицинскій персоналъ былъ въ открытой войнѣ съ этою особою. «Только супротивъ нея и самъ господинъ главный врачъ ничего не могутъ подѣлать, потому что десять лѣтъ у его сіятельства въ экономкахъ прожила и до сихъ поръ отъ нихъ подарки получаетъ». Солдатъ защищалъ врачей, ругалъ Софью Ивановну ругательски и сожалѣлъ князя-попечителя.

— И что онъ въ ней, въ нѣмкѣ, лестнаго для себя нашелъ? Никакой барственной деликатности! Рыжая, толстая,—одно слово слонъ персидскій!

Алексѣя Леонидовича словно ударили:

— Что-о-о?— протянулъ онъ, пріостанавливаясь на ходу,—ты говоришь: она рыжая, толстая?

— Такъ точно-съ. Гнѣдой масти — сущая кобыла нагайская.

У Дебрянскаго сердце замерло, и холодъ по спинѣ побѣжалъ: значитъ, они встрѣтили тогда не Софью Ивановну Кругъ, а кого-то другую, совсѣмъ на нее не похожую, и ординаторъ солгалъ... Но зачѣмъ онъ солгалъ? Что за смыслъ былъ ему лгать?

Страшно смущенный и разстерянный, онъ собрался съ духомъ и спросилъ у солдата:

— Скажи, братъ, пожалуйста, какъ у васъ въ лѣчебницѣ думаютъ о болѣзни моего пріятеля Петрова?

Солдатъ сконфузился:

— Что же намъ думать? Мы не доктора.

— Да, что̀ доктора-то говорятъ, я знаю. А вотъ вы, служители, не примѣтили ли чего-нибудь особеннаго?

Солдатъ помолчалъ немного и потомъ, залпомъ, рѣшительно выпалилъ:

— Я, ваше высокоблагородіе, такъ полагаю, что имъ бы не доктора надо, а старца хорошаго, чтобы по требнику отчиталъ.

И, почтительно приклоня ротъ свой къ уху Дебрянскаго, зашепталъ:

— Доктора имъ, по учености своей, не вѣрятъ, говорятъ «воображеніе», а только они, при всей болѣзни своей, правы: ходитъ-съ она къ нимъ.

— Кто ходитъ? — болѣзненно спросилъ Дебрянскій, чувствуя, какъ сердце его тѣснѣе и тѣснѣе жмутъ чьи-то ледяные пальцы.

— Анна эта .. ихняя, застрѣленная-съ. .

— Богъ знаетъ что!

Дебрянскій зашагалъ быстрѣе.

— Ты видѣлъ?—отрывисто спросилъ онъ, на ходу, послѣ короткаго молчанія.

— Никакъ нѣтъ-съ. Такъ—чтобы фигурою, не случилось, а только имѣемъ замѣчаніе, что ходитъ.

— Какое же замѣчаніе?

— Да вотъ хоть бы намедни, Карповъ, товарищъ мой, былъ дежурный по корридору. Дѣло къ вечеру. Видитъ: лампы тускло горятъ. Сталъ заправлять—одну, другую... только вотъ откуда-то его такъ и пробираетъ холодомъ, сыростью такъ и обдаетъ,—ровно изъ погреба.

— Ну-ну...—лихорадочно торопилъ его Дебрянскій.

— Пошелъ Карповъ по корридору смотрѣть, гдѣ форточка открыта. Нѣтъ, всѣ заперты. Только обернулся онъ и видитъ: у Петрова господина въ номеръ дверь пріотворилась и затворилась... и опять мимо Карпова холодомъ понесло... Карпову и взбрело на мысль: а, вѣдь, это не иначе, что больной стекло высадилъ, да бѣжать хочетъ... Пошелъ къ господину Петрову, а тотъ — безъ чувствія, еле живъ лежитъ... Окно и все прочее цѣло... Ну, тутъ Карповъ догадался, что это у нихъ Анна ихняя въ гостяхъ была, и обуялъ его такой страхъ, такой страхъ... Отъ службы пошелъ было отказываться, да господинъ главный врачъ на него какъ крикнетъ! Что, говоритъ, ты, мерзавецъ этакій, бредни врешь? Вотъ я самого тебя упрячу, чтобы тебѣ въ глазахъ не мерещилось...

— Ему не мерещилось, — съ внезапнымъ убѣжденіемъ сказалъ Дебрянскій.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, человѣкъ трезвый, своими глазами видѣлъ. Да развѣ съ господиномъ главнымъ врачемъ станешь спорить?

Петрова Алексѣй Леонидовичъ засталъ въ постели, крайне слабымъ, но вполнѣ разумнымъ. Говорилъ онъ тихимъ, упавшимъ голосомъ.

— Вотъ что, братъ Алексѣй Леонидовичъ, — шепталъ онъ, — чувствую, что капутъ, раздѣлка... ну и того... хотѣлъ проститься, сказать нѣчто...

— Э! Поживемъ еще! — бодро сталъ-было утѣшать его Дебрянскій, но больной отрицательно покачалъ головою.

— Нѣтъ, кончено, умираю. Съѣла она меня, съѣла... Вы не гримасничайте, Степанъ Кузьмичъ, — улыбнулся онъ въ сторону ординатора, — это я про болѣзнь говорю: съѣла, а не про другое что...

Тотъ замахалъ руками.

— Да Богъ съ вами! Я и не думалъ!

— Такъ вотъ, любезный другъ, Алексѣй Леонидо-

вичъ,—продолжалъ Петровъ,—во-первыхъ, позволь тебя поблагодарить за все участіе, которое ты мнѣ оказалъ въ недугѣ моемъ... Одинъ, вѣдь, не бросилъ меня околѣвать, какъ собаку.

— Ну, что тамъ... стоитъ ли?—пробормоталъ Дебрянскій.

— Затѣмъ — ужъ будь благодѣтелемъ до конца. Болѣзнь эта такъ внезапно нахлынула, дѣла остались неразобранными, въ хаосѣ... Ну, кліентурою-то совѣтъ распорядится, а вотъ - по части личнаго моего благосостоянія, просто ужъ и ума не приложу, что дѣлать. Прямыхъ наслѣдниковъ у меня, какъ ты знаешь, нѣту. Завѣщанія не могу уже сдѣлать: родственники оспаривать будутъ дѣеспособность и, конечно, выиграютъ... Между тѣмъ, хотѣлось бы, чтобы деньги пошли на что-нибудь путное... Да... о чемъ бишь я?

Глаза его помутились-было и утратили разумное выраженіе, но онъ справился съ собою и продолжалъ:

— Такъ вотъ завѣщанія то я не могу сдѣлать, а между тѣмъ, мнѣ бы хотѣлось и тебѣ что-нибудь оставить на память... на память, чтобы не забылъ... Дрянь у меня родня, ничего не дадутъ... на память, чтобы не забылъ... Аннѣ бѣдняжкѣ памятникъ слѣдовало бы... Мертвенькая она у меня... памятникъ, чтобы не забылъ...

Онъ страшно слабѣлъ и путалъ слова. Ординаторъ заглянулъ ему въ лицо и махнулъ рукою.

— Защелкнуло!—сказалъ онъ съ досадою.—Теперь вы больше толку отъ него не добьетесь! Онъ уже опять бредитъ.

Больной тупо посмотрѣлъ на него.

— Анъ не брежу! — хитро и глупо сказалъ онъ, — завѣщаніе! Вотъ что!.. Дебрянскому—чтобы не забылъ! Что? Брежу? Только завѣщать—тю-тю! Нечего! Вотъ тебѣ и—чтобы не забылъ. А вы—брежу! Какъ можно? Завѣщаніе Анна съѣла... хе-хе! глупа, — ну, и съѣла! Ну, и шишъ тебѣ, Алексѣй Леонидовичъ! Шишъ съ масломъ!

И онъ сталъ смѣяться тихимъ, безсмысленнымъ смѣхомъ. Потомъ, какъ бы пораженный внезапною мыслью, уставился на Дебрянскаго и долго разсматривалъ его пристально и серьезно. Потомъ сказалъ медленно и важно:

— А знаешь что, Алексѣй Леонидовичъ? Завѣщаю-ка я тебѣ свою Анну?

— Угостилъ! — улыбнулся ординаторъ, а Дебрянскій такъ и встрепенулся, какъ подстрѣленая птица:

— Господи! Василій Яковлевичъ! Что ты только говоришь?

Больной снисходительно замахалъ руками:

— Не благодари, не благодари... не стоитъ! Анну — тебѣ, твоя Анна... ни-ни! Кончено! Бери, не отнѣкивайся!.. Твоя! Уступаю!.. Только ты съ нею строго, строго, а то она—у-у-у, какая! Меня съѣла и тебя съѣстъ. Бѣдовая! Чувства гаситъ, сердце высушиваетъ, мозги помрачаетъ, вытягиваетъ кровь изъ жилъ. Когда я умру, вели меня анатомировать. Увидишь, что у меня вмѣсто крови—одна вода и бѣлые шарики... какъ бишь ихъ тамъ?.. Хоть подъ микроскопъ! Ха-ха-ха! И съ тобою то же будетъ, другъ, Алексѣй Леонидовичъ, и съ тобой! Она, братъ, молода: жить хочетъ, любить. Ей нужна жизнь многихъ, многихъ...

Дебрянскій слушалъ этотъ хаосъ словъ съ какимъ-то глухимъ отчаяніемъ.

— Да что вы! — шепталъ ему ординаторъ, — на васъ лица нѣту... Опомнитесь! Вѣдь, это же бредъ сумасшедшаго...

— А Петровъ лепеталъ:

— Я давно ее умоляю, чтобы она перестала меня истязать. Что, молъ, тебѣ во мнѣ? Ты меня всего изсушила. Я — выѣденное яйцо, скорлупа безъ орѣха. Дай мнѣ хоть умереть спокойно, уйди. Она говоритъ: уйду, но дай мнѣ, взамѣнъ себя, другого. Сказываю тебѣ: молода, не дожила свое и не долюбила. Ну, что-жъ? Ты

пріятель мой, другъ, я тебѣ благодаренъ... вотъ ты ее и возьми, пріюти, пусть тебя любитъ... ты стоишь... возьми, возьми!

— Уйдемъ! Это слишкомъ тяжело!—пробормоталъ Дебрянскій, потянувъ ординатора за рукавъ.

— Да, невесело!—согласился тотъ.—Они вышли.

И покончивъ съ нимъ,
Я пойду къ другимъ,
Я должна, должна итти за жизнью вновь...

летѣла имъ вслѣдъ безумная декламація и хохотъ Петрова.

Очутясь въ корридорѣ, Дебрянскій оглядѣлся, какъ послѣ тяжелаго сна, и, вспомнивъ нѣчто, взялъ ординатора за руку.

— Степанъ Кузьмичъ!—сказалъ онъ дружескимъ и печальнымъ голосомъ,—зачѣмъ вы мнѣ тогда солгали?

Прядильниковъ вытаращилъ на него глаза:

— Когда?!

— А помните, вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ мы встрѣтили...

— Софью Ивановну Кругъ. Помню, потому что вамъ тогда что-то почудилось, и вы чуть не упали въ обморокъ.

— Это не Софья Ивановна была, Степанъ Кузьмичъ.

Ординаторъ пристально взглянулъ ему въ лицо.

— Извините меня, голубчикъ, но вамъ нервочки подтянуть надобно! — мягко сказалъ онъ. — Какъ не Софья Ивановна? Да хотите, мы позовемъ ее сейчасъ, самое спросимъ.

И онъ толкнулъ Дебрянскаго въ боковую дверь, за которою помѣщалась амбулаторная пріемная.

— Софья Ивановна!—крикнулъ онъ, отворяя еще какую то дверь,—благоволите пожаловать сюда.

— Gleich!

Выплыла огромная, казеннаго образца нѣмка aus Riga, съ молочно-голубыми глазами и двойнымъ подбородкомъ.

— Вотъ-съ... — показалъ въ ея сторону всей рукою ординаторъ,—Софья Ивановна! Голубушка! Вы помните, какъ, съ недѣлю тому назадъ, встрѣтили меня вотъ съ этимъ господиномъ возлѣ нумера господина Петрова.

— Oh, ja!—протянула нѣмка голосомъ сырымъ и сдобнымъ. — Я ошень помниль. Потому что каспадинъ былъ ошень bleich, и я ошень себѣ много удивленій даваль, зашемъ такой braver Herr есть такъ много ошень bleich...

— Ну-съ? Вы слышали?—засмѣялся ординаторъ. Дебрянскій былъ пораженъ до изступленія. Свидѣтельство нѣмки непремѣнно доказывало, что Степанъ Кузьмичъ его не морочилъ, а между тѣмъ онъ присягнуть былъ готовъ, что у встрѣченной тогда дамы былъ другой овалъ лица, другіе станъ, ростъ...

— Да не столковались же они, наконецъ, нарочно мистифицировать меня! — подумалъ онъ съ тоскою, — когда имъ было, и зачѣмъ.

И, вѣжливо улыбнувшись, онъ обратился къ Софьѣ Ивановнѣ:

— Извините, пожалуйста. Я вотъ спорилъ со Степаномъ Кузьмичемъ... Мнѣ тогда вы показались совсѣмъ не такою.

— О! Я изъ бань шелъ,—получилъ онъ прозаическій и добродушный отвѣтъ. — Изъ бань шеловѣкъ hat immer разный лизо, и я имѣлъ лизо весьма ошень разный ..

Глупая нѣмка, «съ весьма очень разнымъ лицомъ», своимъ комическимъ вмѣшательствомъ въ фантастическую трагедію жизни Петрова, такъ ошеломила и успокоила Дебрянскаго, что онъ вышелъ изъ лѣчебницы съ легкимъ сердцемъ, хохоча надъ своимъ легковѣріемъ, какъ ребенокъ. По пути изъ лѣчебницы онъ, пересѣкая Пречистенскій бульваръ, встрѣтилъ сановника-оккультиста. Старичекъ совершалъ предобѣденную прогулку и заглядывалъ подъ шляпки гувернантокъ и платочки молоденькихъ нянь, вѣчно гуляющихъ съ дѣтьми по этому бульвару, рѣши-

тельно безъ всякаго опасенія нарваться на какую-нибудь эмпузу или ламію. Дебрянскій прошелъ вмѣстѣ съ нимъ всю бульварную линію.

— О! — сказалъ старый чудакъ, когда Дебрянскій, смѣясь, разсказалъ, какую штуку сыграли съ нимъ разстроенные нервы. — О! Вы совершенно напрасно такъ легко разувѣрились. Меня эта исторія только убѣждаетъ въ моемъ первомъ предположеніи — что вы имѣете дѣло съ ламіей. Онѣ ужасныя бестіи, эти ламіи, — могутъ принимать какой угодно видъ и форму, когда на нихъ смотрятъ живые люди... Да! Такъ что вы, молодой другъ мой, несомнѣнно видѣли не эту толстомясую нѣмку, — которая, впрочемъ, столь аппетитна, что, я надѣюсь, вы ни откажете сообщить мнѣ ея адресъ! — но ламію, самую настоящую ламію, въ настоящемъ ея видѣ. А господину ординарцу она представилась нѣмкою... еще разъ очень прошу васъ: дайте мнѣ ея адресъ.

На мгновеніе Дебрянскаго какъ бы ожгло.

— Глупости!—съ досадою сказалъ онъ про себя,—довольно дурить! Пора взять себя въ руки! Что я—семидесятилѣтній рамоликъ, что ли, выжившій изъ ума?

И, расхохотавшись, онъ завелъ съ генераломъ фривольный разговоръ о ламіяхъ, нѣмкахъ и встрѣчаемыхъ гуляющихъ дамахъ.

Въ контору свою Дебрянскій уже не пошелъ. Онъ очень весело провелъ день, былъ въ театрѣ, потомъ поужиналъ съ знакомымъ въ «Эрмитажѣ» и вернулся домой часу въ третьемъ утра. Уютная холостая квартирка встрѣтила его тепломъ и комфортомъ. Въ спальнѣ, ласково грѣя, трѣлъ каминъ. У Дебрянскаго была привычка — передъ сномъ выкуривать папиросу около огонька. Онъ раздѣлся и, въ одномъ бѣльѣ, сѣлъ въ кресло у камина, подбросивъ въ него еще два полѣна дровъ. Огонь вспыхнулъ, ярко озарилъ всю комнату краснымъ шатающимся свѣтомъ. Алексѣй Леонидовичъ сидѣлъ, курилъ и чув-

ствовалъ себя очень въ духѣ... Онъ вспоминалъ только-что видѣнную веселую оперетку, съ примадонною, такою же толстою, какъ утромъ нѣмка въ лѣчебницѣ, съ ея очень разнымъ лицомъ, вспомнилъ, какъ глупо мѣшала она нѣмецкія слова съ русскими...

— Ужъ не умѣешь говорить по-русски, качаясь въ креслѣ, разсуждалъ онъ, незамѣтно засыпающимъ умомъ,— такъ говори по иностранному... иностранныя слова... Да!.. цивилизація, поэзія, абрикотинъ... Тьфу! Что это я?! — опамятовался онъ и, встрепенувшись отъ дремы, подобралъ выпавшую-было изо рта на колѣни папиросу, но сейчасъ же уронилъ ее снова и заклевалъ носомъ.

— А многіе есть и образованные, — продолжало качать его,—не знаютъ говорить иностранныя слова,—да... «цивилизація, Стэнли, апельсинъ... иностранныя... А поэзія это особо... Вавиловъ, музыкантъ, «дуэтъ» не можетъ выговорить, все на первый слогъ ударяетъ... Образованный, иностранный, а не можетъ. . дуетъ Глинки, дуетъ Стэнли, апельсинизація... Дуетъ, дуетъ, откуда, зачѣмъ дуетъ?.. Въ корридорѣ дуетъ... ужасно скверно, когда дуетъ...

Дебрянскій недовольно повернулся въ креслѣ, потому что на него въ самомъ дѣлѣ потянуло холодкомъ, и слѣва откуда дуло, онъ услыхалъ, надъ самымъ своимъ ухомъ, будто кто-то грѣетъ руки: ладонь зашуршала о ладонь... Онъ лѣниво взглянулъ въ ту сторону. На ручкѣ ближайшаго кресла — чуть видная въ багряномъ отблескѣ потухающаго камина—сидѣла маленькая, худенькая женщина въ черномъ и, покачиваясь, терла, будто съ холоду, рука объ руку.

— Это... та! Нѣмка изъ лѣчебницы! — спокойно подумалъ Дебрянскій, — ишь, какъ иззябла... да, дуетъ, дуетъ... иностранная нѣмка, съ весьма очень разнымъ лицомъ.

Черненькая женщина все грѣлась и мыла руки, не ращая на Алексѣя Леонидовича никакого вниманія...

Наконецъ, она повернула къ нему лицо — блѣдное лицо, съ огромными глазами, бездонными, какъ омутъ, темными, какъ ночь... И блѣдныя губки ея дрогнули, и странно сверкнули въ полумракѣ ровные, бѣлые, какъ кипень, зубы... и раздался голосъ, тихій, ровный и низкій, точно изъ-за глухой стѣны:

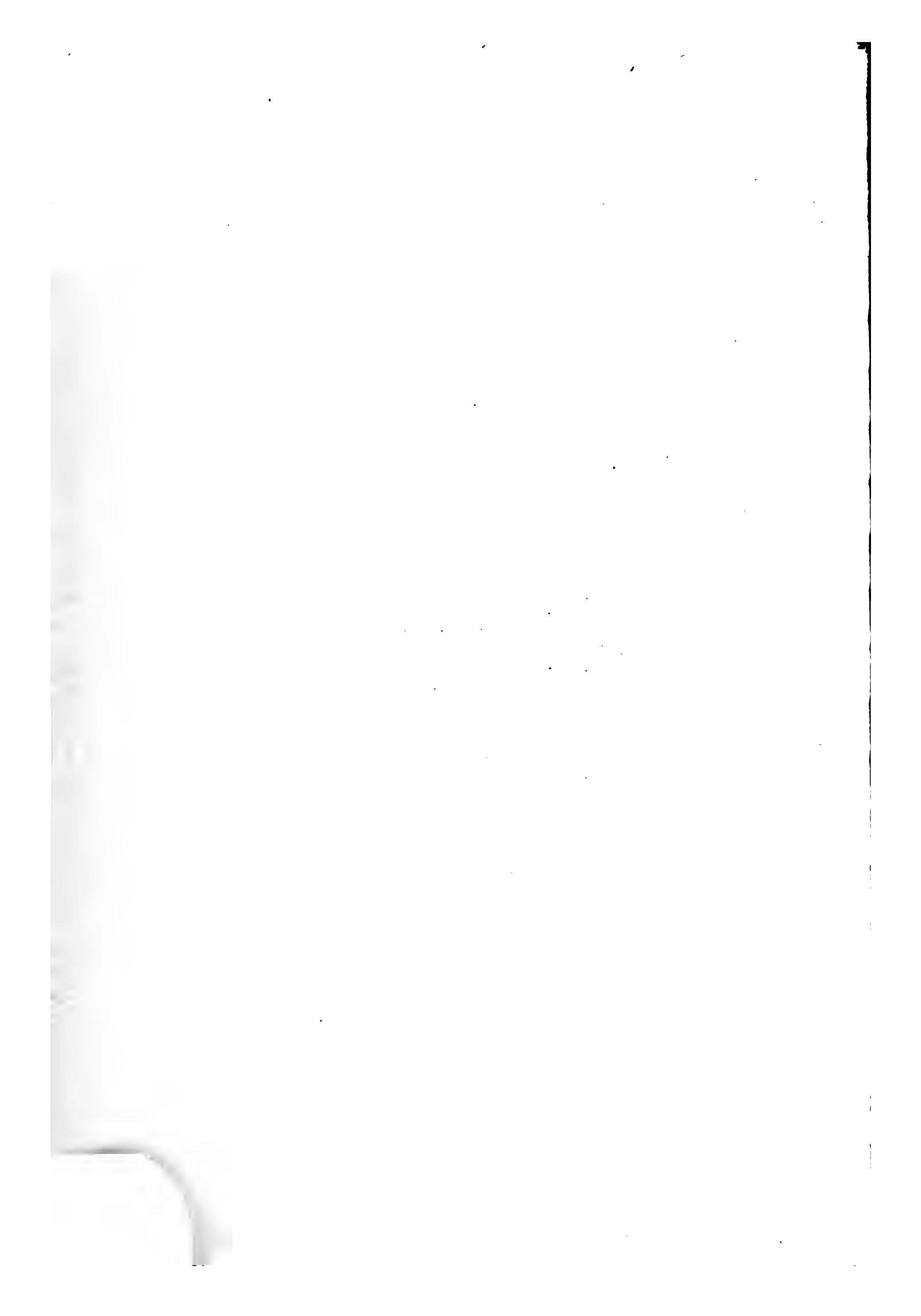
— Анною звать-то меня... Аннушка я... мы перемышльскія...

1900—1901.
Смѣнцево—Спб.



НАПОЛЕОНДЕРЪ.

Солдатская легенда о старой гвардіи.



Наполеондеръ.

Солдатская легенда о старой гвардіи.

Давно, не давно, а дѣды наши запомнятъ,—захотѣлъ Господь Богъ покарать людей за нечестіе. И сталъ Онъ думать, какъ и чѣмъ ихъ покарать, и держалъ о томъ совѣтъ со ангелы и архангелы.

Говоритъ Господу Богу архангелъ Михаилъ:

— Тряхони-ка ихъ, Господи, трусомъ.

Отвѣчалъ Господь Богъ:

— Это дѣло пробованное. Кое время мы Содомъ-Гомору растрясли, а человѣки отъ того умнѣе не стали: Содомъ-то Гомора теперь, почитай, что по всѣмъ городамъ пошла.

Говоритъ Гавріилъ-архангелъ:

— А ежели гладъ?

Отвѣчалъ Господь Богъ:

— Младенцевъ безсловесныхъ жалостно,—за что младенцы погибать будутъ? Опять же и скотина кормовъ рѣшиться должна, а вѣдь неповинная она, скотинка-то.

— Потопомъ ихъ потопи!—Рафаилъ совѣтуетъ.

— Никакъ невозможно,—Господь Богъ въ отвѣтъ,—потому что, первымъ дѣломъ, самъ я клялся людямъ, что потопа больше не будетъ, и радугу въ увѣреніе давалъ. А второе дѣло—грѣшникъ теперь, шельма,—хитрый пошелъ: на пароходъ сядетъ, черезъ потопъ уплыветъ.

*

Смутились тутъ архангелы, пріуныли, стали думать—гадать, головы ломать, какимъ зломъ-бѣдою можно грѣшный народъ образумить и въ совѣсть привести. Но, какъ, съ испоконъ вѣку только на добро Господу Богу служивши, о всякомъ злѣ земномъ позабыли, то и ничего придумать не могли.

Въ эту самую минуту выходитъ впередъ Иванъ—ангелъ, изъ простыхъ, нашего русскаго званія, котораго Господь Богъ приставилъ мужицкія души вѣдать. Преклоняется съ учтивостью и докладаетъ:

— Господи! Тамъ васъ Шайтанъ-чумичка спрашиваетъ. Въ рай не дерзаетъ, потому отъ него духъ не хорошъ,—такъ въ сѣняхъ дожидается.

Обрадовался Господь Богъ:

— Позвать сюда Шайтана-чумичку. Этотъ плутъ мнѣ весьма извѣстный. Очень онъ сейчасъ ко времени. Кто-кто, а ужъ эта бестія придумаетъ.

Вошелъ Шайтанъ-чумичка: рожа черная, опойковая,—изъ-подъ полушубка хвостъ торчитъ,—голосъ сипкій.

— Коли прикажете,—сказываетъ,—я всю вашу бѣду—руками разведу.

— Разводи, братецъ,—оставленъ не будешь.

— Дозвольте,—говоритъ,—чтобы нашествіе иноплеменниковъ.

Господь огъ ручкою на него махнулъ:

— Только-то отъ тебя и будетъ? А еще умный!

— Позвольте,—Шайтанъ ему на супротивъ,—въ чемъ же, однако, мое отсутствіе ума?

— А въ томъ, что совѣтуешь наказывать людей войною, когда они только того и ищутъ, какъ бы подраться между собою, народъ на народъ, и за это-то самое я ихъ теперь и казнить хочу.

— Это,—отвѣчаетъ Шайтанъ-чумичка,—потому они іъ ищутъ, что еще настоящаго воителя не видали, какъ пошлете вы имъ настоящаго воителя—они хво-

сты весьма поприжмуть, — взмолятся къ вамъ: помилуй и спаси отъ мужа кровей и Ареда.

Удивился Господь Богъ.

— Какъ,—спрашиваетъ—братецъ, не видали воителей? И Иродъ-царь воевалъ, Александръ-царь дивіи народы покорялъ, и Иванъ-царь Казань разорилъ, и Мамай-царь неистовый съ ордою приходилъ, и Петра-царь, и Аника-воинъ... какого жъ имъ еще воителя-богатыря нужно?

Шайтанъ-чумичка говоритъ:

— Нуженъ Наполеондеръ.

— Наполеондеръ? Откуда взялъ? Какой такой?

— А такой, говоритъ Шайтанъ, мужиченко—не то, чтобы больно мудрящій, только оченно нравомъ лютой.

Господь Богъ—къ архангелу Гавріилу.

— Почитай въ книгу живота: гдѣ у насъ записанъ Наполеондеръ?

Читалъ-читалъ архангелъ, ничего не вычиталъ:

— Никакого Наполеондера въ книгѣ живота нѣту. Все вретъ Шайтанъ-чумичка. Нигдѣ онъ у насъ не записанъ.

А Шайтанъ-чумичка—въ разрѣзъ:

— Ничего нѣтъ удивительнаго, что Наполеондеръ у васъ въ книгѣ живота не записанъ. Потому въ книгу живота тѣхъ пишутъ, которые отъ отца-матери родились и пупокъ имѣютъ, а у Наполеондера ни отца, ни матери не было, и пупка у него нѣтъ. Такъ что это довольно даже удивительно, и можно показывать его за деньги.

Очень изумился Господь Богъ:

— Какъ же онъ, твой Наполеондеръ, въ такомъ разѣ, на свѣтъ произошелъ?

Шайтанъ отвѣчаетъ:

— А такъ и произошелъ, что свилъ я его, себѣ на забаву куклою изъ песку морского. А ты, Господи, въ тѣ поры личико свое святое умывалъ, да не остерегся, водицею брызнулъ,—прямо съ небесъ Наполеондеру въ мурло п

палъ: онъ оттого и сталъ человѣкъ и ожилъ *). И обитаетъ онъ теперича ни близко, ни далеко—на Буянъ-острову, посередь окіанъ-моря. Земли на томъ острову верста безъ сажени, и живетъ по ней Наполеондеръ, морскихъ гусей сторожитъ. За гусями ходитъ, а самъ не ѣстъ, не пьетъ, не спитъ, не куритъ—одно въ мысляхъ держитъ, какъ бы ему весь свѣтъ покорить.

Подумалъ Господь Богъ, приказалъ:

— Веди его ко мнѣ.

Доставилъ Шайтанъ Наполеондера въ рай. Посмотрѣлъ на него Господь Богъ: видитъ,—человѣкъ военный, со свѣтлою пуговицей.

— Слышалъ я,—спрашиваетъ,—что ты, Наполеондеръ, весь свѣтъ завоевать хочешь?

Наполеондеръ отвѣчаетъ:

— Точно такъ. Оченно какъ хочу.

— А думалъ ли ты, Наполеондеръ, о томъ, что, когда воевать будешь, то много народа побьешь, рѣки крови прольешь?

— Это,—говоритъ Наполеондеръ,—мнѣ, Господи, все единственно. Потому—мнѣ главное дѣло, чтобы весь свѣтъ покорить.

— И не жаль тебѣ, Наполеондеръ, будетъ убитыхъ, раненыхъ, сожженныхъ, разоренныхъ, голодающихъ?

— Никакъ нѣтъ, — говоритъ Наполеондеръ, —чего жаль? Я это не люблю, чтобы жалѣть. Какъ себя помню, никого не жалѣлъ и впередъ не стану.

Обернулся тогда Господь ко ангеламъ и сказалъ:

— Господа ангелы! Парень этотъ къ дѣлу весьма подходящій.

А—къ Наполеондеру:

— Правъ былъ Шайтанъ чумичка: достоинъ ты быть

*) Таковъ миѳъ о сотвореніи человѣка у чувашей, черемисовъ, цвы и всѣхъ обрусѣлыхъ поволожскихъ и заволжскихъ ино-эвъ.

казнью гнѣва моего. Потому что воитель безжалостный хуже труса, глада, мора и потопа. Ступай на землю, Наполеондеръ, — отдаю тебѣ весь свѣтъ, тобою весь свѣтъ наказую.

Наполеондеръ говоритъ:

— Мнѣ бы только войско да счастье, а ужъ я радъ стараться.

А Господь и положилъ на него заклятіе:

— Будетъ тебѣ и войско, будетъ и счастье,—непобѣдимъ ты будешь въ бояхъ. Но—памятуй: покуда ты безжалостенъ и лютъ сердцемъ,—до тѣхъ поръ тебѣ и побѣды. А, какъ только возжалѣешь ты крови человѣческой, своихъ ли, чужихъ ли, тутъ тебѣ и предѣлъ положенъ. Сейчасъ тебя враги твои одолѣютъ, полонятъ, въ кандалы забьютъ и пошлютъ тебя, Наполеондера, назадъ на Буянъ-островъ гусей пасти. Понялъ?

— Такъ точно, — говоритъ Наполеондеръ.—Понялъ. Слушаю. Не буду жалѣть.

Стали спрашивать Бога ангелы и архангелы:

— Господи для чего ты Наполеондеру такое страшное заклятье положилъ? Вѣдь этакъ-то, не жалѣючи, онъ всѣхъ людей на землѣ переколотитъ, не оставитъ и на сѣмена.

— Молчите—отвѣчалъ Господь не долго навоюетъ. Храберъ больно: ни людей не боится, ни себя самого. Думаетъ отъ жалости уберечься, а не знаетъ того, что жалость въ сердцѣ человѣческомъ всего сильнѣе, и нѣтъ человѣка, который бы ея въ себѣ хоть крошечку не имѣлъ.

Архангелы говорятъ:

— Да вѣдь онъ песочный.

А Господь имъ наперекорку:

— А, что онъ отъ живой воды моей духъ получилъ, это вы ни во что почитаете?

Набралъ Наполеондеръ несмѣтное войско, дванадесять языкъ, и пошелъ воевать. Нѣмца повоевалъ, турку повое-

валъ, шведа, поляка,—такъ и коситъ: гдѣ ни пройдетъ,—гладко. И уговоръ помнитъ крѣпко: жалости—ни къ кому. Головы рубитъ, села жжетъ, бабъ насилуетъ, младенцевъ копытами коней топчетъ. Разорилъ-погубилъ всѣ басурманскія царства,—все не сытъ: пошелъ на крещеный край, на святую Русь.

На Руси тогда былъ царь Александръ Благословенный, что теперь въ Петербургѣ-городѣ на Александровской колоннѣ стоитъ и крестомъ благословляетъ,—оттого Благословенный и имя ему. Какъ наперъ на него Наполеондеръ съ дванадесять языкъ, увидалъ Благословенный, что всей Рассеѣ конецъ приходитъ, и сталъ спрашивать своихъ генераловъ фельдмаршаловъ:

— Господа генералы-фельдмаршалы! Что я съ Наполеондеромъ могу возражать? Потому что онъ несносно напираетъ.

Генералы-фельдмаршалы отвѣчаютъ:

— Ничего мы, ваше величество, съ Наполеондеромъ возражать не можемъ, потому что ему отъ Бога дано слово.

— Какое слово?

— А такое: Бонапартій.

— Почему же оное слово, господа генералы-фельдмаршалы, столь ужасно, и что оно обозначаетъ?

— Ужасно оно тѣмъ, что—какъ, скажемъ, видитъ онъ въ сраженіи, что непріятель очень храбрый и его сила не беретъ, и все евоное воинство костьми ложится—сейчасъ онъ этимъ самымъ словомъ—Бонапартіемъ—себя и проклянетъ. А, едва проклянетъ, тотчасъ всѣ солдатики, которые когда ему служили и животъ свой на поляхъ брани за него оставили, приходятъ съ того свѣта. И ведетъ онъ ихъ на непріятеля снова, какъ живыхъ, и никто не въ силахъ устоять предъ ними: потому что—рать волшебная, нездѣшняя. Означаетъ же слово Бонапартій—шестьсотъ шестьдесятъ шесть, число звѣриное.

Опечалился Александръ Благословенный. Однако, подумавши сказалъ:

— Господа генералы - фельдмаршалы! Мы, русскіе, народъ чрезвычайно какой храбрый. Со всѣми мы народами воевали — ни супротивъ кого себя въ грязь лицомъ не ударили. Коли привелъ теперь Богъ съ упокойниками воевать, — Его святая воля: постоимъ и супротивъ упокойниковъ.

И повелъ онъ войско-армію на Куликово поле и сталъ ждать злодѣя Наполеондера. А Наполеондеръ-злодѣй шлетъ ему посла съ бумагою:

— Покорись, Александръ Благословенный, я тебя за то, не въ примѣръ прочимъ, пожалую!

Но Александръ Благословенный, какъ былъ государь гордый и амбицію свою соблюдалъ, съ посломъ Наполеондеровымъ говорить не сталъ, а взялъ тое самую бумагу, что посолъ привезъ, нарисовалъ на ней кукишъ, да Наполеондеру въ отместку и отослалъ.

— Этого не хочешь ли?

И дрались они, рубились на Куликовомъ полѣ и, долго ли, коротко ли, начали наши Наполеондера одолѣвать. Поприрубили, попристрѣляли всѣхъ его генераловъ-фельдмаршаловъ, на самого насѣдаютъ:

— Конецъ тебѣ, извергъ Наполеондеръ! Сдавайся! — кричатъ.

А онъ, Наполеондеръ, на конѣ, какъ сычъ, сидитъ, буркалами ворочаетъ, да ухмыляется:

— Погоди, говоритъ, не торопись. Скоро сказка сказывается, дѣло творится мѣшкотно.

И крикнулъ свое вѣщее слово:

— Бонапартій! Шестьсотъ шестьдесятъ шесть, число звѣриное!

Потряслась земля, загудѣло славное Куликово поле. Глянули наши, да—всѣ и руки врозь: со всѣхъ-то краевъ поля — грозные полки идутъ, штыки на солнцѣ горятъ, —

знамена рваныя надъ шапками страшными, мохнатыми треплются, — идутъ, трахъ-тахъ, трахъ-тахъ, шагъ отбиваютъ,—молча идутъ, а рожи у всѣхъ, какъ пупавка, желтыя, а глазъ-то подо лбомъ и въ поминѣ нѣтъ...

Ужаснулся Александръ, Благословенный царь. Ужаснулись его генералы-фельдмаршалы. Ужаснулась вся россійская сила-армія. И дрогнули они, не выдержали покойницкой силы, пустились бѣжать, куда глаза глядятъ. А воръ Наполеондеръ, на коню сидя, за бока держится, хохочетъ-заливается:

— Что, кричитъ, не по зубамъ вамъ мои старички пришлись? То-то! Это не съ мальчишками въ бабки играть. Ну-ка, господа честные упокойнички! Я никогда никого не жалѣлъ, такъ и вы враговъ моихъ не жалѣйте; задайте имъ по-свойскому.

Покойники говорятъ:

— Покуда такъ, мы твои слуги довѣчные.

Бѣжали наши съ Куликова поля на Полтавъ-поле, съ Полтавъ-поля на славный тихій Донъ, съ тихаго Дона на Бородино-поле, подъ самое Москву-матушку. И—какъ до какого поля добѣгутъ — сейчасъ къ Наполеондеру лицомъ обернутся и идутъ на него въ рукопашь. Такъ что самъ Наполеондоръ, на что злодѣй, очень ими восхищался.

— Помилуй Богъ, какой храбрый русскій солдатъ. Въ чужихъ краяхъ я такихъ не видывалъ.

Но при всей большой нашей храбрости, никакъ мы съ Наполеондеромъ возражать не могли, — потому, на слово его слова не знали. Во всѣхъ сраженіяхъ бьемъ его, гонимъ, вотъ-вотъ на арканъ зацѣпимъ, въ полонъ возьмемъ,—анъ тутъ-то онъ, плутъ-идолъ безпутный, и спохватится. Крикнетъ-гикнетъ Бонапартія: упокойнички и лѣзутъ изъ могилокъ во всей амуниціи, зубомъ скрипятъ, начальство взоромъ ѣдятъ—гдѣ прошли, трава не растетъ, камень лопается. И такъ наши напугались этой силы нечистой, что уже и воевать съ нею не могли. Какъ только

заслышутъ проклятаго Бонапартія, какъ завидятъ мохнатыя шапки, да желтыя рожи, всѣ ружья побрасаютъ, бѣгутъ въ лѣса прятаться.

— Какъ хошь,—говорятъ,—Александръ Благословенный, а подъ упокойника мы не согласны.

Александръ же Благословенный плакался:

— Братцы, повременимъ бѣжать! Понатужимся еще чуточку. Не все же ему, собакѣ, надъ нами куражиться. Положенъ же ему послѣдній предѣлъ отъ Господа. Нонѣ его, завтра его, а тамъ, дастъ Богъ, и наша авоська вывезетъ.

И поѣхалъ онъ ко старцамъ-схимникамъ, въ пещеры кіевскія, на острова валаамскіе—митрополитамъ-архимандритамъ въ ножки клапялся:

— Молитесь, святые отцы, чтобы престалъ на насъ гнѣвъ Господень, потому что нѣту нашей силы-мочи отстоять васъ отъ Наполеондера.

И молились старцы-схимники, митрополиты-архимандриты со слезами и колѣнопреклоненіемъ, такъ что на лобикахъ синяки набили, а на колѣнкахъ мозоли вырастили. И молился со слезами весь народъ русскій, отъ Царя до послѣдняго нищаго. И заступницу Скорбящихъ, Божію Мать Смоленскую, во слезахъ, подняли и понесли на славное Бородино поле, и вопили:

— Пресвятая Богородица! Ты еси упованіе и животъ! Заступи и скоро помилуй!

И у самой свѣтъ-Пресвятой Богородицы изъ-подъ серебряной ризы, изъ-подъ жемчужнаго подниза, по темному лику—слезы закапали. Весь народъ Божій, вся сила-армія видѣла, какъ святая икона плакала,—и ужасно это было всѣмъ, и умильно.

Внялъ Господь Богъ русскому воплю и молитвѣ пресвятой Богородицы, Смоленскія Божія матери, и вскричалъ ко ангеламъ и архангеламъ:

— Миновалъ часъ гнѣва моего. Довольно претерпѣли

человѣки за грѣхи свои и всѣ въ сквернахъ своихъ предо Мною покаялись. Довольно Наполеондеру народъ губить,— пора узнать и милосердіе. Кто изъ васъ, слуги мои, на землю сойдетъ, кто приметъ трудъ великъ—умягчитъ сердце воительское?

Вызвался Иванъ-ангелъ:

— Я пойду.

А Наполеондеръ, на ту пору, большую побѣду одержалъ. Ѣдетъ онъ по бранному полю на борзомъ конѣ, копытами конскими мертвецовъ давитъ,—и никого-то ему не жаль, одну думу въ головѣ держитъ:

— Съ Рассеей порѣшу, на китайскаго царя и бѣлъарапа пойду,—тогда ужъ, какъ есть, до остатка весь свѣтъ покорю!

Только слышитъ онъ, вдругъ, зоветъ его нѣкто:

— Наполеондеръ, а, Наполеондеръ!

Оглянулся Наполеондеръ: анъ, по близости, на пригоркѣ, подъ кусточкомъ, русскій солдатикъ лежитъ—раненый—и рукою ему машетъ. Удивился Наполеондеръ: что̀ русскому солдату отъ него надобно. Поворотилъ коня, подъѣхалъ.

— Чего тебѣ?

— Ничего мнѣ,—солдатикъ отвѣчаетъ,—отъ тебя не надобно, только одно слово спросить. Скажи мнѣ, пожалуйста: за что ты меня убилъ?

Еще больше удивился Наполеондеръ: сколько лѣтъ онъ воевалъ, сколько людей убилъ-ранилъ, а никто его никогда ни о чемъ такомъ не спрашивалъ. А и солдатикъ-то не мудрый: молоденькій, бѣлобрысенькій,—видать, что новобранчикъ, изъ деревни, отъ сошки взятъ.

— Какъ за что, братецъ? — говоритъ Наполеондеръ. Не могъ я тебя не убить. Присяга твоя такая, чтобы убиту быть.

— Я, Наполеондеръ, присягу знаю и убиту быть не супротивничаю. Но *ты-то* за что меня убилъ?

— Какъ же мнѣ тебя не убить, коли ты мнѣ непріятель—сирѣчь, врагъ: воевать со мною на Бородино-поле вышелъ.

— Окрестись, Наполеондеръ, какой я могу быть тебѣ врагъ? Никакихъ промежъ насъ съ тобой спора-ссоры никогда не было. Покуда ты въ нашу землю не пришелъ, да въ солдаты меня не забрили,—я о тебѣ и, отродясь, и не слыхивалъ. А ты меня, что я есмь за человѣкъ, и по сейчасъ не знаешь. И все-таки ты меня убилъ. И сколько другихъ такихъ же убилъ.

— Убилъ, говоритъ Наполеондеръ, потому что мнѣ надо весь свѣтъ покорить.

— А мнѣ-то что до того, что надо тебѣ свѣтъ покорить? Покоряй, коли охота есть,—я въ томъ тебѣ не препятствую. Но меня-то за что ты убилъ? Нешто отъ того, что ты меня убилъ, свѣту тебѣ прибавилось? Нешто онъ мой, свѣтъ-то? А ты меня убилъ! Неразсудительный ты, Наполеондеръ, братецъ. И неужели думаешь ты, чрезъ то, что народъ бьешь и увѣчишь, въ самомъ дѣлѣ, свѣтъ покорить.

— Очень даже думаю.

Улыбнулся солдатикъ.

— Совсѣмъ ты глупый, Наполеондеръ. Жаль мнѣ тебя. Развѣ весь свѣтъ покорить можно?

— Всѣ царства завоюю, всѣ народы въ цѣпи закую, одинъ на всей землѣ царемъ буду.

— Покачалъ головою солдатикъ.

— А Бога завоюешь?

Смутился Наполеондеръ:

— Нѣтъ, Божья воля надъ всѣми нами, всѣ мы въ Божьей десницѣ живемъ.

— Такъ что же и пользы тебѣ весь свѣтъ завоевать? Все онъ, значитъ, не твой будетъ, а Божій. И, покуда Богъ тебя терпитъ, потуда только ты и цѣлъ.

— Это я и безъ тебя знаю.

— А коли знаешь, зачѣмъ же ты съ Богомъ не считаешься? Развѣ дозволилъ Онъ человѣку неповинную кровь лить? За что ты меня убилъ?

Нахмурился Наполеондеръ.

— Ты, братъ, мнѣ этихъ словъ не говори. Я такихъ ханжей слыхивалъ. Напрасно. Не проведешь. Я жалѣть не умѣю.

— Ой ли?—спрашиваетъ солдатъ. Смотри: много ты форсу на себя напускаешь. Безъ жалости человѣку,—врешь: прожить нельзя! Что жалость, что душа, — все едино. Душа-то есть у тебя аль нѣту?

— Извѣстно, есть. Нельзя безъ души.

— Ну, вотъ видишь: душу имѣешь, въ Бога вѣришь,—какъ же тебѣ жалости не узнать? Узнаешь. И я такъ даже думаю, что вотъ и сейчасъ ты стоишь надо мною—только вида показать не хочешь, а, про себя, въ душѣ, смерть какъ меня жалѣешь: за что ты меня убилъ?

Разсвирѣпѣлъ Наполеондеръ:

— А, такой сякой, типунъ тебѣ на языкъ! Вотъ я тебѣ покажу, какъ тебя жалѣю.

Вынулъ пистолетъ и прострѣлилъ раненому голову. Обернулся къ своимъ упокойникамъ, говоритъ:

— Видѣли?

— Видѣли. Покуда такъ, мы твои слуги довѣчные.

Поѣхалъ Наполеондеръ дальше по бранному полю...

Ночь прошла—сидитъ Наполеондеръ въ шатрѣ золоченомъ, одинъ-одинешенекъ, и больно ему не по себѣ. И—что ему сердце грызетъ—самъ понять не можетъ. Который годъ воюетъ, а—въ-первой это дѣло: никогда такой жути на душѣ не было. А на завтра утромъ—бой ему начинать, послѣдній, самый страшный бой съ Александромъ, Благословеннымъ царемъ, на Бородинѣ-полѣ.

— Эхъ, думаетъ Наполеондеръ, покажу я себя завтра. каковъ я есть молодецъ. Православную силу армію кое копьемъ приколю, кое конемъ стопчу, Александра-царя полонъ возьму, весь русскій людъ убью-расшибу.

Но на ухо ему—кто-то опять будто:

— А за что?

Потрясъ головою Наполеондеръ:

— Знаю, чья штука. Опять солдатъ давешній. Ладно! Не поддамся ему. За что? За что? Эка — присталъ. Почемъ я знаю, за что? Кабы зналъ, за что,—такъ можетъ быть, и не воевалъ бы.

Въ постелю легъ. Едва заведетъ глаза подъ лобъ,— стоитъ передъ Наполеондеромъ вчерашній солдатъ. Молоденькій, кволенькій, волосы русые, а усы еще не выросли,—только бѣлымъ пухомъ губа обозначилась. Лобъ блѣдный, губы синіе,—глаза голубые меркнутъ... а на вискѣ дырка черная, куда евоная—Наполеондера—пуля прошла...

— За что ты меня убилъ?

Ворочался ворочался въ постели Наполеондеръ. Видитъ: плохо дѣло,—нѣтъ, не избыть ему солдата. И самъ на себя дивуется:

— Что за оказія? Сколько милліоновъ всякаго войска перебилъ,—всегда въ мысляхъ свободенъ былъ,—тутъ вдругъ одинъ какой-то паршивый солдатъ, а какую мнѣ завязку въ головѣ дѣлаетъ.

Всталъ,—и нестерпимо ему въ золоченомъ шатрѣ. Вышелъ на вольный воздухъ, сѣлъ на коня и поѣхалъ къ тому пригорку, гдѣ онъ досаднаго солдата изъ собственныхъ рукъ пристрѣлилъ.

— Слыхалъ я,—думаетъ Наполеондеръ,—что—коли мертвецъ мерещится—надо ему засыпать глаза землею: тогда отстанетъ.

Ѣдетъ. Мѣсяцъ свѣтитъ. Тѣла мертвыя грудами лежатъ. Синій свѣтъ по нимъ бродитъ. Ѣдетъ Наполеондеръ, тлѣнъ смотритъ тлѣнъ нюхаетъ.

— Все это — я побилъ!

— И—дивно! кажется ему, будто всѣ они, побитые, на одно лицо—русые да безусые, молодые, голубоглазые—и смотрятъ всѣ на него жалостно и ласково, какъ

тотъ солдатъ смотрѣлъ, и шевелятъ безкровными губами и лепечатъ укоръ беззлобный:

— За что?

Стѣснилось у Наполеондера воительское сердце. Не имѣлъ онъ духа доѣхать до пригорка, гдѣ тотъ солдатъ лежалъ, повернулъ коня, поѣхалъ къ шатру... И—что ни покойникъ на пути— снова слышитъ онъ:

— За что?

И ужъ не стало у него азарта-прыти, какъ прежде, пускать коня—скакать по мертвымъ ратникамъ, но объѣзжалъ онъ каждаго упокойника, на полѣ брани животъ свой честно положившаго, съ доброю учтивостью, а — на иного взглянетъ, да еще и перекрестится:

— Эхъ-молъ, этому жить бы да жить... Молодецъ-то какой бравый! И дрался храбро—богатыри драться русскіе. А я его убилъ. За что?..

И самъ не замѣтилъ воитель Наполеондеръ, какъ растопилось и умилилось его сердце, и возжалѣлъ онъ убитыхъ враговъ—а, вмѣстѣ съ тѣмъ, заклятье его отошло отъ него, и сталъ онъ такой же, какъ всѣ люди.

А на завтра бой.

Выѣхалъ Наполеондеръ на Бородино-поле къ ратямъ своимъ, туча-тучею—всѣ семьдесятъ сестеръ лихорадокъ его треплютъ. Посмотрѣли на него генералы-фельдмаршалы,—ужаснулись:

— Ты бы, Наполеондеръ, водки что ли выпилъ. На тебѣ лица нѣтъ.

Какъ двинулись русскіе на Бородинѣ-полѣ супротивъ Наполеондеровой орды, она—сразу и вразсыпную пошла. Стали генералы-фельдмаршалы Наполеондеру совѣтовать:

— Плохо дѣло, Наполеондеръ: больно сердито бьются сегодня русскіе. Говори свое слово. Зови упокойниковъ.

Началъ Наполеондеръ кричать Бонапартія, шестьде- шесть, число звѣриное. Однако—сколько ни кричилъ, о галокъ вспугалъ, а упокойники на зовъ не при-

шли—не откликнулись. И остался Наполеондеръ посередь Бородина-поля — какъ перстъ—одинъ, потому что всѣ генералы-фельдмаршалы бѣжали отъ него, какъ отъ чумоваго. И сидѣлъ онъ на конѣ одинъ, и оралъ одинъ, а, покуда оралъ,—откуда ни возьмись, всталъ предъ нимъ вчерашній убитый солдатъ...

— Не надсажай себя, Наполеондеръ: никто не придетъ. Потому что возжалѣлъ ты вчера меня и побитыхъ братьевъ моихъ,—и, за жалость твою, не послушаютъ тебя упокойники: вся твоя сила надъ ними отошла отъ тебя.

Заплакалъ тогда Наполеондеръ:

— Погубилъ ты меня, солдатище несчастный!

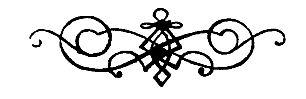
Но солдатикъ—а былъ это не солдатикъ, но Иванъ-ангелъ—отвѣчалъ:

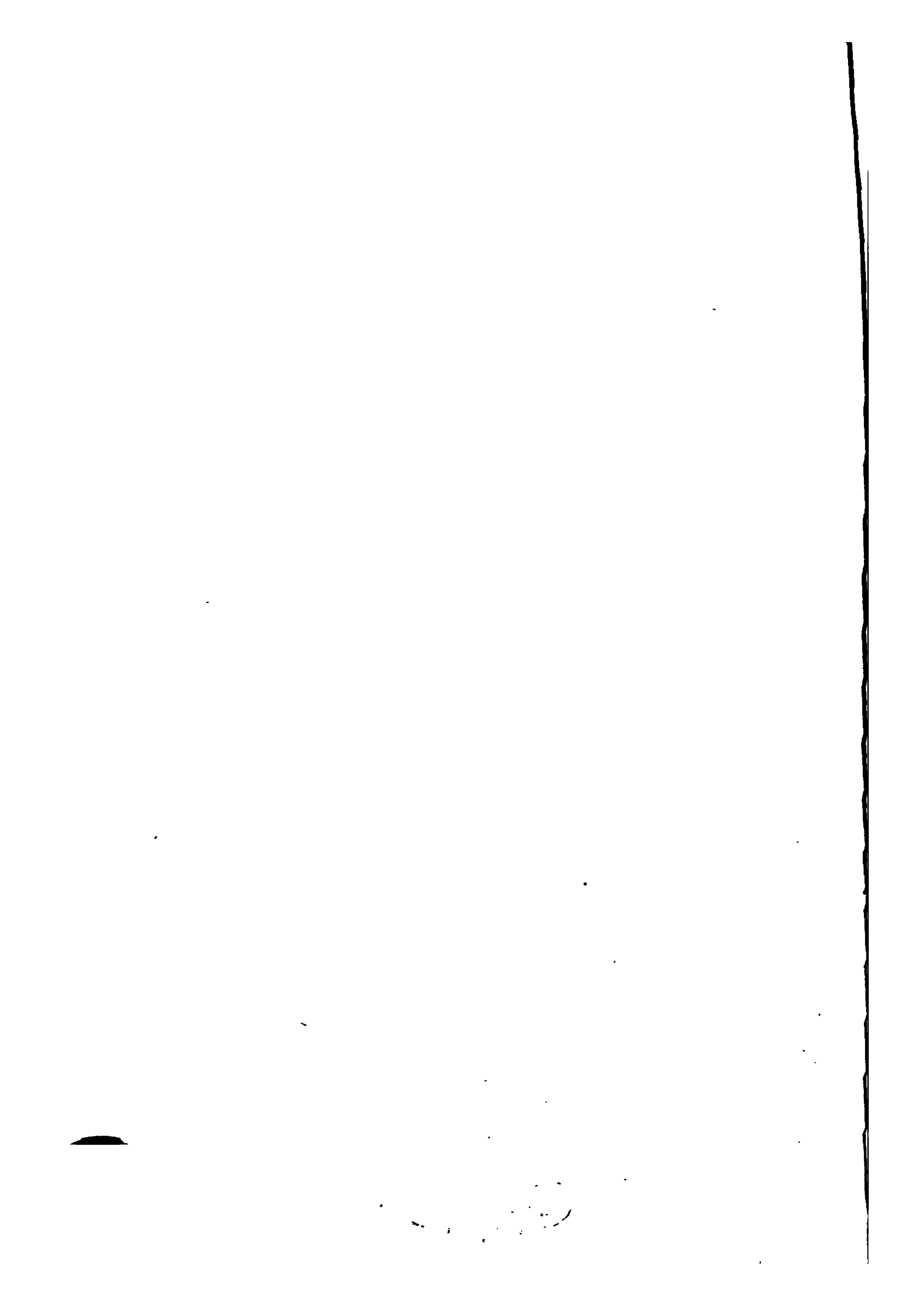
— Не погубилъ я тебя, но спасъ. Потому что—если бы продолжалъ ты свой путь безпощадный, безжалостный,—не было бы тебѣ прощенія ни въ сей жизни, ни въ будущей. Теперь же Господь даетъ тебѣ срокъ покаянія: на семъ свѣтѣ тебя казнитъ, но на томъ—коли грѣхи замолишь — помилуетъ.

И сталъ невидимъ.

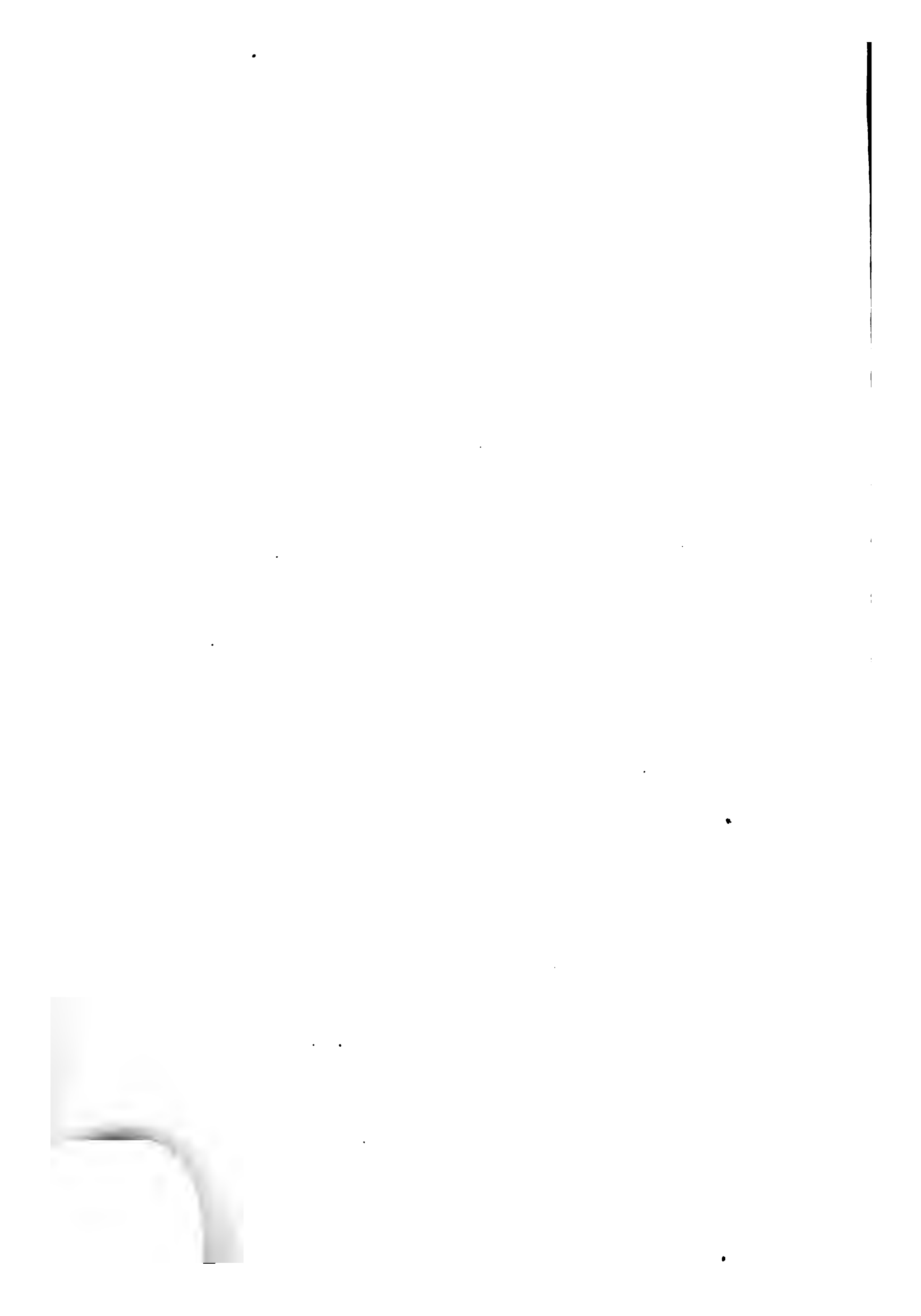
А на Наполеондера наскочили наши донскіе казачки, сняли его съ коня, отвели къ Александру Благословенному. Кто говоритъ: Наполеондера убить-разстрѣлять; кто говоритъ: Наполеондера въ Сибирь сослать. Но Александру Благословенному укротилъ Господь сердце милостью. Не позволилъ онъ Наполеондера убить-разстрѣлять, не позволилъ въ Сибирь сослать, а велѣлъ посадить его въ желѣзную клѣтку и возить-показывать по ярмаркамъ. И возили Наполеондера по ярмаркамъ тридцать лѣтъ и три года, покуда не состарѣлся. А, какъ состарѣлся, отослали его на Буянъ-островъ—гусей пасти.

Спб. 1901.





СИБИРСКАЯ БЫЛИНА.



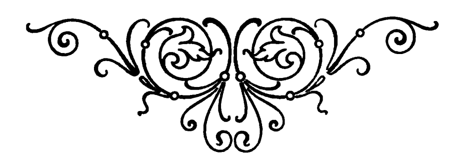
Сибирская былина

о генералѣ Пестелѣ и мѣщанинѣ Саламатовѣ.

(1818 г.).

СОБЫТІЯ, воспѣваемыя этою былиною, не вымышлены. Генералъ-губернаторъ Пестель, послѣдній «вице-рой» Сибири, управлялъ ею 14 лѣтъ (смѣненъ въ 1819 году). Онъ жилъ въ Петербургѣ, а краемъ фактически управлялъ иркутскій губернаторъ Трескинъ, которому Пестель слѣпо вѣрилъ. Это былъ человѣкъ весьма энергичный, но страшно и ненужно жестокій грубый, нечистый на руку. Таковыхъ же подбиралъ онъ и служащихъ. Между послѣдними, въ особенности прославился свирѣпостью и взяточничествомъ исправникъ Лоскутовъ. Эта камарилья превратила Сибирь въ адъ для обывателей, особенно для богатаго купечества. Административный терроръ, созданный Пестелемъ и Трескинымъ, былъ тѣмъ ужаснѣе, что, пользуясь покровительствомъ Аракчеева, Пестель сумѣлъ обезопасить себя отъ жалобъ въ Петербургѣ. Челобитья перехватывались агентами Трескина въ Сибири или Пестеля въ Петербургѣ, а челобитчиковъ постигало жестокое мщеніе. Такъ пострадали за попытки жаловаться на Пестеля и Трескина генералъ Куткинъ, губернаторы Хвостовъ (тобольскій) и Корниловъ (томскій), купцы Сибиряковы, Передовщиковъ, Мыльниковъ, Дуборовскій, Киселевъ, Полуяновъ, титулярный совѣтникъ Пѣтуховъ, предсѣдатель и прокураторъ уголовной палаты Гарновскій и Петровъ, монголистъ Игумновъ. «Енис

скій городничій катался по городу на чиновникахъ за то, что они осмѣлились написать просьбу объ его смѣнѣ» (Корфъ). «Лоскутовъ дошелъ до такой необузданности и смѣлости, что высѣкъ нижнеудинскаго протоіерея Орлова плетьми» (Ядринцевъ). Всѣ эти ужасы создали, наконецъ, самоотверженнаго героя-избавителя, въ лицѣ скромнаго иркутскаго мѣщанина Саламатова, который, въ 1818 году, отправился черезъ Китай, сибирскую тайгу и киргизскія степи въ Россію, добился въ Петербургѣ личной аудіенціи у Императора Александра I и объяснилъ ему тяжкое положеніе сибирскихъ дѣлъ. Подавъ доносъ, Саламатовъ, вмѣсто награды, просилъ Государя: «прикажите меня убить, чтобы избавить отъ тиранства Пестеля». Государь былъ растроганъ, потрясенъ. По его личному повелѣнію, Саламатовъ былъ отданъ на особую отвѣтственность петербургскому генералъ-губернатору Милорадовичу. Дальнѣйшая судьба Саламатова неизвѣстна. Безкорыстный гражданскій подвигъ его далъ сильный толчекъ вопросу о ревизіи Сибири и реформѣ ея управленія. Въ 1819 году Пестель отставленъ отъ должности, и началась знаменитая ревизія Сперанскаго, уничтожившая Трескина, его систему, его любимцевъ Лоскутовыхъ, хотя всѣ эти господа и очень дешево поплатились за свои неистовства. Подвигъ скромнаго Саламатова не умеръ въ памяти сибирскихъ старожиловъ.



* * *

О, Боже, Спасъ Милостивый,
Пресвятая Богородица Абалацкая *)!
До сю пору жили, бѣды не вѣдали, —
Теперя бѣда на воротяхъ виситъ.
До сю пору съ горемъ не знавалися, —
Теперя горе во штяхъ ѣдимъ.
Господь на Сибирь прогнѣвался,
Опалилъ на Сибирь сердце царское,
Послалъ на Сибирь злого начальника
Генерала Пестелева.
Онъ Божьимъ храмамъ не крестится,
Царскому имени не чествуетъ, **)
Цареву казну въ разоръ зоритъ,
Соромитъ люди почетные,
Мѣщановъ, купцовъ въ щеку бьетъ,
Въ щеку бьетъ, въ кандалы куетъ.
Сходились люди почестные,
Собирались купцы сибирскіе,
Иркутскіе, томскіе, тобольскіе,
Сибиряковы, Передовщиковы,
Пѣтуховы, Киселевы, Трапезниковы.
Они сходились, купцы, во единый кругъ,
Они думу думали за единый духъ:
— То ли намъ, купцамъ, на свѣтѣ не жить,
То ли намъ, купцамъ, до вѣку тужить
Отъ злого начальника

---

*) Абалацкая Богородица — чудотворная икона Б. Матери въ Абалакскомъ монастырѣ Тобольской губерніи.

**) Зерцалу.

Генерала Пестелева?
А вольно купцамъ па свѣтѣ жить,
А негоже купцамъ до вѣку тужить!..
Гнали купцы мальца въ гостинный дворъ,
Брали бумагу золотой обрѣзъ,
Ярлыкъ скорописчатый.
Писали слезную грамоту,
По нашему сибирскому, кляузу
На злого начальника
Генерала Пестелева.
Созывали купцы бойцовъ-гонцовъ *),
Бойцовъ-гонцовъ со всіехъ концовъ, —
Везли бы гонцы грамоту,
Ярлыкъ скорописчатый,
Отъ славнаго города Иркутскова
До славнаго города Питера,
Въ саморуки Его Царскому Величеству
Государю Императору
Александру Павловичу:
— Не вели казнить, вели челомъ бить, —
Челомъ бить, слово вымолвить!
А мы, твои купцы сибирскіе,
Иркутскіе, томскіе, тобольскіе,
Твоему Царскому Величеству слуги вѣрные,
Головы поклонныя,
Рѣчи не супротивныя...
А всѣ мы на твоей волѣ живемъ,
Твоего Царскаго Величества.
За что на насъ прогнѣвался,
Опалилъ сердце Царское,
Послалъ намъ злого начальника
Генерала Пестелева?
Онъ Божьимъ храмамъ не крестится,
Царскому имени не чествуетъ,

)ецъ-домохозяинъ, глава семьи, плательщикъ податей.

Цареву казну въ разоръ зоритъ,
Соромитъ люди почестные,
Мѣщановъ, купцовъ въ щеку бьетъ,
Въ щеку бьетъ, въ кандалы куетъ,
Въ кандалы куетъ, правежъ правитъ
По базарамъ, майданамъ, ярмонкамъ.
А горя купцамъ на вѣкъ продано,
А слезъ купцами на вѣкъ куплено!
А еще генералъ Пестелевъ,
Съ Трескинымъ-губернаторомъ,
Скурлатомъ немилостивымъ,
Да съ лютымъ исправникомъ Лоскутовымъ,
Остыдили домы купецкіе,
Осрамили дочери отецкія,
Сняли съ дѣвокъ законъ родительскій.
Которая дѣвка на возрастѣ,
Которая дѣвка на выданьи,
Велятъ дѣвку въ наборъ верстать,
Въ наборъ верстать — замужъ вѣнчать,
Не спрося отца-матери.
А кому купцамъ чада отдать?
А кому купцамъ зяти звать?
Отдать чада въ люди навозные *),
Звать зятьми воры-посельщики,
Варнаки, шпанцы приблудные.
А того дѣла отъ вѣку не слыхано,
У святыхъ отцевъ не благословлено,
Въ царскомъ законѣ не показано.
Горюшкомъ дѣвки ряжены,
Бѣдою обуваются,
Стыдобою русы косы чешутъ **).
А еще генералъ Пестелевъ,

*) Навозный—ссыльный, привезенный изъ Россіи.

**) Слухъ о насильственной выдачѣ вольныхъ сибирячекъ за ссыльныхъ былъ пущенъ самимъ Трескинымъ или его ближайшими сотрудниками съ цѣлями вымогательства.

Съ Трескинымъ губернаторомъ,
Скурлатомъ немилостивымъ,
Да съ лютымъ исправникомъ Лȍскутовымъ
Хитятъ твою царскую худȍбицу:
Которо золото, — на себя пишутъ,
Которы руды, на себя роютъ,
Который соболь, — себѣ шубу шьютъ,
Которо вино, — на свой хабаръ берутъ,
Убытчатъ кабаки государевы,
Кабалятъ люди вольные,
Ямскіе, трактовые*).
Какъ слышитъ-прослышитъ генералъ Пестелевъ,
Что сбирались купцы сибирскіе,
Иркутскіе, томскіе, тобольскіе,
Писали слезную грамоту,
Посылали гонцовъ-бойцовъ
До славнаго города Питера
Въ саморуки Его Царскому Величеству
Государю Императору
Александру Павловичу.
Возгрянетъ-возгаркнетъ генералъ Пестелевъ
Къ Трескину губернатору,
Скурлату немилостиву,
Да къ лютому исправнику Лȍскутову:
— Ой вы, мои слуги вѣрные!
До сю пору мы страха не видывали,
А нонѣ страхъ въ глаза глядитъ,
Коли царь сибирскія правды дознается,
Сказнитъ-срубитъ — будетъ, — намъ буйны головы.
А было намъ бойцовъ-гонцовъ поймать-словить,
А было купцовъ въ острогъ посадить,
Ковать въ кандалы крѣпкіе,
За рѣшетки желѣзныя.

---

*) Обвиненія эти, дѣйствительно, содержатся въ жалобахъ на ... теля, Трескина и друг.

Губернаторъ Трескинъ, скурлатъ немилостивый,
Со лютымъ исправникомъ Лоскутовымъ
Втѣпоры были догадливы:
Скочили-метались на Енисей-рѣку,
Поймали-словили гонцовъ-бойцовъ,
Схватили-связали отцовъ-купцовъ,
Ковали въ кандалы крѣпкіе,
Сажали за рѣшетки желѣзныя
Съ ворами, разбойниками,
Варнаками, шпанцами*).
Гонцы-бойцы по острогамъ сидятъ,
Отцы-купцы кандалми гремятъ,
А генералъ Пестелевъ
Съ Трескинымъ-губернаторомъ,
Скурлатомъ немилостивымъ,
Да лютымъ исправникомъ Лоскутовымъ,
Плюютъ купцамъ въ бороды,
Въ глаза надсмѣхаются:
— Вамъ-ли купцамъ на меня ятися?
Вамъ ли супротивничать?
Хочу, — купцомъ вошей кормлю,
Хочу, — купца въ пролубь сажу!
Васъ, купцовъ, Богъ забылъ,
Богъ забылъ, царь не милуетъ.
А всѣ вы, купцы, мошенники,
Сутяжники, злые ябедники.
Снаряжу я, генералъ Пестелевъ,
Караулы-команды строгіе,
Поставлю заставы крѣпкія,
Рогатки желѣзныя
Кругъ-покругъ Иркутскова, Нерчинскова,
Красноярскова, Томскова, Тобольскова,
Енисейскова, Барнаулъ-города:
А не станетъ вамъ, купцамъ, хода-выхода,

*) Острожниками.

А не будетъ вамъ писать ябеды,
А не будетъ посылать гонцы-бойцы
До славнаго города Питера
Въ саморуки Его Царскому Величеству
Государю Императору
Александру Павловичу.
Не видать свиньямъ солнца па небѣ,
Не дойдти купцамъ до правды царскія.
Втѣпоры купцы сибирскіе,
Иркутскіе, томскіе, тобольскіе,
Сибиряковы, Передовщиковы,
Киселевы, Пѣтуховы. Трапезниковы, —
Они были догадливы:
Сходились во единый кругъ,
Думали думу за единый духъ,
Новили слезную грамоту,
Выкликали охотника:
— А и кто у насъ гонецъ-боецъ —
Пройдтить караулы строгіе,
Заставы-шланбомы крѣпкіе,
Рогатки желѣзныя?
Отвезти слезную грамоту,
Челобитье сибирское,
До славнаго города Питера
Въ саморуки Его Царскому Величеству
Государю Императору
Александру Павловичу?
Всѣ бойцы-гонцы призадумались,
Призадумались, пріужахнулись.
Другъ за дружку прячутся,
Другъ за дружкой къ двери пятятся.
Одинъ боецъ слово вымолвилъ:
— Не бывать удалому охотнику
Супротивъ Михайлы Саламатова.
А родомъ Михайло — мѣщанскій сынъ,

Изъ Иркутскова города,
Слободы зарѣчныя.
— Ой ты, Михайло Саламатовъ, мѣщанскій сынъ!
А и чѣмъ намъ, купцамъ, тебя, Михайлу, жаловать,—
Прошелъ бы ты, Михайло, караулы строгіе,
Заставы-шланбомы крѣпкіе,
Рогатки желѣзныя?
Отвезъ бы, Михайло, слезную грамоту
Его Царскому Величеству
На злого начальника
Генерала Пестелева,
Съ Трескинымъ губернаторомъ,
Скурлатомъ немилостивымъ,
Да лютымъ исправникомъ Лóскутовымъ?
Мы-те, Михайлѣ Саламатову,
Сошьемъ шубу соболиную,
Шапку бобровую,
Еще дадимъ мѣру золота,
Мѣру серебра,
Мѣру скатнаго жемчуга,
Цвѣтного камéнья по душѣ бери.
Не труба золотая грянула,
Не звоны серебряные звякнули,
Не варганы взварганили,—
Возгóворилъ Михайло Саламатовъ, мѣщанскій сынъ:
— Не хочу каменья-жемчуга,
Не возьму мѣру золота,
Не приму мѣру сéребра,
Не надоть Мишутѣ шубы соболиныя,
Шапки бобровыя,—
А то мнѣ, Мишутѣ, надобе:
Помогли бы Спасъ Милостивый,
Пресвятая Богородица Абалацкая!
А мы отъ міру не отказчики,
А мы за міръ стояльщики:

Ѣхать мнѣ, Мишутѣ, гонцомъ-бойцомъ
Къ Его Царскому Величеству
Государю Императору
Александру Павловичу!
Хоть и не жить—бѣду доложить
Про злого начальника
Генерала Пестелева,
Трескина губернатора,
Скурлата немилостива,
Про лютаго исправника Лоскутова.
На́-обѣдь Саламатовъ коня кормилъ,
Въ полуночь Саламатовъ коня сѣдлалъ,
Въ глухую ночь со двора съѣхалъ.
Уздечка у Мишуты въ пятьдесятъ рублей,
Сѣдельцо подъ Мишутою въ пятьдесятъ рублей,
Коню подъ Мишутою цѣны нѣтъ:
Плачены многія тысячи.
Проѣхалъ Мишута караулы строгіе,
Заставы-шлонбомы крѣпкіе,
Рогатки желѣзныя:
Команды Мишуту не учуяли,
Заставы Мишуту продрёмили,
Рогатные казаки глазами прохлопали.
Скочилъ Мишута на Свято-море,
На славный Байкалъ-озеро,
Со Свята̀-моря на Шилку-рѣку,
Съ Шилки-рѣки на Амуръ-рѣку,
Съ Амуръ-рѣки въ Китай-пески,
Ѣхалъ Мишута три года,
Три года, три мѣсяца,
Три мѣсяца, да три дня,
Три дня да три часа,
Три часа съ тремя минутами.
Онъ ѣхалъ, съ сѣдельца не слазивалъ,
На мать сыру-землю не прилягивалъ.

Ѣхалъ Мишута песками китайскими,
Ѣхалъ Мишута лѣсами сибирскими.
Ему частыя звѣздочки посвѣчивали,
Его дикіе звѣри не трогали,
Киргизъ-народъ не обидѣли.
Пріѣхалъ Мишута на Яикъ-рѣку,
Съ Яикъ-рѣки на Волгу-рѣку,
Съ Волги-рѣки на Москву-рѣку (sic!)
Ко славному городу Питеру, -
Билъ челомъ Его Царскому Величеству
Государю Императору
Александру Павловичу
На злого начальника
Генерала Пестелева
Съ Трескинымъ губернаторомъ,
Скурлатомъ немилостивымъ,
Да съ лютымъ исправникомъ Лоскутовымъ.
Какъ принялъ Его Царское Величество
Государь Императоръ Александръ Павловичъ
Бумагу золотой обрѣзъ,
Ярлыкъ скорописчатый,
Челобитье Сибирское —
Опечалился Государь, затуманился,
Повѣсилъ на правое плечо головушку,
Уронилъ слезу жемчужную
На шелковую бороду.
— Ахти мнѣ, купцы сибирскіе,
Иркутскіе, томскіе, тобольскіе!
А вы мнѣ, Царю, до сердца дошли!
Досюль я правды сибирскія не видывалъ,
А нонѣ правда—жива—въ глазахъ стоитъ,
Въ глазахъ стоитъ, слезу точитъ,
Кулакомъ утирается.
Исполать тебѣ, Михайло Саламатовъ сынъ,
Что довезъ ты слезную грамоту,

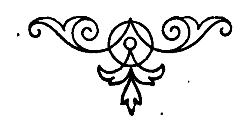
Таё-ли правду сибирскую.
Еще чѣмъ тебя, Михайлу, жаловать?
Дамъ тебѣ, Михайлѣ, шубу соболиную,
Шапку бобровую,
Мѣру красна золота,
Мѣру чиста серебра,
Мѣру скатнаго жемчуга,
Цвѣтного каменья по душѣ бери.
Еще тебя, Михайлу, пожалую:
Садись, Михайло, со мною за одинъ столъ,
Ѣшь со мною съ одного блюда,
Пей вино изъ одно стаканчика!—
Чтобы знали всѣ люди русскіе,
Каково Царь правду чествуетъ!
Отвѣчалъ Михайло Саламатовъ-сынъ:
— Я на жалованьи благодарствую,
На почестьи поклонъ кладу,
Цѣлую руку царскую.
Не надоть мнѣ шубы соболиныя,
Шапки бобровыя,
Краснаго золота,
Чистаго серебра,
Цвѣтного каменья, скатнаго жемчуга.
Я на жалованьи благодарствую,
На почестьи поклонъ кладу,
Цѣлую руку царскую.
Не съумѣю, мужикъ, за царскимъ столомъ сидѣть,
Оробѣю, мужикъ, ѣсть съ блюда царскаго,
Пить вино изъ стакана государева.
Я на жалованьи благодарствую,
На почестьи поклонъ кладу,
Цѣлую руку царскую.
Ты пожалуй меня, православный царь,
Твое Царское Величество
Государь Александръ Павлови чъ!

Суди-казни злого начальника,
Генерала Пестелева,
Съ Трескинымъ губернаторомъ,
Скурлатомъ немилостивымъ,
Да лютымъ исправникомъ Лоскутовымъ.
На томъ тебѣ челомъ бьемъ,
На томъ благодарствуемъ,
Иныя награды не ищемо:
Награда будетъ отъ Бога на небеси,
Отъ Пресвятой Богородицы Абалацкія.
Не громы прорыкали,
Не урманы *) всколыхнулись,
Не окіянъ-море взбушевалося,—
Молвилъ слово православный Царь,
Его Царское Величество
Государь Императоръ Александръ Павловичъ:
— А гдѣ мои слуги вѣрные,
Господа князи, бояре, фермаршалы?
Вы сѣдлайте борзыхъ коней,
Выѣзжайте во Иркутскъ-городъ,
Судите злого начальника
Генерала Пестелева,
Трескина губернатора,
Скурлата немилостива,
Да лютого исправника Лоскутова.
А будетъ генералу Пестелеву—
Срубить буйну голову.
А будетъ Трескину, губернатору—
Ѣхать въ остроги Колымскіе.
А будетъ исправнику Лоскутову—
Копать руды нерчинскія.
Чтобы Цареву правду помнили,
Цареву имени чествовали,

*) Тайга, дремучій лѣсъ.

Царевы слова слушали,
Царевой казны не зорили,
Царевъ народъ не обидѣли.
На томъ мы, купцы сибирскіе,
Иркутскіе, томскіе, тобольскіе,
Молебствуемъ Спасу Милосердному,
Пресвятой Абалацкой Богородицѣ.
На томъ мы, купцы сибирскіе,
Иркутскіе, томскіе, тобольскіе,
Честь-хвалу воздаемъ, славу поемъ,
Славу поемъ, благодарствуемъ
Его Царскому Величеству
Государю Императору
Александру Павловичу.
На томъ мы, купцы сибирскіе,
Иркутскіе, томскіе, тобольскіе,
Поминаемъ память вѣчную
Мѣщанину Михайлѣ Саламатову—
Отъ міра не отказчику,
За міръ честному стояльщику,
Что отыскалъ, Михайло, правду царскую,
Оправдалъ правду сибирскую
Супротивъ злого начальника
Генерала Пестелева!

1902.
Минусинскъ.



Не всякаго жалѣй.

Изъ фламандскихъ легендъ.

Не всякаго жалѣй.

Изъ фламандскихъ легендъ.

ФЛАМАНДЦЫ вѣрятъ, что дьяволъ женатъ на царевнѣ-жабѣ. Однако, она ему вторая жена. Первою была дѣвушка изъ города Камбрэ, сирота благороднаго происхожденія, по имени Жанна.

Она была прекрасна собою, невинна, благочестива и добраго, жалостливаго сердца. Раздавала щедрую милостыню бѣднымъ, кормила голодныхъ, лечила недужныхъ, принимала странныхъ и убогихъ. Если бы имущества Жанны не охранялъ строгій опекунъ, то она давно бы обнищала, потому что не было для нея радости большей, чѣмъ помочь ближнему въ нуждѣ. Любой встрѣчный горюнъ могъ выпросить у Жанны даже послѣднюю рубашку съ плечъ. Слухъ объ ея добродѣтели гремѣлъ по всей Фландріи и, наконецъ, достигъ ушей даже чорта.

Конечно, чортъ не захотѣлъ потерпѣть, чтобы такая рѣдкостная дѣва пребывала въ чистотѣ и духовной благодати. Тѣмъ болѣе, что благочестивая Жанна обладала даромъ краснорѣчія, и уже не одинъ закоснѣлый грѣшникъ, послушавъ ея мудрыхъ и кроткихъ бесѣдъ, измѣнилъ свою жизнь и возвратился съ пути дьявольскаго на путь Божій. Нечистый окружилъ Жанну сѣтью искушеній и, какъ во-

дится, сперва устремился поколебать ея цѣломудріе. Однако, напрасно являлся онъ ей рыцаремъ съ перьями на шлемѣ, купцомъ съ полными золота мѣшками, королемъ въ сіяющей коронѣ, звонкоголосымъ менестрелемъ съ пѣвучею лютнею въ рукахъ. Доблестная Жанна устояла противъ любовныхъ соблазновъ, какъ добрая крѣпость, а чортъ самъ запутался въ своихъ сѣтяхъ: влюбился въ Жанну по уши и задумалъ на ней жениться.

Зная, что ни красотою, ни богатствомъ, ни высокимъ саномъ, ни прельщеніями искусства Жанны ему не покорить, чортъ пустился на новую хитрость—закинулъ удочку, чтобы поймать красавицу на жалость. Онъ явился Жаннѣ въ настоящемъ своемъ видѣ—черный, рогатый, козлоногій, съ длиннымъ хвостомъ, общипанный, смрадный. И сказалъ:

— Смотри, какъ я безобразенъ. Нѣтъ на свѣтѣ существа страшнѣе и несчастнѣе меня. А вѣдь когда-то я былъ прекраснѣе всѣхъ ангеловъ, и, если Богъ меня проститъ, опять такимъ же стану.

И онъ ломалъ себѣ руки, заливался слезами и вопилъ:

— Всѣ ненавидятъ меня, всѣ клянутъ. Подумай: легко ли мнѣ жить такимъ отвратительнымъ уродомъ? Ахъ, если бы я могъ раскаяться, перестать дѣлать зло, снова служить Богу и быть добрымъ ангеломъ!

Жанна, въ безмѣрной добротѣ своей, готовая утѣшать даже чорта, спросила:

— Если зло стыдно и противно тебѣ, зачѣмъ же ты его творишь?

Чортъ отвѣчалъ съ отчаяніемъ:

— Ахъ, я самъ себя не понимаю. Повѣрь мнѣ: я тысячи разъ собирался дѣлать добро, но изъ моихъ намѣреній выходили только пакости. Я думаю, что это отъ моего одиночества. Пойми: я всегда одинъ, никто никогда меня не любилъ, не жалѣлъ, мнѣ не съ кѣмъ слова перемолвить. Я одичалъ, ошалѣлъ отъ холостой жизни. Это она родитъ мнѣ дурныя мысли и толкаетъ меня на развратныя дѣла.

Я увѣренъ, что, будь вокругъ меня семья, я сталъ бы совсѣмъ инымъ. Мнѣ нужна жена. Мнѣ не достаетъ любящей женской души, которая бы меня направила и поддержала. Ахъ, Жанна! Я совсѣмъ не такой негодяй, какъ обо мнѣ говорятъ. Я только не имѣю никакого характера и дурно воспитанъ. Но, если взять меня въ хорошія женскія руки,— клянусь: изъ меня выйдетъ мужъ—всѣмъ на зависть и удивленіе.

Такъ говорили они много разъ и, въ концѣ концовъ, договорились: чортъ сдѣлалъ Жаннѣ предложеніе, Жанна согласилась выйти за чорта замужъ. Ужъ очень льстила ей надежда прекратить въ мірѣ всякое зло, обративъ на путь истинный самого черта. Ужъ очень жаль было ей, что чортъ такой скверный уродъ, тогда какъ стоитъ ей его полюбить,—и онъ станетъ первымъ красавцемъ въ мірѣ. Потому что она вѣрила въ старую пословицу, которая гласитъ: «кабы дьяволу добрую хозяйку, такъ онъ бы бѣленькій былъ».

Чортъ, съ своей стороны, падалъ передъ Жанною на колѣни, плакалъ и клялся, что для него настаетъ новая жизнь, и во вѣкъ ему не заплатить Жаннѣ за ея доброту и благодѣянія.

Сыграли свадьбу. Когда гости разошлись, и молодые остались вдвоемъ, Жанна вынула изъ кармана книгу благочестивыхъ проповѣдей и предложила супругу почитать ее вслухъ. Но чортъ страшно наморщилъ лобъ, выпучилъ глаза и сказалъ:

— Милый другъ, неужели мы женились затѣмъ, чтобы изучать богословіе даже въ свадебную ночь? О спасеніи души поговоримъ завтра, а теперь—время любви и наслажденій.

Жанна нашла, что мужъ не совсѣмъ неправъ, и отложила проповѣди въ сторону. А чортъ ночью, когда она спала, всталъ, книгу укралъ и забросилъ въ бучило. Такъ начался, такъ и потекъ ихъ медовый мѣсяцъ.

Много разъ принималась Жанна говорить мужу о Богѣ, о добрѣ, но чортъ—чѣмъ бы ее слушать—бросался къ ней съ объятіями, поцѣлуями, носилъ ее на рукахъ и визжалъ приэтомъ на всю преисподнюю.

— О, какъ ты хороша, когда говоришь! О, какъ я тебя люблю! какое счастье! какое упоенье!

Такъ что Жанна разсудила сама съ собою:

— Должно быть, и въ самомъ дѣлѣ, еще не время для проповѣдей. Бѣдняжка слишкомъ влюбленъ и не въ силахъ ни о чемъ, кромѣ меня, думать. Онъ такъ много и долго страдалъ,—неудивительно, что его ослѣпило счастье. Время образумитъ его, наступятъ болѣе серьезные дни,—тогда и поговоримъ серьезно.

Медовый мѣсяцъ прошелъ, и чортъ началъ часто отлучаться изъ дома. Когда Жанна выговаривала ему, чортъ возражалъ:

— Дорогая! неужели ты думаешь, что мнѣ радостно покидать тебя, мою любимую, одну и — вмѣсто того, чтобы глядѣть въ твои чудные глаза и слушать твои кроткія рѣчи—летѣть, въ вихрѣ, за тридевять земель, въ тридесятое царство? Но у каждаго есть свои общественныя обязанности. Напримѣръ, — сегодня долженъ совершиться рѣшительный бой между Тимуромъ Хромцомъ и турецкимъ султаномъ Баязетомъ. Суди сама: могу ли я не быть на полѣ битвы?

Жанна возражала:

— Мнѣ кажется, что съ тѣхъ поръ, какъ ты рѣшился исправиться и вести добрую жизнь, тебѣ совсѣмъ не слѣдуетъ вмѣшиваться въ подобныя исторіи.

Но у чорта на каждое слово жены находилось десять.

— И радъ бы не вмѣшиваться, — говорилъ онъ,— да нельзя: не смѣю изъ человѣколюбія. Ты даже вообразить не въ состояніи, что это за мерзавцы — Тимуръ и Баязетъ. Оставь я ихъ драться безъ присмотра, ихъ

арміи перерѣжутъ одна другую безъ остатка. Надо спѣшить, покуда кровь еще не пролита.

И улеталъ. А возвратясь, хвасталъ:

— Вотъ видишь: Тимуръ побѣдилъ Баязета. Не будь меня, онъ перерѣзалъ бы плѣнныхъ, но я смягчилъ его сердце, и туркамъ только выкололи по одному глазу, да отрубили по лѣвой ногѣ и по правой рукѣ,—а затѣмъ въ остальномъ оставили ихъ наслаждаться благомъ жизни.

— А самъ Баязетъ?

— Тимуръ хотѣлъ отрубить ему голову, но я навелъ Хромца на болѣе кроткую мысль: посадить Баязета въ желѣзную клѣтку и возить — показывать по ярмаркамъ. Чудакъ не оцѣнилъ благодѣянія и размозжилъ себѣ голову о рѣшетку, но это ужъ его личный капризъ, — всякій воленъ распорядиться своею головою, какъ желаетъ.

Итакъ—сегодня чортъ улеталъ слѣдить, какъ воюютъ Тимуръ съ Баязетомъ. Завтра торопился провѣрить холеру въ Индіи.

— Безъ моего глаза эта вѣдьма способна уморить все населеніе. Колдунья не соображаетъ, что бѣдной странѣ предстоитъ выдержать еще чуму, черную оспу, и два голодныхъ тифа!

Послѣзавтра мчался къ Везувію—унять расшалившихся саламандръ, пламенныхъ горныхъ духовъ.

— Понимаешь? Озорники направили потокъ лавы на предмѣстье, полное кабаковъ —въ самый ужинъ, когда въ кабакахъ тысячи пьяныхъ матросовъ. Хорошо, что я подоспѣлъ во-время — отвелъ лаву на монастырекъ, гдѣ спасалось всего-то навсего три старыхъ, безродныхъ, никому ненужныхъ монаха.

Возвращался чортъ домой, усталый, томный, разстроенный. Вздыхалъ:

— Если бы ты знала какихъ ужасовъ я былъ свидѣтель!

И снопомъ валился на кровать.

Жанна понимала, что бѣдному труженику не до по-

ученій. Если же она, всетаки, заикалась о нихъ, чортъ кротко улыбался и говорилъ:

— Голубушка! у меня мигрень: ничего не понимаю, что лепечутъ твои милыя губки. Оставь меня уснуть. Завтра я весь къ твоимъ услугамъ.

Однажды Жаннѣ выпалъ удачный день: чортъ потерялъ подкову съ копыта и, покуда кузнецъ ковалъ ему новую, долженъ былъ оставаться дома.

— Ну, обрадовалась Жанна,—теперь ты принадлежишь мнѣ. Садись къ столу,—я разскажу тебѣ, въ чемъ истинное благо для души, во что надо вѣрить, какъ надо любить ближняго и Бога.

Чортъ сдѣлалъ глубокомысленное лицо и сказалъ:

— Вопросы эти не шутка для меня. Я отношусь къ нимъ страстно и серьезно. У тебя свои убѣжденія, у меня свои,—врядъ ли намъ удастся столковаться безъ спора. Ты знаешь мой несчастный характеръ: въ спорѣ я горячъ и грубъ,—разстроюсь самъ и тебя разстрою. А тебѣ вредно волноваться, такъ какъ ты носишь подъ сердцемъ дитя, и самое важное теперь, чтобы оно было здорово и прекрасно. Тебѣ извѣстно, какъ много надеждъ я возлагаю на то, что у насъ будетъ семья. Ахъ, что въ природѣ лучше дѣтей и выше семейнаго начала?

Въ должный срокъ Жанна сдѣлалась матерью двухъ близнецовъ,—увы! они ничуть не походили на ангеловъ, черные и рогатые, какъ дьяволъ, ихъ родитель. Горько плакала Жанна, глядя на нихъ, но чортъ былъ очень доволенъ.

— Вылитые въ меня! Какая стойкая благородная порода!

Попробовала было Жанна ихъ перекрестить, но чуть занесла благословляющую руку,—чертенята зашипѣли, какъ ужи, высунули языки, задымились паромъ и едва-едва не расточились. А чортъ строго замѣтилъ женѣ:

— Милый другъ, нельзя употреблять такихъ сильныхъ средствъ. Надо считаться съ природою дѣтей. Я не спорю,

что намѣренія твои хороши,—однако, посмотри, ты мало-мало не уморила ребенка.

Если Жанна ловила чорта на какой-нибудь подлости и начинала упрекать, онъ пожималъ плечами и снисходительно говорилъ:

— Да, не спорю, не спорю! Ты права. Это давно извѣстно: я всегда виноватъ, ты всегда права,—и прекрасно! только успокойся. Не забывай, что ты кормишь дѣтей, и здоровье ихъ дороже мнѣ всѣхъ отвлеченныхъ мудрствованій на свѣтѣ.

Такъ прошло семьдесятъ семь лѣтъ. Жанна одичала въ аду, — чортъ все былъ чортъ, — преисподняя кишѣла чертенятами. Ни одинъ ни лицомъ, ни нравомъ не походилъ на мать, всѣ были безобразны, какъ ночь, и съ характеромъ папаши. Едва начиная ходить, они уже увивались въ слѣдъ отцу и помогали ему строить пакости людямъ. Зло на землѣ возросло и въ силѣ, и въ числѣ, и поняла, наконецъ, Жанна, что чортъ надулъ ее во всемъ и злобно надъ нею насмѣялся.

И приступила она къ нему напрямикъ и неотступно заявила:

— Или исполни, что обѣщалъ: будь честенъ и добръ, стань ангеломъ свѣта, или не хочу больше съ тобою жить—отпусти меня на землю, на волю.

Чортъ, которому жена уже порядкомъ надоѣла за семьдесятъ семь лѣтъ, да къ тому же стала и стара, и дурна,—состроилъ грустное лицо, надулъ губы, закатилъ глаза и отвѣтилъ важно и сухо:

— Семьдесятъ семь лѣтъ я окружалъ тебя любовью, удобствомъ, богатствомъ. Семьдесятъ семь лѣтъ я работалъ какъ волъ, чтобы заслужить твою любовь, чтобы создать семью, въ которой ты была бы матерью и хозяйкою. Семьдесятъ семь лѣтъ я терпѣливо сносилъ твою оскорбительную привязанность къ моимъ злѣйшимъ врагамъ, ни разу не показавъ тебѣ, какъ глубоко тяжела

мнѣ нравственная рознь между нами. Я все надѣялся, что ты образумишься, поймешь, къ кому обязанъ привязать тебя долгъ, кто твой искренній другъ и благодѣтель. Но, видно, — какъ волка ни корми, онъ все глядитъ въ лѣсъ. Ты, по-прежнему, съ врагами моими и противъ меня. Ты презираешь меня, ты ненавистница своимъ дѣтямъ. Стоило бы — и я въ силахъ — уничтожить тебя. Но я великодушенъ. Даю тебѣ свободу, которой ты ждешь: ступай! Тебѣ не въ чемъ упрекнуть меня, а я... Э! Да что обо мнѣ толковать? развѣ мнѣ первому изъ мужей оставаться съ разбитымъ сердцемъ?

Такъ Жанна покинула адъ и возвратилась къ людямъ. Родные ея всѣ умерли, и, — такъ какъ она была стара, безобразна и очень закоптѣла въ адскомъ огнѣ, — то ни одно селеніе не хотѣло принять ее къ себѣ, считая за вѣдьму. Гонимая отъ города съ городу, отъ деревни къ деревнѣ, Жанна бродила по Фландріи босыми ногами, въ рубищѣ, ѣла съ голода желуди въ лѣсу, щавель въ полѣ, падаль во рву за живодерней. Мальчишки свистали ей вслѣдъ, травили собаками, бросали камни. Въ одно утро бѣдняжка, въ изнеможеніи, упала у кельи святого Рене, люттихскаго анахорета. Она исповѣдала отшельнику свою несчастную жизнь и, на рукахъ его, отдала Богу душу. Святой же Рене, похоронивъ тѣло Жанны на перекресткѣ, между двухъ дубовъ, воздвигъ на могилѣ камень, съ описаніемъ всѣхъ бѣдъ, въ какія повергли Жанну неразумная доброта и дьявольское коварство. Камень этотъ виденъ до сихъ поръ близъ города Камбре; народъ прозвалъ его «Не всякаго жалѣй», и на немъ отдыхаютъ пилигримы, идя на поклоненіе Пресвятой Богородицѣ Камбрэйской.

А чортъ женился на царевнѣ-жабѣ и взялъ въ приданое милліонъ десятинъ зыбучихъ трясинъ, да два милліона — лягушечьяго болота.

1902.
Минусинскъ.



СТАРОЕ ВЪ НОВОМЪ.

Миѳы, обряды, легенды.

ВЕРБЫ НА ЗАПАДѢ.

Вербы на Западѣ.

Народъ французскій освятилъ Вербное воскресенье нѣжнымъ и красивымъ именемъ «Цвѣточной Пасхи», — Paques-fleuries. Это — праздникъ первой весны. Церкви и дома благоухаютъ цвѣтами; всюду — букеты изъ маргаритокъ, скромнаго лугового цвѣтка, одноименнаго, по-французски, приближающемуся празднику-праздниковъ (Paquerette). Въ селахъ, еще не вовсе растлѣнныхъ «концомъ вѣка», крестьяне въ праздничныхъ одеждахъ посѣщаютъ кладбища, гдѣ спятъ ихъ отцы святятъ надъ ихъ могилами вербы и, возвратясь съ погоста, набожно укрѣпляютъ священныя вѣтви надъ кроватью, между образками Спасителя и Божьей Матери. Въ Парижѣ, наканунѣ Вербнаго воскресенія, пристань св. Николая въ Луврѣ еще недавно бывала завалена горами зелени, сплавляемой въ столицу на судахъ по Сенѣ. Несмотря на обильный привозъ, зелень раскупали на расхватъ, въ нѣсколько часовъ. Весь Парижъ зеленѣлъ: паперти, перекрестки улицъ, фонтаны, окна магазиновъ; у мужчинъ — вѣтки зелени въ петлицахъ, у дамъ — букеты у пояса; кучера украшали зелеными султанами головы своихъ лошадей, водовозы оплетали травяными гирляндами свои бочки. Amédee de Ponthieu, авторъ интересной книги «Les Fêtes

légendaires», характеризуетъ Вербное воскресенье въ Парижѣ шестьдесятыхъ годовъ словами: «Атеисты, деисты, добрые католики и даже животныя всѣ справляютъ на свой ладъ праздникъ въ честь грядущаго во славѣ Бога — въ честь воскресшей весны».

Празднованіе Вербнаго воскресенія началось на Западѣ не ранѣе VI вѣка по Р. Х., т. е. съ распространеніемъ христіанства на галльскій, германскій и славянскій сѣверъ, въ недавнемъ язычествѣ своемъ привычный къ празднествамъ весны, возрождающей столь дорогую сердцу дикаря растительность лѣса и степи. Въ странахъ католическихъ Вербное воскресеніе носитъ названіе «праздника пальмъ»—le dimanche des palmes, въ воспоминаніе пальмъ, которыя, девятнадцать вѣковъ тому назадъ, жители Іерусалима повергали подъ копыта осляти, привезшаго къ нимъ Господа Христа. Въ сѣверныхъ округахъ Франціи пальмы замѣняются, какъ и у насъ, вербою или, еще чаще, буксомъ—деревцомъ изъ породы молочайныхъ, вѣчно зеленымъ, и зиму, и лѣто. Buxus sempervirens, опредѣлилъ его Линней. Почему онъ всегда зеленъ, — о томъ есть легенда.

«Когда Іисусъ, на крестѣ, испустилъ послѣдній вздохъ, вся природа омрачилась, весь міръ содрогнулся. Кровавыя облака затмили солнце. Заблистали пламенные зигзаги синей молніи. Пропасти разверзлись. Люди, животныя, птицы, въ страхѣ прятались по дебрямъ и трущобамъ. Ни одна стрекоза не пѣла, ни одинъ кузнечикъ не трещалъ, ни одна муха не жужжала. Мертвое молчаніе давило всю природу. Только деревья, кусты и цвѣты шептались между собою.

«И сказала пинія пустыни Дамасской:

— Онъ умеръ. Отнынѣ, въ знакъ траура, я на-вѣки одѣнусь въ темную хвою и буду расти, какъ отшельница, въ степяхъ, далекихъ отъ жилищъ человѣческихъ.

«Сказала вавилонская ива:

— Онъ умеръ! Вѣтви мои! склонитесь, въ знакъ

печали, къ водамъ Евфрата. Каждою зорю я буду плакать о Немъ слезною росою.

«Сказала виноградпая лоза улыбающагося Сорренто:

— Онъ умеръ. Въ знакъ горя, я стану теперь приносить грозды, черные, какъ уголь, а вино, выжатое изъ моихъ плодовъ, получитъ названіе слезъ Христовыхъ *).

«Кипарисъ съ горы Кармила сказалъ:

Онъ умеръ. Въ свидѣтельство скорби, я сдѣлаюсь деревомъ кладбищъ, хранителемъ всѣхъ смертныхъ горестей.

«Тисъ, и прежде темный, почерпѣлъ еще болѣе и сказалъ:

— Онъ умеръ. Въ знакъ тоски по Немъ, я тоже посвящаю себя гробамъ и могиламъ. Горе пчелѣ, которая коснется моихъ отравленныхъ скорбью цвѣтовъ: она умретъ. Горе птицѣ, которая сядетъ на мои вѣтви: она умретъ. Горе человѣку, который дышетъ моими испареніями: онъ умретъ **).

«Ирисъ сказалъ:

— Онъ умеръ. Съ этого дня я покрою свою золотую чашечку фіолетовымъ крепомъ.

«Повилика сказала:

— Онъ умеръ. Въ память Его я стану каждый вечеръ закрывать свой душистый вѣнчикъ и открывать его только по утру, весь полный ночными слезами.

«Такъ плакались всѣ растенія. Дубы роняли желуди, фруктовыя деревья — плоды, платанъ растерзалъ на себѣ свою красивую кору. Скорбѣли всѣ—отъ мощнаго ливанскаго кедра до подснѣжника въ рощѣ, до анютиныхъ глазокъ въ полѣ. Только тополь, суровый и надменный, не принялъ участія въ общемъ горѣ. Онъ говорилъ:

— Что мнѣ до Него? Онъ умеръ за грѣшныхъ,—я безгрѣшенъ. Смерть Его меня не касается!

---

*) Лакрима Кристи.

**) Въ Нормандіи разсказываютъ, будто монахи одного аббатства вымерли оттого, что спали въ комнатѣ съ полами изъ тиса.

«Слова тополя услыхалъ ангелъ, улетавшій на небо, съ золотою чашею, полною божественной крови, собранной на Голгоѳѣ. Въ наказаніе безжалостному дереву, онъ брызнулъ кровью на корни его и повелѣлъ:

— Ты не дѣлишь горя всей природы—не дѣлить же тебѣ и ея радостей! Въ теплые лѣтніе дни, когда всѣ остальныя деревья будутъ мирно дремать подъ солнечными лучами, ты одинъ будешь зябнуть и дрожать отъ корня до макушки; люди презрятъ тебя и станутъ съ этихъ поръ звать не тополемъ, но осиною *).

«Буксъ росъ въ кавказскомъ ущельѣ. Тяжкій вздохъ умирающаго Бога долетѣлъ къ нему съ Голгоѳы и оледенилъ ужасомъ его сердцевину. Листья его потемнѣли, вѣтки стали корявыми и переплелись между собою, словно ища помощи и защиты другъ у друга. Въ свою очередь, онъ произнесъ обѣтъ:

— Я буду вѣчно оплакивать Іисуса. Въ знакъ скорби, я хочу произростать только въ безплодныхъ каменистыхъ горахъ; осѣнять могилы моими вѣчными зелеными вѣтвями, какъ символъ вѣчной скорби; служить кропильницею для святой воды, когда ею орошаютъ гробы усопшихъ».

По другой легендѣ, Исаакъ, Вѣчный жидъ, проходя горами Кавказа, коснулся вѣчнозеленаго букса. Отъ прикосновенія проклятой руки листья деревца, въ ужасѣ, свернулись и скоробились. Жидъ сдѣлалъ себѣ изъ букса—«желѣзнаго дерева»—неизносимый посохъ, опираясь на который бродитъ онъ по свѣту, повинуясь таинственному велѣнію:

— Иди! иди! иди!

— Въ нѣкоторыхъ округахъ народное суевѣріе при-

---

*) Наши русскія легенды объясняютъ вѣчную дрожь осины тѣмъ, что на ней повѣсился Іуда предатель. Народъ никакъ не хотѣлъ, чтобы у Іуды хватило совѣсти на самоубійство изъ раскаянія, и создалъ легенду, не безъ остроумія объясняющую смерть предателя корыстными соображеніями, вполнѣ въ духѣ Іуды: „Повѣшусь, думаетъ себѣ, пойду въ адъ; а Христосъ, какъ будетъ вызволять людскія души изъ пекла, и мою вызволитъ!“ Ни одно дерево не хотѣло принять на себя предателя, кромѣ осины: за то она и наказана. Другая легенда вѣшаетъ Іуду на бузинѣ,—за то ча не годится для построекъ, и дьяволъ ее любитъ.

писывало листьямъ букса большую мистическую силу; въ другихъ, напримѣръ, въ Франшконтэ, ихъ считаютъ, наоборотъ, вредными и проклятыми. Въ горахъ Юры есть преданіе, видоизмѣняющее пресловутую легенду о «Дикой охотѣ» тѣмъ, что мѣсто дикаго охотника занимаетъ въ немъ царь Иродъ. Одному паромщику на Кондѣ случилось якобы однажды перевести этого горемычнаго государя, вмѣстѣ съ несмѣтною его собачьей сворою, черезъ рѣку. Иродъ расплатился съ паромщикомъ золотомъ; но когда парень вздумалъ пересчитать монеты, не нашелъ въ карманѣ ничего, кромѣ листьевъ букса.

Въ Провансѣ вербами служатъ миртъ, лавръ, маслина, на Юрѣ—букъ; въ Испаніи и Италіи—пальмы.

На славянскомъ Западѣ—у чеховъ, у галичанъ—обычай освященія вербъ тотъ же, что и у насъ. Священная верба считается цѣлебнымъ средствомъ отъ разныхъ болѣзней; въ ея отварѣ купаютъ дѣтей; противъ лихорадки рекомендуется съѣсть девять распуколокъ съ свяченой вербы; отъ переполоха—надо вбить въ стѣну вербовый колышекъ, и испугъ не будетъ имѣть вредныхъ послѣдствій; вербою отбиваются отъ водяного, отъ вампировъ; верба спасаетъ поля отъ града, мышей и кротовъ, а дома – отъ пожара; если бросить вербу противъ вѣтра, она укрощаетъ бурю; чтобы домашній скотъ былъ здоровъ, его выгоняютъ на первый подножный кормъ освященною вербою; чехи кормятъ ею коровъ, чтобы у нихъ не портилось молоко, клады, по богемскому повѣрью, тоже открываются лишь при помощи свяченой вербы. Въ Малороссіи вѣрятъ, что кто пойдетъ къ заутренѣ подъ Свѣтлый день съ свяченою вербою и станетъ смотрѣть сквозь вѣтки вербы на собравшійся народъ, тому обнаружатся колдуны и вѣдьмы околотка, потому что всѣ покажутся стоящими, какъ слѣдуетъ, а они—головами въ низъ, а ногами вверхъ. Чтобы увидать вѣдьму, чехи совѣтуютъ въ Великую субботу зажечь въ печи освященную вербу: сейчасъ же явится баба и станетъ просить огонька взаймы. То и есть вѣдьма.

Любопытно, что, подобно буксу у народовъ романскихъ, верба у западныхъ славянъ дерево — то благословенное, то проклятое. Галицкое повѣрье объясняетъ, что

Коли жидове Христа мучили,
По распятію распинали,
Клюковъ за ребра разбивали,
Терновый вѣнецъ на голову клали.
Елевы шпильки за ногти били,
Всякое деревцо не легло въ тѣльце,
Червива ива согрѣшила —
Іисуса Христа кровь пустила.

То верба гонитъ демонскую силу, то сама служитъ ей пристанищемъ, настолько постояннымъ, что у всѣхъ славянскихъ народовъ существуетъ одинаковая пословица — «влюбился, какъ чортъ въ сухую вербу». Таинственное значеніе вербы, впрочемъ, гораздо старше мистической роли ея въ христіанствѣ. Литовцы воздавали вербѣ почести, считая ее женщиною, по имени Блиндою, обращенною въ дерево по зависти матери-земли къ ея плодородію. Вѣнчаніе «вкругъ ракитова куста» — исконный славянскій обрядъ. Даже въ христіанскія времена онъ имѣлъ законную силу, а нашъ Стенька Разинъ, захвативъ власть на Дону, ввелъ его, какъ господствующую брачную церемонію, приказавъ казакамъ вѣнчаться не въ храмахъ, но около вербъ.

Знаменитый своею красотою путь отъ Ниццы до Генуи, по Ривьерѣ, — сплошной садъ почти тропической растительности. На пути этомъ, близъ извѣстнаго курорта Санъ-Ремо, есть пустынь св. Ромула Здѣсь и на высотахъ Бордигеры искони существуетъ промыселъ пальмъ, доставляемыхъ бордигерцами въ Римъ къ Вербному воскресенью, на что они имѣютъ даже особую привилегію — старинную, отъ папы Сикста V. По легендѣ, привилегія эта заслужена находчивымъ совѣтомъ одного бордигерца, когда ставили извѣстный обелискъ на площади Св. Петра: Чтобы не развлекать рабочихъ, поднимавшихъ страшную тяжесть драгоцѣннаго античнаго памятника, зрителямъ сооруженія было запрещено папскимъ указомъ, подъ страхомъ смертной казни, произносить хоть одно слово, пока

обелискъ не очутится на пьедесталѣ. Толпа хранила молчаніе, но работа не спорилась. Наконецъ, гранитная масса двинулась,—канаты напряглись, готовые перегорѣть и лопнуть. Это замѣтилъ одинъ рыбакъ изъ Бордигеры. Забывъ о папскомъ приказѣ, онъ закричалъ на всю площадь:

— Мочите веревки! мочите веревки!

И тѣмъ предотвратилъ уже почти неизбѣжную катастрофу, грозившую уничтожить обелискъ и передавить его громадою множество народа. Въ воздаяніе за заслугу бордигерца и дарована благодарнымъ папою его родному городу пальмовыя монополіи Вербнаго воскресенья.

Почтеніе, оказываемое во всемъ христіанскомъ мірѣ пальмамъ—эмблемѣ мученичества, торжества добра надъ зломъ,—имѣетъ также свою легенду.

«Во время бѣгства въ Египетъ, Св. Семейство вошло въ нѣкоторый большой городъ. Тотчасъ же во всѣхъ городскихъ храмахъ всѣ идолы попадали съ алтарей и разбились въ куски, а жители стали метаться по улицамъ съ воплями ужаса, отчаянія и мести. Святымъ путникамъ пришлось бѣжать изъ города въ пустыню, не захвативъ, второпяхъ, никакой снѣди.

«Вскорѣ Дѣва Марія почувствовала голодъ и жажду. Остановились на роздыхъ въ тѣни смоковницы. Вблизи возвышалась финиковая пальма, отягченная плодами. Пресвятая Дѣва сказала:

— Какъ охотно вкусила бы я этихъ плодовъ, если бы можно было достать ихъ!

«Св. Іосифъ трясетъ дерево, но плоды не падаютъ. Пробуетъ сшибить ихъ палкою, но не въ силахъ добросить ее до кистей своею старческою рукою. Онъ печально покачалъ головою и сказалъ:

— Финики ростутъ слишкомъ высоко. Пойдемъ дальше. Авось, найдемъ другую пальму, болѣе доступную.

«Но Марія была слишкомъ утомлена и голодна. Она заплакала. Тогда Младенецъ Іисусъ повелѣлъ:

— Пальма, прекрасная пальма! наклонись, подай свои плоды Моей кроткой Матери.

«Пальма наклонилась, и Богородица сорвала финиковъ сколько хотѣла, послѣ чего пальма снова выпрямилась, покрытая плодами пышнѣе прежняго. Тѣмъ временемъ Младенецъ Іисусъ, посаженный Богоматерью на землю, между корнями смоковницы, погрузилъ ручку Свою въ песокъ, — и изъ-подъ перстовъ Его хлынулъ обильный ручей, утолившій жажду путниковъ. Прежде чѣмъ продолжать дорогу, Іисусъ обратился съ благодарностью къ пальмѣ, напитавшей Его Мать:

— За это Я повелю Моимъ ангеламъ перенести одну изъ твоихъ вѣтвей въ рай Моего Отца; а на землѣ ты будешь, въ знакъ Моего благословенія, служить вѣнцомъ для всѣхъ мучениковъ и воителей за вѣру. Имъ будетъ сказано: Вы заслужили пальму побѣды!»

Въ Римѣ предпасхальныя торжества начинаются раздачею пальмовыхъ вѣтвей въ храмѣ св. Петра. Монахи возлагаютъ вѣтви, разукрашенныя позолотою, лентами, билетиками съ текстами изъ св. Писанія, на алтарь св. Петра; затѣмъ, въ великолѣпныхъ корзинахъ, подносятъ ихъ папѣ. Онъ возсѣдаетъ въ нишѣ на тронѣ, окруженный кардиналами, прелатами, принцами, посланниками. Папа благословляетъ пальмы и раздаетъ ихъ свитѣ. Затѣмъ папу несутъ въ торжественной процессіи, подъ балдахиномъ, съ тіарою на головѣ и пальмовою вѣтвью въ рукѣ, къ главному входу собора; онъ стучитъ своимъ посохомъ въ двери, — attollite portas principes vestras! Когда папа возвращается, въ своихъ носилкахъ, къ алтарю, церковь наполняется рѣзкими и протяжными звуками длинныхъ библейскихъ трубъ, гремящихъ съ высоты. Хоръ гласитъ: tu es Petrus, ecce sacerdos magnus etc. Эфектъ поразительный, необычайный даже въ богатой эфектами католической церкви. Потомъ свершается месса, мрачное пѣніе Страстей Господнихъ; народу открываются мощи—

часть Животворящаго Креста, плащаница, подлинное копье, коимъ было прободено Тѣло Спасителя, и т. д.

Въ средневѣковомъ Парижѣ, по многочисленности въ немъ монастырей и монашескихъ орденовъ, свершалось въ Вербное воскресенье не мало процессій всякаго рода Самая популярная—процессія св. Женевьевы—описана современникомъ въ такомъ порядкѣ:

«Въ этотъ день, послѣ утренней службы, въ сопровожденіи большой и нарядной толпы, процессія отъ всѣхъ колегій, подчиненныхъ парижскому архіепископу, идутъ крестнымъ ходомъ, безъ пѣнія, въ церковь Sainte Geneviève du Mont; у входа въ сію церковь архіепископъ благословляетъ вербы (les rameaux), произнося установленныя молитвы. Потомъ спускаются, по улицѣ св. Іакова, къ воротамъ Petit-Châtelet, близъ которыхъ дома украшены плющемъ и зеленью и по обѣ стороны улицы устроены скамейки для господъ канониковъ. Поется антифонъ (Gloria, laus et honor), послѣ чего господинъ архіепископъ, одѣтый въ праздничныя ризы, стучитъ въ двери тюрьмы, возглашая attollite portas. Смотритель тюрьмы отмыкаетъ затворы, и архіепископъ, войдя въ темницу, освобождаетъ одного изъ узниковъ, который затѣмъ слѣдуетъ съ процессіей до собора Notre Dame, неся шлейфъ мантіи архіепископа, pro gratiarum actione».

Такъ начиналась Страстная недѣля, средневѣковая la semaine d'angoisse. Въ церквахъ, послѣ литургій, представлялись мистеріи: «Плачъ трехъ Марій», воспѣваемый каноникамі въ женскихъ костюмахъ древней Іудеи; моленіе о чашѣ; масличный садъ съ пещерою; «служба путниковъ» или явленіе въ Эммаусѣ, тоже съ костюмами и декораціями; Тайная Вечеря и Іуда-предатель; сошествіе во адъ; воскресеніе Лазаря; «представленіе Пасхальной почи» и т. д. Духовенство каждый день занимало толпу новыми зрѣлищами на темы священныхъ воспоминаній, то трогательными, то страшными, угрожающими.

Эти мистеріи производили сильное впечатлѣніе и не мало способствовали обаянію и могуществу духовенства въ старомъ Парижѣ.

Въ знакъ траура, колокола и даже маленькіе колокольчики у алтарей безмолвствовали. На звонарнѣ Notre Dame, начиная съ полудня чистаго четверга до пасхальной заутрени, стучали въ знаменитое деревянное било, время службы возвѣщалось прихожанамъ дѣтьми, которыя бѣгали по улицамъ съ трещетками. Въ сѣверныхъ департаментахъ Франціи и въ Лотарингіи обычай дѣтской бѣготни сохранился до девятнадцатаго вѣка; по крайней мѣрѣ въ шестидесятыхъ годахъ онъ еще существовалъ.

Нѣкоторые странные обычаи, сопряженные въ средніе вѣка съ Вербнымъ воскресеніемъ, имѣли, вообще, очень долгій вѣкъ. Такъ—жители Chaumont около пятисотъ лѣтъ справляли весьма дикій обрядъ, именуемый «Шомонскою чертовщиною» (La Diablerie de Chaumont»). Въ Вербное воскресенье, двѣнадцать гражданъ Шомона, по предварительному избранію, опредѣлялись... въ черти! Ихъ одѣвали дьяволами: въ страшныя маски съ рогами, въ широкое платье изъ черной матеріи, испещренной огненными языками. Черти слѣдовали за вербною процессіею, въ числѣ другихъ молящихся, и пѣли гимнъ: qui est iste rex gloria? Когда отверзались церковныя врата, черти въ храмъ не входили, а расходились по городу и деревнямъ, чтобы взимать налогъ съ иногороднихъ обывателей, пріѣхавшихъ въ Chaumont на праздники. Этотъ насильственный сборъ поступалъ въ пользу чертей — на поправку ихъ обстоятельствъ. Многіе, запутавшись въ долгахъ, домогались «попасть въ черти», какъ особой чести. Обычай возникъ въ XIII вѣкѣ, а уничтоженъ былъ въ 1760 году, при чемъ были сожжены на кострѣ и нелѣпые костюмы шомонскихъ чертей. «Шомонская чертовщина» пользовалась въ Шампани такою популярностью, что любопытные посмотрѣть на

это дурачество съѣзжались изъ окружности за тридцать, за сорокъ лье.

Flagellation de l'Alleluia — Вербное бичеваніе аллилуіи — праздновалось преимущественно въ городахъ по Верхней Марнѣ, въ недѣлю предъ Пасхою, причемъ особенно славился имъ городъ Лангръ. Въ Тулонѣ «аллилуію» хоронили съ большою торжественностью, какъ знатнаго покойника. Въ Лангрѣ же съ нею поступали гораздо́ хуже: ее выгоняли изъ церкви плетьми. Церковныя правила выработали цѣлый ритуалъ этой странной церемоніи. На игрушкѣ, въ родѣ волчка, писали золотыми буквами слово аллилуія. Дѣти изъ церковнаго хора, въ часъ, опредѣленный уставомъ, приближались къ мѣсту, гдѣ находился волчокъ, съ крестомъ и хоругвями. Начиналось бичеваніе: волчокъ вертѣлся подъ ударами хлыста, а дѣти пѣли псалмы и гимны, пока не выгоняли, такимъ образомъ, крутящуюся аллилуію изъ храма, желая ей на прощаніе — bon voyage jusqu'â Pague prochain. Въ другихъ мѣстностяхъ, напримѣръ, въ Auxerre, аллилуію умерщвляли, хоронили, воскрешали. Дѣти изъ хора справляли этотъ обрядъ по субботамъ, въ недѣлю о блудномъ сынѣ. Послѣ обѣдни, они приносили въ церковь, съ рыданіями и вздохами, гробикъ — якобы съ умершею «аллилуіею», а въ св. субботу праздновали ея воскресеніе. Обычай — языческій, связанный, быть-можетъ, еще съ доисторическою стариной. Онъ напоминаетъ и плачъ о мертвомъ Адонисѣ, какъ описалъ его Ѳеокритъ, и похороны Костромы, какъ справляютъ ихъ пензенскія и симбирскія бабы: аллегорію смерти и возрожденія солнечнаго божества — миѳическую основу почти всѣхъ культовъ. Связь мнимо-христіанскихъ обрядовъ похоронъ и воскресенія «аллилуіи» съ древне-языческими похоронами и воскресеніемъ весенней жизнерадости хорошо выясняется сближеніемъ французскаго обряда съ повѣрьями чеховъ и моравовъ. Они называютъ воскресенье недѣли о блуд-

номъ сынѣ—«смертною недѣлею» и поютъ ему обрядовую пѣсню такого содержанія:

«— Смертная недѣля! кому ты отдала ключи отъ земли?
— Я отдала ихъ Вербному воскресенью.
— Вербное воскресенье! куда ты дѣвало ключи?
— Я отдала ихъ Чистому четвергу.
— Чистый четвергъ! куда ты дѣвалъ ключи?
— Я отдалъ ихъ св. Юрію.

Св. Юрій вставалъ и отмыкалъ землю, чтобы росла трава—трава зеленая».

До изобрѣтенія колоколовъ, аллилуія — вопль духовной радости—служила призывомъ вѣрующихъ къ молитвѣ. Именно въ Auxerre, при знаменитомъ Ажіо, воспитавшемъ свой музыкальный вкусъ въ Италіи, раздались впервые, за пасхальною мессою, звуки музыкальнаго инструмента serpent, изобрѣтеннаго мѣстнымъ каноникомъ Эдмономъ Вильгельмомъ. Этотъ примитивный инструментъ теперь попадается еще въ иныхъ захолустныхъ церквахъ.

Легенда, древняя, почти какъ само христіанство, гласитъ, что въ пещерѣ Геѳсиманскаго сада, гдѣ Христосъ пролилъ кровавыя слезы, скрывались нѣкогда — по изгнаніи изъ рая — прародители человѣчества; что на этой же Голгоѳѣ, гдѣ воздвигся крестъ во искупленіе первороднаго грѣха, были погребены его виновники. Когда Христосъ умеръ, Адамъ и Ева, при вихрѣ и землетрясеніи, вышли изъ гроба, склонились предъ Божественнымъ Страдальцемъ и, обмакнувъ персты въ Его святую кровь, первые изъ людей начертали на своихъ челахъ знакъ креста, ихъ искупившаго.

Вѣчный жидъ, выходя изъ Іерусалима, видѣлъ прародителей человѣчества — на Голгоѳѣ, у трехъ крестовъ. Ихъ казнь кончилась, его начиналась. Онъ оскорбилъ праотцевъ ужасными словами и, спустившись съ лобнаго мѣста, исчезъ въ пустынѣ...



КРАСНОЕ ЯИЧКО.

КРАСНОЕ ЯИЧКО.

Каждый праздникъ нисходитъ на землю, какъ нѣкій царь,—въ сопровожденіи ярко расцвѣченной свиты обычаевъ, преданій, повѣрій, примѣтъ и суевѣрій, накопленныхъ вѣками, въ пышномъ ореолѣ символовъ, часто заслоняющихъ въ міровоззрѣніи средняго человѣка религіозную или историческую основу празднуемаго событія. Такъ,—за блескомъ легенды о «святомъ», за лучезарнымъ сіяніемъ поэтическаго вѣнца вокругъ его головы, теряются зрительныя представленія о дѣйствительныхъ чертахъ его лика. Наиболѣе рѣзкій примѣръ, какъ исторія святого можетъ быть совершенно уничтожена поэтическою легендою о немъ, представляетъ собою жизнеописаніе св. Георгія, рыцаря патрона «старой веселой Англіи», въ дѣйствительности же александрійскаго епископа въ четвертомъ вѣкѣ, притомъ далеко не блестящаго въ ряду великихъ мужей тогдашняго мощнаго христіанства. Полюбившійся символъ заслонилъ въ вѣкахъ человѣка. Для множества людей, праздникъ—также, прежде всего символъ: Рождество — это дѣтская елка; Троица — березки, цвѣты, гирлянды, крестный ходъ; Ивановъ день—потѣшный костеръ, расцвѣтъ папоротника, шуточное кладоискательство; Вербное воскресенье уже однимъ назва-

ніемъ своимъ обличаетъ символъ, съ нимъ сопряженный; Успенье—праздникъ дожиночнаго снопа, а на югѣ—первой кисти винограда; Преображеніе слыветъ въ народѣ Спасомъ на яблокахъ, въ отличіе отъ Спаса на водѣ и Спаса на меду. Христіанство, такимъ образомъ имѣетъ своихъ язычниковъ, безсознательно сближающихъ религіи, происшедшія изъ Евангелія съ пантеизмомъ древнихъ извѣчныхъ культовъ; жизнь Христа омментируется для нихъ годовымъ оборотомъ жизни прирды, Богъ всеобъемлющей любви есть не только Солнце Правды, но и зримое солнце, животворящее землю. Это христіанское язычество, въ огромномъ большинствѣ своихъ проявленій, настолько граціозно, наивно и трогательно, что противъ него рѣдко поднимаются руки даже у самыхъ суровыхъ ортодоксовъ церковной догмы. Вѣрѣ оно никогда нигдѣ не мѣшало.

Напротивъ, можно смѣло утверждать, что—гдѣ народъ начиналъ терять свои «суевѣрія», тамъ онъ весьма скоро разставался и съ вѣрою. Да и понятно: почти всѣ христіанскія «суевѣрія» проникнуты жаркою любовью къ Христу, твердою вѣрою въ Его могущество и правду, какихъ не привьешь человѣку катехизическимъ внушеніемъ,—онѣ родятся изъ непосредственнаго, природнаго самосознанія. Вѣра природная, вѣра по инстинкту всегда и всюду стояла выше вѣры разсудочной, вѣра съ наглядным, образнымъ символомъ чувствуется и держится обыкновеннымъ человѣкомъ, не мыслителемъ, надежнѣе и прочнѣе вѣры отвлеченной, умозрительной.

Символъ праздника праздниковъ,—Св. Пасхи,—красное яйцо. По довольно распространенному мнѣнію, естественное происхожденіе обычая пасхальныхъ яицъ надо приписать учрежденію обязательнаго поста. Въ IV вѣкѣ церковь воспретила употребленіе въ пищу яицъ въ теченіе четыредесятницы, т. е. какъ нарочно въ такое время, когда куры, по вешней порѣ, начинаютъ нестись съ осо-

беннымъ усердіемъ. Запретъ соблюдался строго; въ домашнемъ обиходѣ христіанъ накоплялось чрезмѣрное количество яицъ, которыя хозяева не знали, куда дѣвать; чтобы избавиться отъ нихъ, стали отдавать въ забаву дѣтямъ. Ввели обычай дарить къ празднику роднымъ и друзьямъ яйца, выкрашенныя въ пестрые цвѣта и расписанныя священными фигурами и нравоучительными изреченіями. Чтобы освятить новый обрядъ, сразу полюбившійся поэтически настроенному христіанскому обществу первыхъ вѣковъ, нашли легендарный авторитетъ, яко-бы его утверждающій. Явилось преданіе, будто считать красное яичко символомъ Воскресенія Христова подала примѣръ Марія Магдалина: она-де, придя въ Римъ, на Пасху, въ амфитеатрѣ, засвидѣтельствовала свое христіанство передъ Тиберіемъ, подавъ ему красное яичко и привѣтствуя цезаря словами:

— Христосъ Воскресе!

Завелась игра въ красныя яйца, живущая и по сіе время. Стукали одно яйцо о другое; чье яйцо было крѣпче, тотъ забиралъ себѣ всѣ разбитыя. Отсюда пошелъ обычай варить пасхальныя яйца въ-крутую, чтобы сдѣлать ихъ жестче.

Такимъ — безспорно ошибочнымъ и наивнымъ мотивомъ—объясняетъ происхожденіе краснаго яичка, въ числѣ другихъ, Амедей де-Понтье. Но обычай этотъ гораздо древнѣе христіанства; мы находимъ его, въ разныхъ видоизмѣненіяхъ, и у народовъ нехристіанскихъ. Персы дарятъ другъ другу яйца на новый годъ, а евреи, какъ и русскіе, на праздникъ своей пасхи. Такъ какъ въ христіанскомъ Римѣ, а равнымъ образомъ у франковъ, при Капетингахъ, пасха и новый годъ совпадали, то можно еще считать открытымъ вопросомъ: было ли у нихъ красное яичко подношеніемъ пасхальнымъ или новогоднимъ? Что яйцо, какъ эмблема начала всѣхъ началъ, пользовалось въ древнихъ языческихъ культахъ и многихъ фило-

софскихъ системахъ большимъ вниманіемъ и почетомъ, излишне объяснять: фактъ общеизвѣстный и общепонятный. «Весь міръ — изъ яйца». Эту увѣренность встрѣчаемъ мы въ миѳахъ Индіи, Китая, Японіи, въ финской Калевалѣ; яйцо — отраженіе макрокосма. Мистическое значеніе яйца, прямо изъ язычества, минуя христіанство, перешло въ средневѣковую магію, наслѣдницу еврейской Каббалы и восточныхъ дуалистическихъ культовъ. Колдуны употребляли яйцо для заклинаній дьявола. Ловко вынувъ желтокъ и бѣлокъ, они чертили на внутренней сторонѣ скорлупы магическіе знаки, вліяніемъ которыхъ изводили людей. Сказки русскія, западно-славянскія, нѣмецкія, скандинавскія постоянно связываютъ съ яйцомъ судьбу своихъ героевъ. «Гдѣ твоя смерть, Кощей Безсмертный? — Моя смерть далече: на морѣ на океанѣ есть островъ; на томъ островѣ дубъ стоитъ, подъ дубомъ сундукъ закрытъ, въ сундукѣ — заяцъ, въ зайцѣ — утка, въ уткѣ — яйцо, а въ яйцѣ — моя смерть!» По другой сказкѣ, на диво нѣжной и граціозной, какъ нельзя лучше подтверждающей, что и нашей старинѣ не чуждъ рыцарскій культъ женщины, многими для древней Руси совершенно отрицаемый, — въ яйцѣ, спрятанномъ столь же надежно, какъ смерть Кощея, заключена «пропавшая любовь» Царь-Дѣвицы — солнечной богини. Иванъ — купеческій сынъ, послѣ долгихъ и трудныхъ странствій и приключеній, добылъ яйцо, угостилъ имъ Царь-Дѣвицу, и остывшая было любовь ея къ нему запылала съ новою силою. Знакома русская сказочная миѳологія и съ развитіемъ міра изъ яйца. Царевны, избавленныя богатыремъ отъ человѣкоядцевъ — зміевъ, дарятъ ему яичко мѣдное, серебряное, золотое. Разбилъ богатырь мѣдное яичко, и выросло вокругъ него мѣдное царство; въ серебряномъ яичкѣ заключалось царство серебряное, въ золотомъ — золотое. Въ сказкахъ Оренбургской губерніи о Данилѣ Безсчастномъ, о Васильѣ Царевичѣ и Еленѣ Прекрасной мисти-

ческое значеніе придается уже не просто яйцу, но именно яичку пасхальному. «Вотъ тебѣ, молодецъ, три яичка: первымъ похристосуйся съ княземъ, вторымъ съ княгинею, а третьимъ—съ кѣмъ тебѣ вѣкъ прожить». Данило Безсчастный не уберегъ третьяго яичка, отдалъ его не своей женѣ—премудрой Лебеди-Птицѣ, а первому встрѣчному нищему, и лишился своего счастья и удачи, подвергся сраму и тяжелымъ искупительнымъ испытаніямъ. Въ яйцѣ — судьба, любовь, царство, міръ: яйцо божественно. Изъ яйца вышелъ первородный богъ орфеевой миѳологіи — Фанисъ, осмѣянный христіанскимъ апологетомъ Аѳинагоромъ аѳиняниномъ. Изъ яйца исходитъ цѣлая серія символическихъ божествъ Эллады; шарлатанъ имперіи римской, Александръ изъ Абонотейха, не возбудилъ ни малѣйшаго удивленія, когда, по предварительно подтасованному пророчеству, ловкимъ фокусомъ, вывелъ передъ суевѣрною толпою изъ яйца яко-бы «новорожденнаго» бога Эскулапа, во образѣ змѣи. Римскій обычай начинать трапезу съ яицъ, — откуда извѣстная поговорка cantare ab ovo u que ad mala, — многіе изъясняютъ, какъ мистическое освященіе яйцомъ всей дальнѣйшей снѣди, подобно тому, какъ и въ наши дни люди, держащіеся за старину, возвратясь отъ пасхальной заутрени, разговляются прежде всего освященнымъ яйцомъ, а потомъ уже насыщаются прочими кушаньями, заготовленными на праздничный столъ. Петръ Петрей передаетъ, что въ царской Руси человѣкъ, который въ теченіе Великаго поста касался зубами скорлупы яичной, уже лишался права на причастіе въ Свѣтлое Христово Воскресенье. Та же кара постигала его, если онъ имѣлъ кровотеченіе изъ десенъ. Красное яичко укрощаетъ молнію: если грозою зажгло избу, утишить пожаръ можно, лишь перебросивъ черезъ «неборожденное» пламя пасхальное яичко. Оно смиряетъ нечистую силу. Подружиться съ домовымъ, по народному представленію, очень просто. Стоитъ

лишь запастись краснымъ яичкомъ, которымъ впервые похристосовался священникъ послѣ Свѣтлой Заутрени. Съ такимъ яйцомъ и съ зажженною свѣчею, тоже оставшеюся отъ пасхальной заутрени, надо стать ночью, до пѣтуховъ, передъ растворенной дверью хлѣва и сказать:

— Дядя дворовой! Приходи ко мнѣ ни зеленъ, какъ дубравный листъ, ни синь, какъ рѣчной валъ; приходи — каковъ я. Я тебѣ Христовское яичко дамъ!

Тогда выйдетъ изъ хлѣва домовой точь-въ-точь похожій на того, кто его вызвалъ, возьметъ яичко и будетъ заклинателю вѣрнымъ другомъ на всю жизнь.

Праздникъ Воскресенія Христова—праздникъ объединенія мертвыхъ съ живыми. Общеніе съ мертвыми во Христѣ—исконное убѣжденіе всѣхъ славянъ, и до христіанства имѣвшихъ весьма развитое представленіе о загробной жизни. По весьма распространенному повѣрью — на первый день Пасхи отпирается небо, и въ продолженіе всей Свѣтлой недѣли души усопшихъ постоянно обращаются между живыми, посѣщаютъ своихъ родственниковъ и знакомыхъ, пьютъ, ѣдятъ и радуются вмѣстѣ съ ними; въ Москвѣ до сихъ поръ держится обычай христосоваться съ покойниками: ходятъ на кладбища, кланяются могиламъ роднымъ съ обычнымъ возгласомъ «Христосъ Воскресе!» и кладутъ на могилки красныя яйца, ломти творожной пасхи и т. п. Такъ какъ врата неба отверсты, то свободенъ не только выходъ изъ нихъ, но и доступъ въ оныя. Поэтому — человѣку, умершему на Пасхѣ, предназначенъ невозбранный входъ въ рай: праведенъ ли, грѣшенъ ли, онъ, безразлично, наслѣдуетъ царствіе небесное. Всякому, кто умираетъ между Свѣтлымъ Днемъ и Вознесеньемъ кладутъ въ гробъ красное яйцо, чтобы, на томъ свѣтѣ, покойникъ могъ похристосоваться со своими родичами. Въ Малороссіи и Галиціи принято бросать въ воду скорлупу отъ крашеныхъ яицъ. Объясняется это преданіемъ, что гдѣ-то далеко за моремъ—

океаномъ, подъ самымъ Востокомъ солнца, есть счастливая страна, обитаемая блаженнымъ народомъ—«рахманами», т. е. брахманами, браминами. Они ведутъ святую жизнь, содержатъ круглый годъ строгій постъ, разрѣшая себѣ мясо лишь на Великъ день, т. е. въ Свѣтлое Христово Воскресенье, которое празднуется у нихъ не вмѣстѣ съ другими христіанами, но тогда, когда скорлупа священнаго краснаго яйца доплываетъ къ нимъ отъ насъ черезъ морской просторъ. Сравнительная миѳологія давно выяснила, что «царство рахмановъ» средневѣковой легендарной литературы есть не иное что, какъ царство мертвыхъ. И у славянъ, и у германцевъ скорлупа яйца, брошенная въ ручей, постоянно разсматривается, какъ таинственный корабль, перевозящій души усопшихъ, а также русалокъ, эльфовъ, вѣдьмъ съ нашей земли въ землю ангельскую—Engelland. Общепринятый обычай во всѣхъ славянскихъ земляхъ сыпать въ Свѣтлое Воскресеніе на могилы родныхъ кормъ для птицъ и, въ особенности, крашеныя яйца, находится также въ тѣсной связи съ убѣжденіемъ, будто въ этотъ день души усопшихъ гуляютъ на волѣ: онѣ чаще всего прилетаютъ на землю «изъ вирія» (т. е. вѣчнозеленой страны), перекинувшись птицами. Отсюда же обычай выпускать на праздники Благовѣщенія и Пасхи птицъ на волю,—въ особенности, голубей; симпатіи къ послѣднимъ помогла символистика христіанской иконописи, олицетворившая въ видѣ голубя Духа Святаго. Освобожденіе птицъ изъ клѣтки—освобожденіе душъ изъ ада. Впослѣдствіи, когда вѣра окрѣпла, когда хотѣлось истиннымъ христіанамъ, ознаменовать праздникъ не только полусознательнымъ, традиціоннымъ повтореніемъ обряда, хотя и очень красиваго и трогательнаго, но, въ основѣ, все же суевѣрнаго,—короли, князья, магистраты замѣняли выпускъ птицъ на волю—освобожденіемъ узниковъ изъ темницъ. Для мертвыхъ разверзались могилы, для живыхъ—тюрьмы. На

старой Москвѣ царь нисходилъ христосоваться къ темничникамъ, «яко Іисусъ Христосъ во адъ». «Самъ великій князь встаетъ въ этотъ праздникъ около 12 часовъ ночи и ходитъ по всѣмъ темницамъ и заключеніямъ, гдѣ сидятъ преступники, которыхъ всегда большое число, велитъ носить за собою нѣсколько сотенъ яицъ, даетъ каждому заключенному по яйцу и по овчинному тулупу и, не цѣлуясь съ ними, говоритъ, чтобы они радовались и вѣровали несомнѣнно, что Христосъ за грѣхи всего міра распятъ, умеръ и воскресъ; потомъ идетъ въ церковь и приказываетъ опять запереть и стеречь темницы, думая, что такимъ смиреніемъ и уничиженіемъ много сослужилъ Богу и заслужилъ рай» (Петръ Петрей). Во Франціи пасхальное освобожденіе узниковъ имѣло основаніемъ легенду о св. Романѣ (VII в.). Вотъ она:

«Въ Сенѣ жилъ свирѣпый драконъ, по имени Gargouille. Онъ топилъ суда, а на берегу пожиралъ скотъ, выгоняемый пастись на заливныхъ лугахъ. Уже много безстрашныхъ рыцарей (sans paour) выходило на поединокъ съ нимъ, но драконъ былъ непобѣдимъ: всѣхъ убилъ и съѣлъ. Тогда за обузданіе наглости дракона взялся св. Романъ, въ ту пору архіепископъ руанскій. Прежде всего онъ отправился въ государственную тюрьму и взялъ оттуда въ помощь себѣ двухъ осужденныхъ на смерть. Затѣмъ, предводительствуя огромною толпою любопытныхъ, епископъ пришелъ къ логовищу чудовища. Голосъ святого мужа сразу укротилъ дракона: Гаргуйль сталъ смирнѣе овцы. Св. Романъ надѣлъ ему на шею веревку, прикрылъ его епитрахилью, и узники повели дракона, какъ собаку, къ мѣсту общественныхъ казней, гдѣ полудемона-полузвѣря ждалъ уже достойный его злодѣяній костеръ. Очутившись въ огнѣ, Гаргуйль попробовалъ было потушить пламя, изливъ изъ пасти огромное количество воды, но, по молитвамъ св. Романа, не успѣлъ въ томъ и превратился въ пепелъ». Съ тѣхъ поръ въ Руанѣ за-

велся хорошій обычай отпускать на волю двухъ заключенныхъ ради Свѣтлаго Христова Воскресенія, а въ архитектурѣ — появился терминъ gargouilles: стоки для грязной воды, изваяемые по угламъ готическихъ соборовъ, въ видѣ фантастическихъ животныхъ съ разверстою драконовою пастью. Въ Руанѣ узниковъ освобождалъ — по рекомендаціи ихъ благонравія тюремщикомъ — архіепископъ, лично для того посѣщавшій тюрьму. Въ Парижѣ та же церемонія производилась въ Notre Dame: архидіаконъ разбивалъ звено цѣпи, и заключеннаго отпускали на всѣ четыре стороны, взявъ съ него слово исправиться. Другая пасхальная церемонія въ Notre Dame, державшаяся со временъ Роберта Благочестиваго, и именно съ 995 года, до вѣка Людовика XV, — месса бѣсноватыхъ. Доброта Роберта граничила со святостью. Однажды, замѣтивъ, что воръ норовитъ отрѣзать золотую кисть съ его королевскаго плаща, Робертъ ограничился дружескою просьбою къ мошеннику:

«Другъ мой, не воруй, сдѣлай милость, цѣлой кисти; оставь половину для другого горемыки!»

По приказанію Роберта былъ воздвигнутъ дворецъ — Palais de la Cité. Освященіе его было назначено на Свѣтлый День. Всѣ бѣдняки Парижа получили даровой обѣдъ, за богато накрытыми столами. Передъ началомъ обѣда, король умылъ руки: слѣпой нищій попросилъ у него милостыни; король, шутя, брызнулъ ему въ лицо грязною водою, — слѣпой прозрѣлъ. Чудо это положило начало ежегодному празднеству.

Прологъ мессы бѣсноватыхъ разыгрывался въ капеллѣ св. Людовика (Sainte Chapelle), воздвигнутой этимъ королемъ, какъ пантеонъ для мощей, которыя онъ собиралъ отовсюду, — въ ночь съ пятницы на субботу Страстной недѣли. Всѣ бѣсноватые Парижа приходили туда аккуратно каждый годъ, въ надеждѣ избавиться отъ терзающаго ихъ легіона злыхъ духовъ. Можно вообразить,

что за адскій вопль и крикъ, какія обезьяньи кривлянія, проклятія и богохульства потрясали капеллу въ эту страшную ночь! Когда демонское шаривари становилось окончательно невыносимымъ, старшій каноникъ капеллы появлялся среди безумцевъ, держа въ рукахъ ларецъ съ частицею Животворящаго Креста. Видъ великой реликвіи умиротворялъ страшное сборище. Шумъ затихалъ, конвульсіи прекращались, энергія бѣшенства смѣнялась упадкомъ силъ и глубокимъ сномъ. На завтра, въ Пасху, бѣсноватые шли въ Notre Dame благодарить Бога за временное облегченіе ихъ участи: эти бѣдныя, казнимыя природою души, дѣйствительно, вѣдь, какъ бы вырывались на нѣсколько часовъ изъ ада! Они слушали мессу отдѣльно отъ другихъ молящихся, въ боковой часовнѣ; священники кропили ихъ святою водою, и они расходились по домамъ на новыя страданія—впредь до слѣдующей Пасхи.

До самаго послѣдняго времени, пасхальный обычай духовенства славить Христа по приходу свершался на католическомъ Западѣ приблизительно въ той же формѣ, что и у насъ, и, какъ у насъ, священниковъ награждали,—по крайней мѣрѣ, во Франціи,—нарядно разукрашенными яйцами. Крашанки и писанки, столь распространенныя у насъ, на Западѣ, однако, уже давно вывелись, замѣненныя яйцами искусственными—фабрикатами изъ сахара, шоколада, гипса и т. п. Такъ какъ на Страстной недѣлѣ колокола въ католическихъ городахъ безмолвствуютъ, то во французскомъ народѣ сложилось наивное, но не лишенное поэзіи повѣрье, будто ихъ въ это время вовсе нѣтъ на колокольняхъ: они паломничаютъ въ Римъ—на благословеніе папы и возвращаются изъ странствія какъ разъ къ Свѣтлому Воскресенію, отягченные подарками для дѣтей прихода, ими оглашаемаго. Это—какъ бы продолженіе рождественскихъ тайныхъ даровъ ребятишкамъ, подкидываемыхъ отцами и матерями

отъ имени Св. Николая. Излюбленный даръ — яйцо, красное, какъ «мантія кардинала», свидѣтельствуетъ дѣтворѣ, что оно прямехонько прибыло для нея, по воздуху, изъ Рима. Между колоколами есть тоже своя легендарная іерархія: лучшіе дары посылаетъ большой праздничный колоколъ, потому что онъ «принцъ звона»; заупокойный колоколъ не даритъ ничего, потому что онъ нищій. Въ Нормандіи принято устраивать на пасху «елки» изъ крашеныхъ яицъ, какъ на Рождество, только священнымъ деревомъ избирается не елка, но букъ. Въ Пикардіи и Артуа пасхальныя яйца прячутъ въ молодой травѣ луговъ, въ первыхъ цвѣтахъ садовъ и посылаютъ дѣтей розыскивать запрятанное, какъ будто бы рожденное самою землею,—какъ-то грибы, ягоды и т. п.

Но, предостерегаетъ древняя легенда, надо быть очень осторожнымъ съ пасхальными дарами, ибо злой духъ, всегда подстерегающій добычу, ухитряется иногда подложить въ корзину яицъ, освященныхъ Богомъ, свое проклятое яйцо. Нѣкогда въ Бурбоннэ жила бѣдная вдова съ дочерью—дѣвушкою весьма красивою и разсудительною. Звали ее Жанною. Дьяволъ позавидовалъ добродѣтели дѣвушки и захотѣлъ ее погубить. Въ день Пасхи, когда Жанна была одна дома, къ ней въ окно заглянула нищая и попросила милостыни. Жанна подала. Нищая сказала:

— Ты такъ прекрасна и добра, что заслуживаешь щедрой награды. Предсказываю тебѣ: не пройдетъ года, какъ ты будешь госпожею всего округа и хозяйкою замка, господствующаго надъ страною. Мнѣ нечѣмъ отблагодарить тебя, кромѣ вотъ этого яйца; однако, не брезгуй имъ: оно не совсѣмъ обыкновенное. Возьми его, — пусть оно будетъ тебѣ моимъ свадебнымъ подаркомъ. Но дай мнѣ слово, что ты не разобьешь его ранѣе, чѣмъ будешь обвѣнчана!

Жанна обѣщала. Старуха скрылась. Нѣсколько дней

спустя, пріѣхалъ изъ Парижа мѣстный сеньоръ — сиръ-Робертъ-де-Вольпіакъ, увидалъ Жанну, влюбился, и несмотря на низкое происхожденіе дѣвушки, женился на ней... Въ первую брачную ночь, она вспомнила о роковомъ пасхальномъ яйцѣ, съ которымъ пришло къ ней счастье. Молодой мужъ, по смутному предчувствію, отговаривалъ жену любопытствовать, что скрыто въ таинственномъ яйцѣ, но Жанна не послушала—бросила яйцо на полъ, и... о, ужасъ! оттуда выскочила огнедышащая жаба! Гадина вспрыгнула на брачную постель, злополучныхъ супруговъ, зажгла своимъ дыханіемъ пологъ, весь замокъ вспыхнулъ, и молодые погибли въ пламени... Легенда—нельзя сказать, чтобы премудрая, и, за что, про что погибла добродѣтельная, ни въ чемъ неповинная Жанна, постичь столь же трудно, какъ и вывести изъ ея гибели какую-либо мораль. Въ бретонской народной балладѣ нѣчто подобное повѣствуется объ Элоизѣ и Абеларѣ, уцѣлѣвшихъ, какъ это ни странно, въ памяти народной, хотя и съ весьма дурною репутаціею—безстыдно страстныхъ любовниковъ и страшныхъ колдуновъ. Въ этой балладѣ появляется на сцену роковое «погибельное яйцо» средневѣковой магіи и талмуда, снесенное въ шабашъ курицею или даже чернымъ пѣтухомъ: подъ его невинною на видъ скорлупою таится, вмѣсто скромнаго цыпленка, смертоносный аспидъ.

Въ славянскихъ земляхъ, особенно въ Малороссіи и Галиціи, натуральныя крашанки и писанки до сихъ поръ господствуютъ надъ фабрикаціей искусственныхъ пасхальныхъ яицъ. Узоры писанокъ разнообразны до изумленія. На львовской выставкѣ 1894 года я самъ видѣлъ коллекцію болѣе, чѣмъ въ 2000 пасхальныхъ яицъ, изъ которыхъ ни одно не походило на другое. Цѣлая энциклопедія южно-русскаго народнаго орнамента!

Прелестная, похожая на легенду, исторія пасхальнаго сватовства, черезъ посредство краснаго яичка,—

свадьба Маргариты австрійской, правительницы Фландріи, общеизвѣстной по «Эгмонту» Гёте, и Филиберта Красиваго, герцога Савойскаго. Они встрѣтились на богомольи въ Брессѣ, очаровательномъ мѣстечкѣ, на западномъ склонѣ Альпъ, гдѣ—говоритъ старая баллада—«было о чемъ помечтать молодой дѣвушкѣ!».

«Où jeune fille pouvait rester moult!...»

Въ резиденціи Маргариты, въ замкѣ Brou, веселились на славу и хозяева замка, и окрестные крестьяне, смѣшавшись въ общемъ народномъ праздникѣ пасхальныхъ дней. Лѣса, окружающіе Бру, переходили на савойскую территорію. Герцогъ Филибертъ, — подобно Немвроду, «великій ловецъ передъ Господомъ»,—заѣхалъ въ Бру съ охоты засвидѣтельствовать свое почтеніе молодой и прекрасной принцессѣ австрійской. Былъ устроенъ танцовальный праздникъ въ деревушкѣ Бургъ. Веселился весь околотокъ, безъ различія возрастовъ и сословій. Старики стрѣляли изъ лука въ бочку вина, и, чья стрѣла вышибала втулку—счастливецъ получалъ право пить изъ бочки «до спасиба» (jusqu'à merci).

Сотни пасхальныхъ яицъ были разсыпаны на пескѣ; парни и дѣвушки, парами, плясали между ними, держась за руки, народный танецъ. Если пара кончала пляску, не раздавивъ ни одного яйца, танцоры становились женихомъ и невѣстою. Маргарита и Филибертъ приняли участіе въ этой оригинальной забавѣ и танцовали такъ счастливо, что, по окончаніи пляски, Маргарита, горя румянцемъ, положила свою руку на руку Филиберта и сказала:

— Исполнимъ же и мы обычай Бресса!

И они повѣнчались. Изъ этого случайнаго порыва влюбленности получился одинъ изъ счастливѣйшихъ браковъ, какіе знаетъ исторія.

Обычай Бресса—парованье мужчинъ и женщинъ въ брачныя четы на весеннемъ праздникѣ возрожденной при-

роды,—безспорно, языческій. Онъ весьма близокъ къ обычаю сербовъ: на второй день Пасхи поселяне идутъ на кладбище, раздаютъ милостыню нищимъ, служатъ панихиды по усопшимъ, а затѣмъ, въ особой мистической игрѣ, *дружатся* между собою,—парни съ парнями, дѣвицы съ дѣвицами. Игра состоитъ въ томъ, что, сплетя изъ вербы вѣнки, цѣлуются сквозь нихъ, потомъ мѣняются красными яйцами и самыми вѣнками; продѣлавъ этотъ обрядъ, мужчины становятся на годовой срокъ побратимами, а женщины—подругами.

Чѣмъ тяжелѣе слагалась жизнь народа, чѣмъ суровѣе была власть, создававшая его бытъ, чѣмъ рѣзче сказывалась разобщенность классовъ, тѣмъ яснѣе выступалъ въ такихъ странахъ и государствахъ братолюбивый, христіански ровняющій слои общественные характеръ пасхальнаго праздника. «Другъ друга обымемъ, рцемъ, братіе, и ненавидящимъ насъ простимъ». Феодалъ не считалъ своихъ вилланов за людей; виллана можно было застрѣлить безнаказанно—лишь для пробы лука. Но въ день Христова Воскресенья, гордый Филибертъ и извѣстная своею исторической надменностью, дорого стоившею ей въ политическомъ отношеніи, Маргарита не гнушаются справлять праздникъ вмѣстѣ съ своими вилланами и даже подчиняться ихъ обычаямъ. То же было и у насъ, при крѣпостномъ правѣ. А вотъ—описаніе пасхальной недѣли, оставленное намъ о старой до-петровской Руси—о той Руси, которую А. К. Толстой характеризовалъ двумя энергичными стихами:

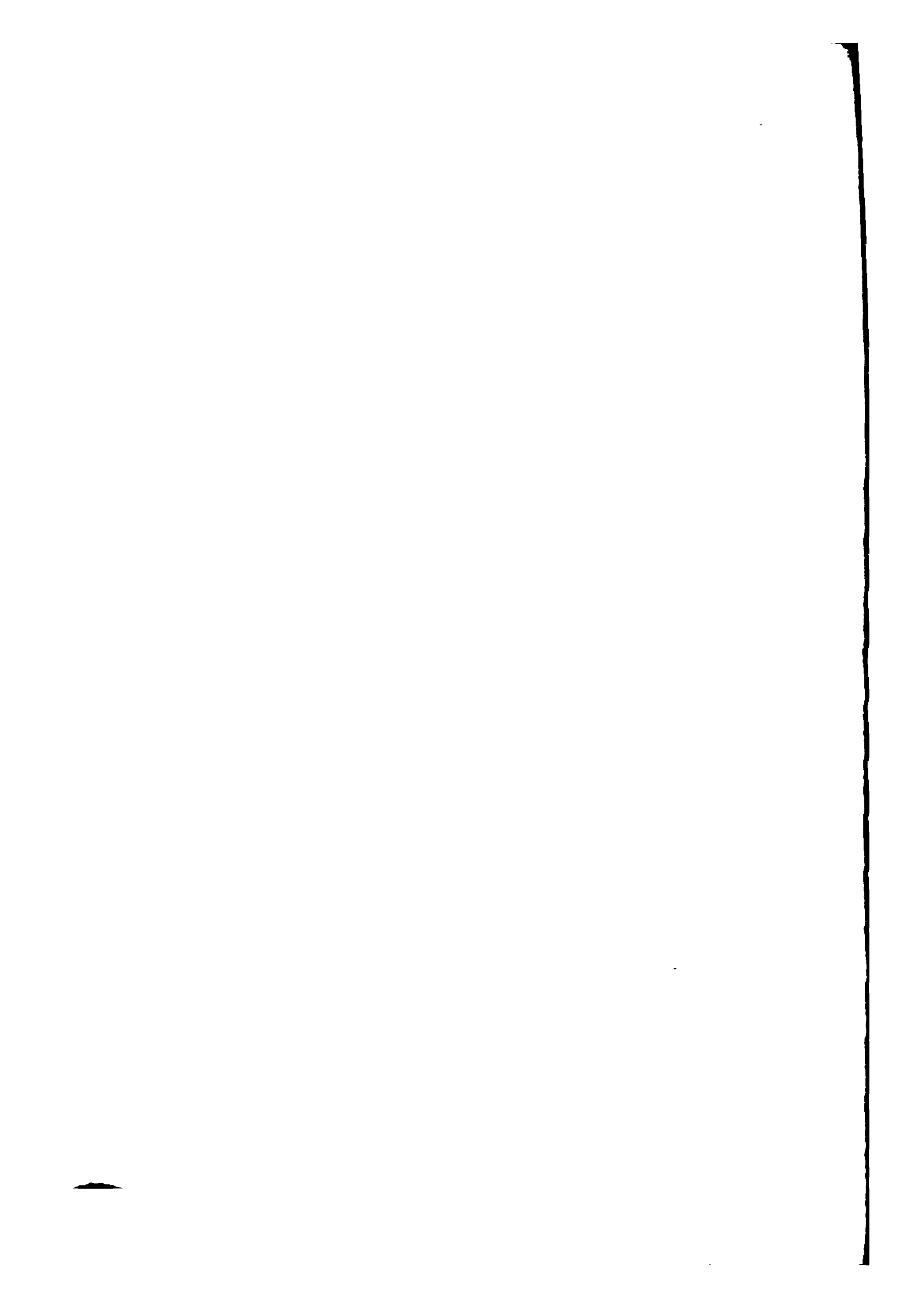
И вотъ, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете.

«Когда наступитъ праздникъ Пасхи, въ подтвержденіе Воскресенія Христова изъ мертвыхъ, русскіе соблюдаютъ такой обрядъ, что по всѣмъ городамъ и деревнямъ страны, на всѣхъ большихъ и малыхъ улицахъ, ставятъ нѣсколько тысячъ бочекъ и котловъ съ вареными въ-густую яйцами, окрашенными въ красный, синій, желтый, зеленый и раз-

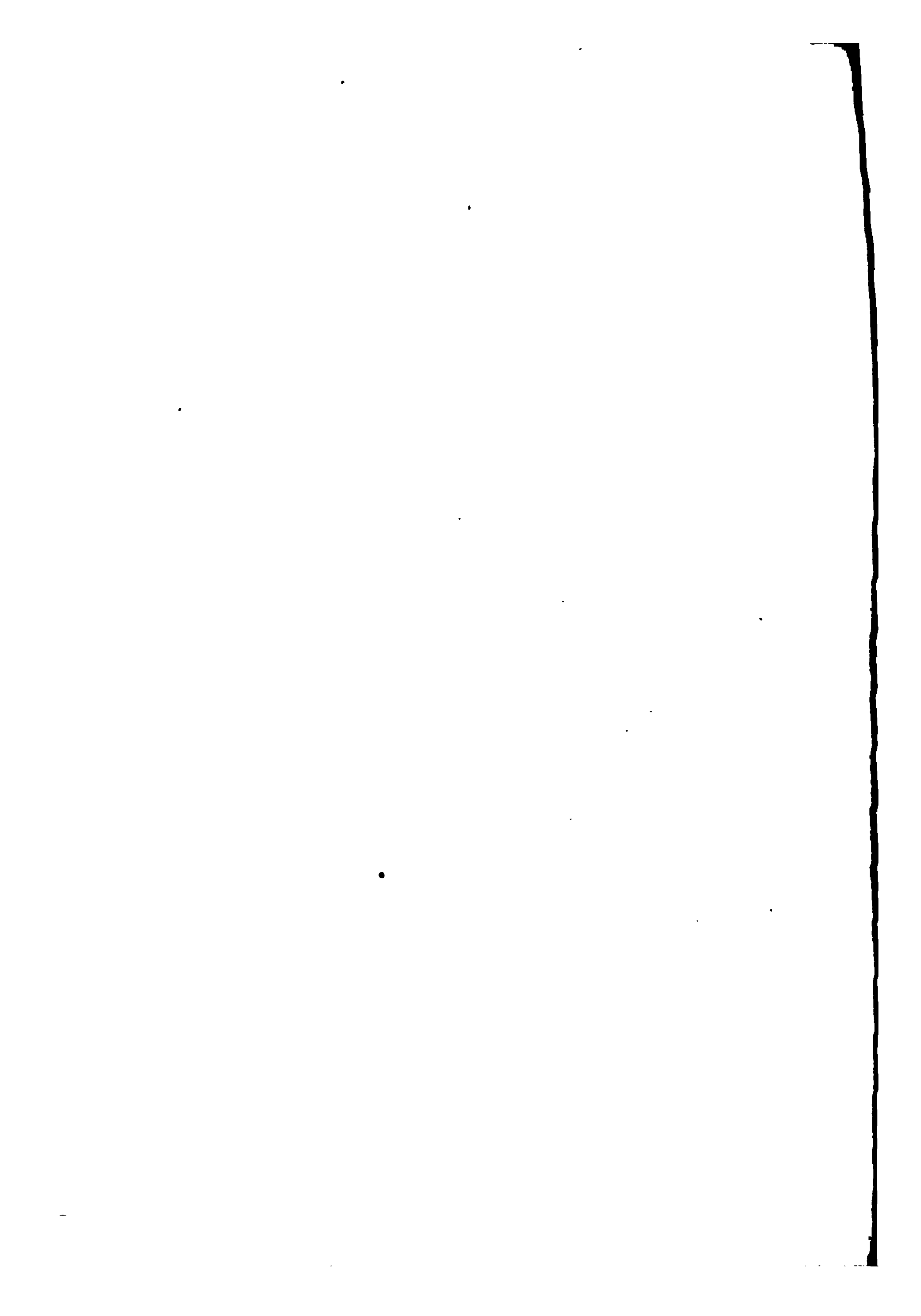
ные другіе цвѣта, а нѣкоторые изъ нихъ позолоченныя и посеребренныя. Прохожіе покупаютъ ихъ, сколько нужно, кому, а ни одного яйца не берегутъ для себя, потому что во всю Пасху всѣ люди, богатые и бѣдные, дворяне и простолюдины, мужчины и женщины, парни и дѣвушки, слуги и служанки, носятъ при себѣ крашеныя яйца, гдѣ бы они ни были, куда бы ни шли, а при встрѣчѣ съ кѣмъ-нибудь знакомымъ или незнакомымъ, здороваются, говорятъ: «Христосъ воскресъ!», а тотъ отвѣчаетъ: «Воистину воскресъ», и даютъ другъ другу яйца, цѣлуются и ласкаются между собою, а потомъ каждый идетъ своею дорогою, пока не повстрѣчается опять съ кѣмъ-нибудь и не справитъ такого же обряда, такъ что иногда тратитъ до 200 яицъ въ день. Они такъ свято и крѣпко держатся этого обычая, что считаютъ величайшей невѣжливостью и обидой, если кто, повстрѣчавши другого, скажетъ ему вышеупомянутыя слова и дастъ ему яичко, а этотъ не возьметъ и не захочетъ поцѣловаться съ нимъ, кто бы онъ ни былъ, княгиня ли или другая знатная женщина или дѣвица».

Эту симпатичную картину рисуетъ Петръ Петрей—въ общемъ, злой врагъ старой Руси, усердный и тенденціозный обличитель ея темныхъ сторонъ. Въ государствѣ отатаренномъ,—по выраженію поэта, «игомъ рабства клейменномъ»,—какъ видно, жило, однако, прочное сознаніе равенства всѣхъ людей въ любви Христовой и сказывалось въ наиболѣе выразительный день христіанства, съ трогательностью, непонятною угрюмому Петрею. Распространяясь на всю массу народную, оно сближало Христовымъ поцѣлуемъ царя съ послѣднимъ изъ его подданныхъ. Праздникъ воскресшаго Бога, воскресшей весны, воскресшаго солнца, воскресшей любви людей другъ къ другу... Воистину праздниковъ праздникъ!..





НЕУРОЖАЙ И СУЕВѢРІЕ.



Неурожай и суевѣріе.

Первыя же страницы русской лѣтописи повѣствуютъ намъ о хлѣбныхъ неурожаяхъ и послѣдующихъ за ними голодовкахъ народныхъ.

Подъ 1024 г. лѣтописецъ отмѣчаетъ «мятежъ великъ и голодъ» по всей суздальской землѣ. Въ 1071 г.—«скудости» въ области ростовской, по Волгѣ, Шекснѣ и Бѣлу озеру. Въ 1059 году отъ голода, холода и мора погибъ цѣлый степной народецъ—торки. Въ концѣ княженія Всеволода Ярославича (ум. въ 1093 г.). Приднѣпровье постигли засухи, отъ которыхъ загорались лѣса и болота, а за ними—неизмѣнныя послѣдствія: голодъ и моръ, т. е., по всей вѣроятности, повальный тифъ, настолько свирѣпый, что въ одномъ Кіевѣ, въ срокъ «отъ Филиппова дня (14 ноября) до мясного заговѣнья» было продано семь тысячъ гробовъ. Въ 1094 году, въ августѣ мѣсяцѣ, прилетѣла на Русь первая саранча и съ тѣхъ поръ стала постоянною гостьею нашего отечества. Въ 1127—1128 году голодалъ Новгородъ,—по обыкновенію, съ эпидеміей тифа; люди ѣли липовый листъ, березовую кору, мохъ, конину; улицы и площади были завалены мертвыми тѣлами, нельзя было выходить изъ домовъ отъ смрада непогребенныхъ труповъ; отцы и матери отдавали дѣтей въ рабство пріѣзжимъ торговцамъ, чтобы не ви-

дать ихъ страданій отъ голодной смерти. Вь 1145 году новгородскія бѣдствія повторились по причинѣ страшныхъ засухъ весною и ливней лѣтомъ и осенью. Суздальскій періодъ русской исторіи почти сплошь—лѣтопись голодовокъ. На каждыя десять лѣтъ приходится, въ сѣверныхъ предѣлахъ тогдашней Руси, т. е. въ областяхъ суздальскихъ и новгородскихъ, по одному голодному. Особенно страшны были годы 1212, 1214, 1215 и 1230, а между ними два послѣднихъ. Въ эти неурожайные годы собаки не успѣвали поѣдать труповъ, валявшихся по улицамъ и городамъ; вымерли или разбѣжались, поголовно, всѣ жители области Водь; новгородцы съѣли лошадей своихъ, собакъ, кошекъ; стало обыкновеннымъ преступленіемъ людоѣдство и пожираніе покойниковъ. Бѣдствіе 1230 года было повсемѣстнымъ въ русской землѣ, выключая кіевской области; продолжалось оно три года.

Я не пойду далѣе въ этой печальной хронологіи, доведенной, какъ мы видимъ, до самой татарщины, и, слѣдовательно, обнимающей весь полуязыческій періодъ Удѣльной Руси. Лѣтопись свидѣтельствуетъ, что голодовки и эпидеміи довольно часто сопровождались противохристіанскими волненіями въ народѣ недавно окрещенномъ, нетвердомъ въ новой вѣрѣ, хорошо памятующемъ культъ старыхъ боговъ и привычномъ къ повиновенію жрецамъ ихъ—«волхвамъ» лѣтописи. Въ Суздалѣ волхвы «избиваху старую чадь по дьяволю наученью и бѣсованью, глаголюще, яко си держать гобино» (урожай). Движеніе было настолько сильно, что великій князь Ярославъ несмотря на затруднительное свое политическое положеніе въ 1024 году, счелъ необходимымъ лично поѣхать въ суздальскую землю для усмиренія мятежа. Въ ростовскую смуту, когда Янъ, собиратель княжеской дани схватилъ на Бѣломъ озерѣ двухъ волхвовъ, занимавшихся тоже избіеніемъ «старой чади», то, на вопросъ: «чего ради погубиста толико человѣкъ?»—онъ получилъ отвѣтъ:

«яко ти держать обилье да еще избіевѣ сихъ будетъ гобино». На допросѣ волхвы показали, что они вѣруютъ богу, живущему въ безднѣ, рекомому антихристу, и разсказали космогоническій анекдотъ о сотвореніи человѣка—совершенно однородный съ таковыми же преданіями у нынѣшней мордвы, черемисовъ, вотяковъ и т. п. Янъ отдалъ волхвовъ на кровомщеніе семьянамъ, женщинъ которыхъ они избили; тѣ повѣсили обманщиковъ на дерево. Пришелъ медвѣдь—Перуновъ звѣрь—и съѣлъ ихъ тѣла. Мятежъ прекратился.

Добиться отъ бѣлозерцевъ выдачи волхвовъ Яну стоило не мало труда: столь велико было вліяніе слугъ «бога бездны», даромъ что многихъ изъ народа они лишали матерей, сестеръ и женъ. Вліяніе это опиралось на общераспространенномъ суевѣріи не только языческихъ, но и христіанскихъ народовъ въ утро ихъ умственнаго развитія, — будто всѣ явленія природы—дѣло рукъ человѣческихъ, получившихъ власть надъ богами (въ язычествѣ) или демонами (по христіанскимъ понятіямъ), при посредствѣ таинственныхъ чаръ и заклятій. Суевѣріе въ язычествѣ было вѣрою. Всѣ языческіе культы построены на довѣріи общества къ лицамъ, имѣющимъ привилегію непосредственнаго общенія съ богами—тайными силами, одухотворяющими природу. Христіанство уничтожило стихійныхъ боговъ, какъ власть, главенствующую въ мірѣ, но не вовсе истребило ихъ изъ памяти своихъ неофитовъ. Низверженные стихійные боги продолжали существовать, хотя и подъ спудомъ, инкогнито; подобно гейневскому Витцли-Пуцли, они вылиняли, перемѣнили оболочку и сдѣлались чертями. Прежде они были и добрыми, и злыми,—теперь стали злыми по преимуществу; съ ними можно было сноситься попрежнему и слѣдовало ладить, чтобы не было отъ нихъ никакого вреда. Равнымъ образомъ, по прежнему слѣдовало почитать и ублажать тѣхъ, кто былъ въ тѣсной дружбѣ

съ отставными богами, являлся посредникомъ между ними и человѣкомъ.

Богами язычества управляли волхвы. Новокрещенные дикари, не успѣвъ забыть языческій предразсудокъ, что священнослужитель, такъ сказать руководствуетъ волею божества, суевѣрно перенесли миссію управленія силами природы на новое христіанское духовенство: совершенно по той же аналогіи, по какой народъ передалъ молніи Перуна—пророку Ильѣ, а скотъ, отнятый у Волоса,— мученику Власію. Въ лѣтописи неоднократно встрѣчаются указанія, что народъ приписывалъ духовенству засуху, неурожай, градъ, ливень и т. п. Такъ, напримѣръ, въ 1228 году, новгородцы, напуганные необыкновенными жарами, заподозрили въ производствѣ ихъ своего епископа и прогнали его «аки злодѣя пьхающе». И наоборотъ легенда приписываетъ другому духовному лицу— иноку Кіево-печерской лавры, преподобному Прохору Лебеднику, могучую сверхъестественную помощь народу во время голода при великомъ князѣ Святополкѣ Изяславовичѣ; онъ лебеду обращалъ въ хлѣбъ, а золу—въ соль. Извѣстенъ обычай, не окончательно вымершій даже въ настоящее время, «катать попа» по жнивью, въ надеждѣ на будущій урожай. Наконецъ, народъ до сихъ поръ считаетъ недоброю примѣтою, выходя изъ дома, встрѣтить духовное лицо. Что предразсудокъ этотъ извѣчный, языческій, свидѣтельствуетъ Несторъ подъ 1064 годомъ: «Не погански ли живемъ, ежели еще вѣруемъ въ встрѣчу, ибо кто встрѣтитъ монаха, зайца или свинью, возвращается назадъ». Такое же повѣрье есть и о встрѣчѣ со старою бабою — исконною вѣдуньею, по народнымъ понятіямъ. Въ 1770 году мужики села Войтовки приняли своего священника о. Василія, за упыря, повелѣвающаго мертвецами и, вмѣстѣ съ ними, опустошающаго село: несчастнаго пробили навылетъ осиновымъ коломъ и заживо зарыли въ землю. Зловредное вліяніе, приписы-

ваемое суевѣріемъ дурнымъ встрѣчамъ, можно парализовать, бросивъ подъ ноги опасному встрѣчнику булавку, иглу, гвоздь, ножъ—вообще, какое-нибудь острое металлическое орудіе. Извѣстный русскій миѳологъ Афанасьевъ выяснилъ на сотняхъ примѣровъ, что ножъ, игла, топоръ, молотъ, колъ и т. п. въ народныхъ сказкахъ и повѣрьяхъ почти постоянно эмблематируютъ молнію, которою богъ-громовникъ первобытныхъ вѣрованій поражалъ своихъ враговъ, грозовыхъ духовъ—прототипы чертей, вѣдьмъ, вурдалаковъ и т. п. Малороссы говорятъ: «если вѣдьма летитъ, стоитъ воткнуть ножъ въ землю,—она сейчасъ же обезсилѣетъ и упадетъ»; чехи: «если бросить ножъ въ столбъ пыли, поднятый вихремъ, онъ упадетъ на землю, окровавленный, потому что непремѣнно ранитъ скрытую въ вихрѣ нечистую силу или несомаго ею вѣдуна». Не будетъ ошибкою заключить, что одинаковыми или аналогичными мотивами вызывается суевѣрное употребленіе острыхъ орудій и при вышеуказанныхъ встрѣчахъ,—теперь безсознательное, а когда-то имѣвшее для народа свой таинственный смыслъ. А согласившись съ этимъ мы вмѣстѣ съ тѣмъ согласимся, что нашъ предокъ-славянинъ былъ весьма мало склоненъ, въ первыя триста лѣтъ своего христіанства, отличать новыхъ духовныхъ пастырей отъ представителей древняго языческаго волхвованія. На Западѣ было то же самое. Католическое духовенство, фанатически преслѣдуя колдовство, само постоянно попадало подъ подозрѣніе въ этомъ грѣхѣ. Между 1504 и 1523 годами въ Ломбардіи запустѣло нѣсколько монастырей, потому что монахини были сожжены за колдовство; то же случилось въ Cambrai. Въ Вюрцбургѣ между 1627—29 годами, изъ 200 сожженныхъ. было 14 духовныхъ лицъ, одинъ докторъ теологіи и три церковныхъ регента. Общеизвѣстны страшныя дѣла Урбана Грандье, Луи Гофриди, Булье и Пикара въ XVII вѣкѣ. Въ Далмаціи, Босніи, Герцеговинѣ католическій

«фратръ» (францисканскій монахъ) до сихъ поръ пользуется репутаціею вѣдуна съ сверхъестественными знаніями. Даже православные, и не охотники до латинцевъ, стараются раздобыться амулетомъ отъ фратровъ: обыкновенно, писаннымъ на бумажкѣ Pater Noster.

Неурожаи, приковывая къ себѣ весь интересъ голоднаго полудикаря, заставляли его невольно искать ближайшую причину бѣдствія въ служителяхъ стихійнымъ духамъ, въ волхвахъ и волшевицахъ. Да и не одни полудикари въ это вѣрили. Вотъ голосъ, раздавшійся въ 1484 году, съ высоты папскаго престола, изъ устъ Иннокентія VIII: «Множество людей обоего пола не боятся вступать въ договоры съ адскими духами и посредствомъ колдовства дѣлаютъ неплодными брачные союзы, губятъ дѣтей и молодой скотъ, истребляютъ хлѣбъ на нивахъ, виноградъ и древесные плоды въ садахъ и траву на пастбищахъ». Булла Иннокентія VIII, какъ извѣстно, дала могучій толчекъ къ вѣковому торжеству пагубнаго суевѣрія: запылали костры вѣдьмъ и колдуновъ, потянулись безчисленные вѣдовскіе процессы. Средневѣковые судьи разобрали вопросъ о возможности зловредно управлять стихіями съ удивительною подробностью, con amore. Но еще того подробнѣе разложили этотъ вопросъ – на голодный желудокъ—по мелочамъ полудикари простонародья, въ чьихъ головахъ, хоть и смутно, а все еще бродили старыя языческія воспоминанія. Приносить неплодіе и голодъ стало считаться основнымъ началомъ и цѣлью колдовства. Въ Бамбергѣ было казнено 1,200 человѣкъ, въ томъ числѣ первыя лица епископства, послѣ того, какъ сознались въ намѣреніи произвести такой неурожай, «чтобы въ теченіе 4 лѣтъ во всей странѣ погибъ весь хлѣбъ и все вино, такъ что люди отъ голода съѣдали бы другъ друга» (1629). Шутка дѣвочки, которая, слушая жалобы отца на засуху, вызвалась наколдовать ему дождь,—и надо же быть такому несчастію, чтобы дѣйствительно разразилась страш-

ная гроза съ ливнемъ и градомъ!—стоила въ 1615 году жизни тысячамъ женщинъ Венгріи: отецъ донесъ на дочь, дочь—на мать, мать оговорила дюжину сосѣдокъ, тѣ—тоже, каждая назвала столько именъ якобы сообщницъ, сколько вспомнилось со страха и т. д. и т. д. Народная фантазія нашла и прямую корысть—изъ-за чего колдуны и вѣдьмы производятъ свои—безсмысленныя, казалось бы,—опустошенія. Въ первой половинѣ IX вѣка Агобаръ, ліонскій епископъ, записалъ такую сказку: «Есть нѣкая страна, именуемая Магонія, изъ коей приходятъ на облакахъ корабли; воздушные пловцы забираютъ зерновой хлѣбъ и другіе плоды, побитые градомъ и вихрями, уплачиваютъ за нихъ чародѣямъ, вызывающимъ бури, и увозятъ въ свое царство». Самъ Агобаръ смѣется надъ этою сказкою, какъ надъ глупостью, но жалуется, что знаетъ многихъ, «одержимыхъ такимъ безуміемъ».

На Руси, къ чести духовенства восточнаго, вѣра въ вѣдовское ограбленіе урожаевъ и преслѣдованіе колдуновъ не пользовались покровительствомъ церкви даже въ древнѣйшія времена христіанства. Задолго до Вейера и Беккера, первыхъ заступниковъ мнимыхъ колдуновъ, тысячами погибшихъ на кострахъ инквизиціи, Серапіонъ, епископъ владимірскій, увѣщевалъ свою паству: «Еще поганскаго обычая держитесь, волхованію вѣруете и пожигаете огнемъ невинныя человѣки и наводите на весь міръ и градъ убійство... Отъ которыхъ книгъ или отъ кихъ писаній се слышасте, яко волхованіемъ глади бываютъ на земли и пакы волхованіемъ жита умножаются?» Разница отношенія духовенства къ колдоству въ средневѣковой Европѣ и на Руси, можетъ быть, отчасти обусловливалась именно тѣмъ обстоятельствомъ, что наше, какъ начало новое въ странѣ, еще не торжествующее, а только завоевывающее себѣ положеніе, само неоднократно попадало у своей безграмотной паствы въ волхвы и, въ этомъ качествѣ, испытало на собственномъ примѣрѣ, каково это сладко, когда неповин-

наго человѣка гонятъ ни за что, ни про что «аки злодѣя пьхающе».

Серапіонъ произнесъ свою проповѣдь, возмущенный размѣрами, какіе приняли человѣкоубійственныя преслѣдованія женщинъ, обвиняемыхъ въ похищеніи дождей и земного плодородія. Онъ съ порицаніемъ указываетъ на обычай испытанія водою женщинъ, заподозрѣнныхъ въ порчѣ урожаевъ,—обычай, къ сожалѣнію, дожившій въ глухихъ углахъ какъ нашего отечества, такъ и Европы, безъ различія національностей, до нашихъ дней. Обвиняемую въ колдовствѣ связываютъ крестообразно: лѣвую руку съ правою ногою, правую руку съ лѣвою ногою, и бросаютъ въ рѣку. Если держится на водѣ—вѣдьма; если тонетъ—не вѣдьма. Въ 1827 году такими испытаніями занимались карпатскіе горцы; въ 1834 г. въ Грузіи былъ неурожай на кукурузу и пшено: колдуновъ бросили въ воду, пытали на дыбѣ, жгли раскаленнымъ желѣзомъ; то же самое повторилось въ пятидесятыхъ годахъ. Въ 1839 году засуха дала поводъ расправиться съ вѣдьмами по тому же образцу въ Полтавской губерніи. Въ 1875 году на Полѣсьи мужики въ одномъ селѣ, по совѣту стариковъ и старосты, задумали испытать вѣдьмъ водою и просили помѣщика, чтобы онъ позволилъ «покупать бабъ» въ его прудѣ. Когда помѣщикъ отказалъ, всѣ женщины села были подвергнуты осмотру черезъ повивальную бабку, нѣтъ ли у которой изъ нихъ хвоста. Трехъ бабъ, оговоренныхъ повитухою по недоброжелательству, посадили подъ арестъ и представили становому. Тотъ, конечно, освободилъ ихъ. Засуха 1880 года едва не стоила жизни тремъ бабамъ деревни Пересадовки Херсонской губерніи. Ихъ сочли за колдуній, держащихъ дождь. Бѣднымъ женщинъ насильно купали въ рѣкѣ, пока онѣ, чтобы спасти свою жизнь, не указали, гдѣ онѣ «спрятали дождь». Староста съ понятыми вошелъ въ показанную избу и въ печной трубѣ нашелъ замазанное «гнѣздо» съ двумя напильниками и запертымъ замкомъ. Находка дока-

зываетъ, что вѣдьмы были не умнѣе своихъ гонителей и, дѣйствительно, пробовали колдовать. Завязанный узелъ, запертый замокъ — старинный и повсемѣстный магическій символъ задержки плодородія: жатвы уничтожаютъ закрутомъ, браки дѣлаютъ безплодными, замыкая замокъ и забрасывая его, куда глаза глядятъ, съ извѣстнымъ колдовскимъ приговоромъ. Въ Польшѣ жгли старыхъ бабъ не только при засухахъ, но и когда придется — на всякій случай, чтобы застраховать себя отъ будущихъ засухъ и градобитій. А въ старой Москвѣ, когда послѣ погибели Лжедмитрія I, ударили въ маѣ безвременные морозы, пагубные для посѣвовъ, народъ не нашелъ лучшаго средства обезпечить урожай, какъ сжечь трупъ «Гришки Еретника» и пепелъ развѣять по вѣтру пушечнымъ выстрѣломъ.

Исторія Гришки Отрепьева приводитъ насъ къ другому отдѣлу языческихъ суевѣрій въ христіанствѣ: къ вампиризму. Упырямъ, вовкулакамъ и т. п. иные миѳологи усиленно старались придать значеніе стихійныхъ силъ; въ увлеченіи стихійною теоріей, Афанасьевъ додумался до такой изощренной тонкости, будто вампиры — молніеносные духи, которые замираютъ на зиму въ тучахъ, чтобы сосать весною живоносные соки возрожденной земли. Гораздо проще видѣть въ этомъ страшномъ порожденіи народной фантазіи образъ тѣхъ грозныхъ моровыхъ повѣтрій и голодовокъ, которыми были такъ часто удручаемы древность и средніе вѣка, особенно въ германскихъ и славянскихъ земляхъ (Тэйлоръ). Упырь поѣдаетъ сперва своихъ родныхъ, а потомъ уже принимается за постороннихъ и не успокоится, пока не уморитъ всего села, а если кто чужой заѣдетъ потомъ, и того съѣстъ непремѣнно. Развѣ это не совершенно точный образъ появленія эпидеміи, послѣдовательнаго распространенія ея отъ перваго зараженнаго и способности долго держаться въ одной мѣстности? Такъ какъ моръ былъ, въ большинствѣ случаевъ, послѣдствіемъ голодовокъ, то народ-

ная фантазія снабдила упыря неукротимою алчностью: если ему нечего и некого ѣсть, онъ грызетъ дерево гроба, саванъ, свои руки. «Ѣсть хочу!»—его постоянный вопль. Вампиръ—это образъ голоднаго тифа, постояннаго бича славянской старины: вѣчный голодъ, разносящій повсемѣстную смерть! Описаніе наружности упыря, какъ представляетъ его народъ: желтое, изрытое морщинами лицо, красные, налитые кровью глаза, обвисшая кожа на тѣлѣ, — описаніе человѣка, бѣсноватаго отъ голода. Кровавое человѣкоядство голодныхъ упырей, быть можетъ, даже вовсе не миѳъ, а лишь смутное историческое воспоминаніе объ эпохахъ въ родѣ 1230 или 1602 года, когда люди, дѣйствительно, поѣдали свои семьи, а такихъ эпохъ славянство пережило достаточно.

Упыремъ, обыкновенно, дѣлается умершій колдунъ. Это вполнѣ понятно: искони вѣруя въ безсмертіе души, наши предки полагали, что разъ человѣкъ былъ волхвомъ при жизни, нѣтъ резона, чтобы духъ его терялъ свои волшебныя свойства и по смерти; разъ онъ повелѣвалъ стихіями живой, отчего не повелѣвать ему ими и мертвому; разъ онъ при жизни посылалъ моръ на людей, а на поля засуху, градобитіе, ливни, бури, то и по смерти можетъ дѣлать тѣ же самыя злодѣйства. Приписыванье засухъ «недобрымъ мертвецамъ», т. е. покойнымъ знахарямъ, людямъ, погибшимъ «напрасною смертью», опойцамъ и т. п.—до сихъ поръ частое суевѣріе. Въ голодъ 1892 года крестьяне деревни Новоматюшкиной, Николаевскаго уѣзда, Самарской губерніи, гадали на сходкѣ, кто изъ мертвецовъ кладбища приноситъ имъ бѣду, и выгадали, пригласивъ къ совѣту староматюшкинцевъ, что виновница зла—Арина Новикова, слывшая въ народѣ колдуньею; къ тому же были слухи, что она умерла не своею смертью, но отравилась. Мертвую Новикову «міромъ» вырыли изъ могилы и утопили въ омутѣ рѣки Узень. Среди обвиняемыхъ по этому дѣлу оказались двое сель-

скихъ старостъ, сотскій, десятскій и сборщикъ податей, т.-е. все сельское начальство. Въ шестидесятыхъ годахъ подобныхъ случаевъ утопленія недобрыхъ мертвецовъ было нѣсколько; въ 1868 году крестьяне Тихаго Хутора, въ Таращанскомъ уѣздѣ, изъ опасенія неурожая, вырыли «подозрительнаго» покойника изъ могилы, били его и обливали водою, приговаривая: «давай дождя!» Въ нѣкоторыхъ деревняхъ въ разрытыя могилы былыхъ колдуновъ лили воду цѣлыми бочками, повторяя такимъ образомъ на мертвомъ тѣлѣ тѣ же обличительныя купанья, что примѣнялись и къ живымъ вѣдунамъ—похитителямъ урожая. Отъ подозрѣнія въ вампиризмѣ, какъ и въ волшебствѣ, не избавлялъ даже самый священный санъ. Мы видѣли, какъ войтковцы расправлялись со своимъ несчастнымъ попомъ Василіемъ. А благочестивый тишайшій царь Алексѣй Михайловичъ въ одномъ письмѣ къ патріарху Никону простодушно описываетъ свой испугъ у гроба патріарха Іосифа, когда раздутое водянкою тѣло покойника стало пухнуть на его глазахъ: «и мнѣ пріиде такое помышленіе отъ врага—побѣги-де ты вонъ, тотчасъ же вскоча тебя удавитъ»... Въ 1089 году скончался въ Кіевѣ митрополитъ Іоаннъ; княжна Янка, дочь Всеволода Ярославича, поѣхала въ Грецію за новымъ митрополитомъ и привезла другого Іоанна. Должно быть это былъ человѣкъ крайне болѣзненный: онъ прожилъ на Руси всего годъ, а худобою и желтизною своею прямо смутилъ суевѣрную, полуязыческую паству. «Его же видѣвше людье вси рекоша: се навье (покойникъ) пришелъ».

Мы знаемъ, что древніе славяне и германцы смотрѣли на будущую жизнь, какъ на продолженіе земной жизни; знаемъ, что покойника отпускали въ загробную страну съ богатымъ запасомъ всякаго имущества, чтобы мертвецъ ни въ чемъ не нуждался. Однако, надо полагать, что современемъ покойникамъ не хватало взятаго съ земли запаса, и тогда они бездолили градобитіями и грозами живыхъ лю-

дей. Магонія, откуда приплывали воздушные корабельщики Агобара, чтобы скупать у чародѣевъ погубленные послѣдними урожаи, есть не что иное, какъ легендарное царство мертвыхъ, выступавшее въ средне-вѣковой литературѣ подъ многими аллегорическими наименованіями. Въ нашихъ древнихъ сказаніяхъ оно извѣстно, какъ царство блаженныхъ рахмановъ, тождественныхъ съ навами, т. е. мертвецами. За царство мертвецовъ и злыхъ духовъ были приняты пер воначально вновь открытые Бермудскіе о-ва, что и подало Шекспиру поводъ написать свою фантастическую «Бурю». Царство рахмановъ, навовъ, Engelland, Nebelland, это— «вирій», таинственная вѣчно-зеленая страна какого-то оцѣпенѣлаго лѣта. Туда осенью улетаютъ птицы, уползаютъ змѣи; тамъ вѣчный сонъ; оттуда прилетаютъ въ міръ души новорожденныхъ и туда скрываются покоиться на тихихъ водахъ души усопшихъ; туда, на корабляхъ изъ яичной скорлупы, плаваютъ феи, русалки, вѣдьмы, вѣщицы; туда же отвозили на воздушныхъ корабляхъ побитый градомъ хлѣбъ таинственные купцы таинственной Магоніи. Однѣ сказки и легенды помѣщаютъ вирій за тридевять земель, въ тридесятомъ царствѣ, за моремъ-океаномъ; другія — подъ землею, т. е. въ той безднѣ, гдѣ жили боги волхвовъ, убитыхъ Яномъ, куда наглядно для всѣхъ отходятъ покойники. Весна, зелень, тепло, дожди даритъ міру «тотъ свѣтъ»; объ оттепеляхъ народъ говоритъ очень выразительно: «родители вздохнули». Весенній дождь будитъ мертвыя силы природы, окостенѣвшія зимою, и обращаетъ ихъ въ благія для людей. Очень можетъ быть поэтому, что обрядъ обливанія могилъ и труповъ при засухахъ, купанье колдуновъ и вѣдьмъ при неурожаяхъ лишь впослѣдствіи, съ утратою народомъ точныхъ языческихъ традицій, обратились въ обычай карательный, приняли характеръ истязанія. Для древняго славянина мертвый волхвъ былъ, конечно, не проклятымъ духомъ, но вѣщимъ полубожествомъ, которое надо было оживить жертвеннымъ воз-

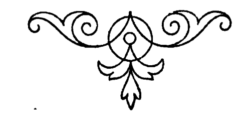
ліяніемъ, чтобы оно воскресло и помогло людямъ. Покойниковъ оттаиваетъ весенній дождь,—характерно, что въ разсказанномъ выше случаѣ на Тихомъ хуторѣ, подозрѣваемаго въ производствѣ засухи, упыря поливали не просто изъ ведра, но сѣяли на него воду рѣшетомъ, т. е. подражая дождю. «Сѣю дождь рѣшетомъ», хвалится вѣдьма въ «Макбетѣ».

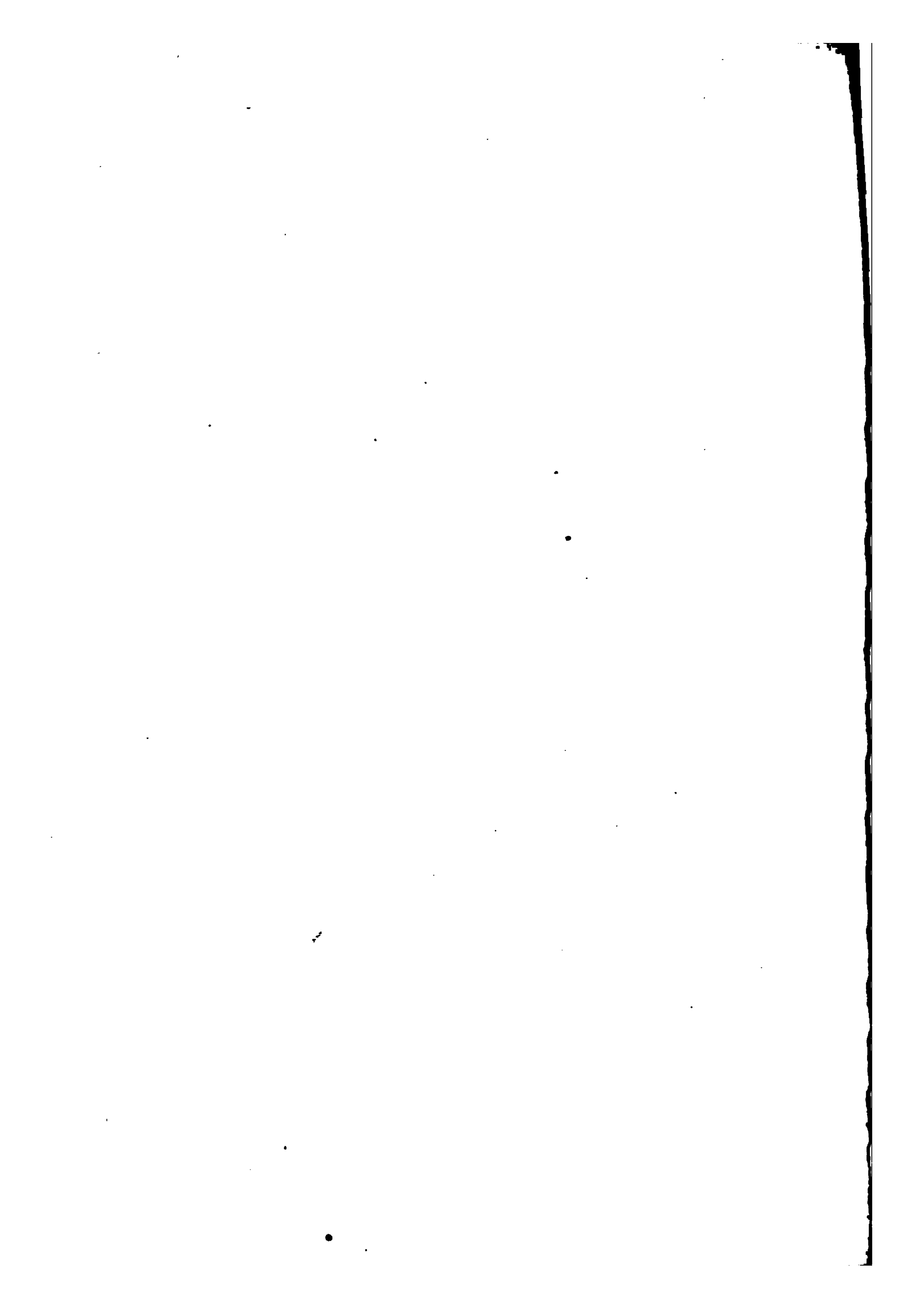
Что идетъ въ землю возвращается оттуда сторицею; за зерно земля отдаетъ сто зеренъ; за имитацію дождя могила должна вознаградить плодоноснымъ ливнемъ. Что касается купанья живыхъ вѣдьмъ, то, помимо пыточнаго характера, этотъ обычай несомнѣнно имѣетъ и оттѣнокъ жертвеннаго обряда. Его легко сблизить съ сербскимъ обрядомъ додолы, справляемымъ тоже при засухахъ въ такомъ порядкѣ: «нагую дѣвушку обвязываютъ травою и цвѣтами такъ, чтобы почти не видно было ея лица. Въ этомъ видѣ, какъ бы движущееся растеніе, она обходитъ дворы одинъ за другимъ. Ее зовутъ Додола. Каждая хозяйка выливаетъ на нее ведро воды, а ея спутницы поютъ пѣсню съ мольбою о дождѣ. Пѣсня выражаетъ твердую увѣренность, что гроза немедленно нагонитъ поющихъ и оросить дождемъ поля и виноградники» (Л. Ранке, Исторія Сербіи). Въ губерніяхъ Тамбовской, Тульской и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Малороссіи существуетъ обычай «провожать русалокъ», заклиная ихъ, чтобы они берегли жито, не вредили посѣвамъ; по окончаніи обряда, чучело русалки топятъ въ рѣкѣ, а участники церемоніи, въ шуточной борьбѣ, обливаютъ другъ друга.

Черезъ повѣрье о русалкахъ, волшебная связь воли усопшихъ съ урожаемъ выясняется съ полною яркостью, ибо непосредственное значеніе русалокъ въ народной миѳологіи—грѣшная душа некрещенаго ребенка, утопленницы и т. п. Древле-миѳологическое значеніе ихъ столь разнообразно и сложно, что изъясненіе его потребовало бы спеціальнаго очерка. Въ первобытномъ своемъ видѣ,

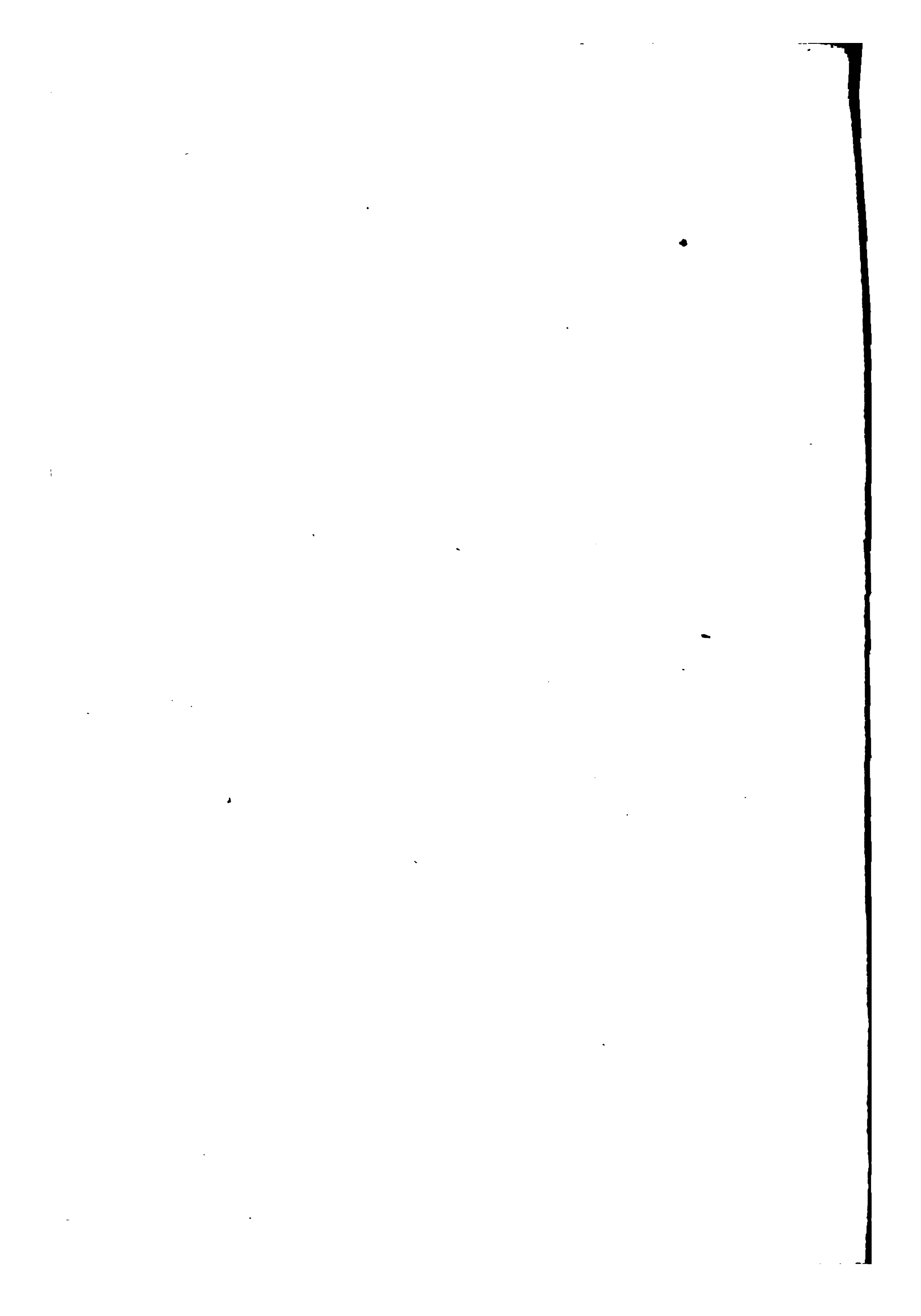
лишь самое ничтожное число стихійныхъ духовъ дошло до нашего времени отъ древности. Въ средѣ ихъ—кромѣ русалокъ—кобольды и цверги, которыхъ русская народная миѳологія сохранила въ повѣрьи о подмѣнышахъ, т. е. о дѣтяхъ, выкраденныхъ якобы вѣдьмами, лѣшими, русалками, причемъ, на мѣсто похищеннаго младенца, нечистая сила кладетъ своихъ собственныхъ ребятъ. Украденныя дѣти становятся вовкулаками, т. е. оборотнями-человѣкоядцами, со всѣми признаками вампиризма, а ихъ подмѣныши, выростая среди людей, дѣлаются колдунами, губителями рода человѣческаго, распространителями мора и голода; по смерти, они тоже вампирятся. Отъ обыкновенныхъ дѣтей они отличаются страшнымъ лицомъ, огромною головою, тоненькими ножками, вздутымъ брюхомъ (при безобразной общей худобѣ) и необычайною прожорливостью. Какъ читатель видитъ, всѣ эти признаки «природнаго упыря» цѣликомъ взяты съ признаковъ вырожденія ребятъ отъ худого кормленія. Подмѣнышъ объѣдаетъ семью и разоряетъ домъ: на него не напасешься. Это повѣрье держится въ народѣ съ рѣдкимъ упорствомъ. Въ 1898 году въ Малороссіи одно дѣтоубійство было совершено матерью въ твердой увѣренности, что она убиваетъ подмѣныша. Ребенокъ былъ идіотъ, уродъ и обжора, вполнѣ подходившій подъ сверхъестественный портретъ, выше приведенный. Мать ходила на поденщину въ экономію. Лили страшные дожди. Экономъ и рабочіе приписали мокропогодицу злому вліянію урода и запретили матери носить дитя на работу. Мать, чтобы не потерять поденщины, наняла присматривать за сыномъ, въ ея отсутствіе, какую-то старую бабу. Этой, напуганной общимъ суевѣрнымъ страхомъ къ ребенку, бабѣ приснился сонъ, будто пришли къ ней двѣ женщины и говорятъ: что ты, дура, дѣлаешь? за что взялась? кого стережешь? Развѣ это Лукерьинъ сынъ? развѣ людскія дѣти ѣдятъ заразъ по цѣлой ковригѣ? Лукерьина сына давно выкралъ нечистый, а это подмѣнышъ. Смущенная сномъ,

старуха отказалась стеречь нечистое дитя, и матери пришлось снова взять его на поденщину. Случилось такъ, что, едва она показалась съ нимъ въ экономіи, стоявшая до тѣхъ поръ ясная погода вновь смѣнилась ливнями. Бабу прогнали съ работы, обругали, избили; тогда она и сама поддалась суевѣрному страху, вообразила въ сынѣ нечистаго и порѣшила отъ него отдѣлаться: привела «подмѣныша къ оврагу и спихнула съ кручи... Уродъ убился до смерти. Односельчане вполнѣ одобряли бабу и рѣшительно отказывались понять: за что ее судить?





ЗЕЛЕНЫЯ СВЯТКИ.



Зеленыя святки.

МАЙ и начало іюня, переходъ отъ весны къ лѣту,—лучшее время года въ средне-европейскихъ земляхъ: пора владычества солнца и могучаго расцвѣта силъ оживленной вешними чарами природы,—пора зелени, цвѣтовъ, грозъ и теплыхъ плодотворныхъ дождей, пора любви животныхъ и растеній,—пора, когда перелетныя птицы спариваются и завиваютъ гнѣзда въ «зеленомъ шумѣ» молодой листвы рощъ, лѣсовъ и садовъ. Жизнь и вѣрованія первобытнаго обитателя средней Европы и, въ особенности, Европы славянской, тѣсно сближались съ жизнью природы, одухотворенной и обоготворенной въ тысячахъ антропоморфическихъ образовъ. Чуткое ко всѣмъ стихійнымъ перемѣнамъ вниманіе полудикихъ языческихъ народовъ не могло не отозваться на великій праздникъ вешняго возрожденія природы эхомъ символическихъ общественныхъ празднествъ.

Дни, въ которые христіанство справляетъ Вознесеніе Христово, Пятидесятницу, Рожденіе Іоанна Крестителя, были священными днями на огромномъ пространствѣ славянскихъ земель между Эльбой, Дунаемъ и Днѣпромъ задолго до того, когда свѣтъ Христовой вѣры разлился по этимъ странамъ, когда бытъ ихъ населенія покоренъ былъ церковному чину и календарю. Весьма можетъ быть, что,

первоначально, счастливое совпаденіе—точное или приблизительное—торжествъ церковнаго календаря съ праздничнымъ календаремъ стихійнаго язычества сослужило добрую службу дѣлу христіанскаго миссіонерства въ славянскихъ поселахъ. Консерватизмъ обычая гораздо сильнѣе и упорнѣе въ славянской средѣ, чѣмъ консерватизмъ убѣжденія, и славянскіе неофиты гораздо легче раставались съ самыми старыми богами своими, чѣмъ съ порядками, обрядами и примѣтами своихъ отцовъ и дѣдовъ и—на первомъ мѣстѣ — съ ихъ празднествами. Видя, что новая вѣра не только не отметаетъ, но и сама торжественно справляетъ привычные ему великіе дни, язычникъ шелъ навстрѣчу миссіонерамъ уже съ меньшимъ предубѣжденіемъ: онъ разсчитывалъ найти въ новыхъ мѣхахъ старое вино, подъ новою, чужою, пришлою формою—прежнюю родную суть.

Особенно ярко сказались эти календарные компромиссы стараго язычества съ молодымъ христіанствомъ именно въ вешнихъ празднествахъ Вознесенья, Семика, Троицкой субботы, Троицына и Духова дня и т. д. Въ эпоху поклоненія одухотвореннымъ стихіямъ эти дни были посвящены апоѳеозу «весны-красны», побѣдоноснаго божества, окончательно восторжествовавшаго надъ загнанной на дальній безвѣстный сѣверъ колдуньей-зимой, чествованію начала, все животворящаго и возрождающаго. Характеръ языческихъ празднествъ отъ переименованія ихъ въ празднества христіанскія измѣнился весьма мало, и, надо полагать, послѣдующій вредъ языческаго календаря значительно превысилъ первоначально принесенную было имъ пользу: по крайней мѣрѣ, на первыхъ же страницахъ лѣтописи русской мы встрѣчаемся съ жалобами духовенства на весенніе бѣснованія народа, какъ на явное доказательство крѣпко засѣвшей въ немъ идолопоклоннической закваски. Противъ этихъ празднествъ ополчается Несторъ (подъ 1067 годомъ), а Кириллъ Туровскій относитъ ихъ къ числу «злыхъ и скверныхъ дѣлъ, ихъ же ны Христосъ велитъ отступити».

Справляемыя во всемъ славянскомъ мірѣ, безъ исключеній, и всюду по довольно схожему ритуалу, вешнія празднества всюду носили и одно и то же названіе, лишь подвергавшееся у разныхъ племенъ этимологическимъ варіаціямъ, соотвѣтственнымъ языку и говору народа. Названіе это—русаліи, русалка, risale и т. д. Названіе недѣли по Троицынѣ днѣ русальною сохранилось въ народѣ до нашего времени; въ старину же оно было общеупотребительнымъ и распространеннымъ настолько, что, несмотря на свой ярко-языческій характеръ, попало и въ хартіи лѣтописцевъ, въ общемъ весьма ревнивыхъ къ христіанскому календарю, и даже въ книги духовныхъ писателей, для которыхъ внѣдреніе христіанскаго календаря и уничтоженіе остатковъ идольской старины являлись прямыми обязанностями. Названіе священныхъ вешнихъ дней по русалкамъ— самое ясное свидѣтельство, что въ дни эти предки наши праздновали не только зримое возрожденіе природы, но и возвращеніе къ жизни и дѣятельности стихійныхъ духовъ, ее оживляющихъ,—вмѣстѣ съ нею уснувшихъ на зиму и вмѣстѣ съ нею очнувшихся отъ спячки. Въ особенности характерно въ этомъ смыслѣ названіе «Русальчинъ Великъ День», т.-е. Свѣтлое Воскресеніе русалокъ, до сихъ поръ прилагаемое на Украйнѣ къ четвергу Троицкой недѣли. Какъ уже говорилъ я въ очеркѣ «Неурожай и суевѣріе», миѳъ о русалкахъ до того сложенъ, настолько разнообразно и пестро разработанъ народнымъ суевѣріемъ, что точнаго изслѣдованія его хватило бы на цѣлую диссертацію. Мы встрѣчаемъ русалку въ народныхъ сказаніяхъ то какъ дѣву водную, то какъ дѣву лѣсную, то какъ житнаго духа, т.-е. генія посѣвовъ, нивъ и луговъ, то какъ грѣшную душу утопленницы, младенца, некрещенаго или проклятаго родителями, и т. д. Русалка, для древняго славянина, являлась, такимъ образомъ, какимъ-то пантеистическимъ коэффиціентомъ ко всякому явленію въ природѣ въ лѣтніе ея мѣсяцы.

Такимъ образомъ, разбирая легенды и обряды, сопровождающіе Пятидесятницу—быть можетъ, самый богатый символами праздникъ христіанства—необходимо памятовать, что легенды и обряды эти формулировались, такъ сказать, въ три слоя. Внизу—прямые, откровенно-языческіе остатки древняго стихійнаго вѣрованія, переживанія пантеистическихъ культовъ; надъ ними — приспособленія языческихъ обрядовъ на новый ладъ, къ христіанскимъ взглядамъ, нравамъ и понятіямъ; вверху—поэтическія наслоенія, непосредственно христіанскаго происхожденія.

Христіанская эмблема праздника Пятидесятницы—огненный языкъ и бѣлый голубь, символизирующіе сошествіе Св. Духа на апостоловъ. Первый символъ исторически объясненъ во второй главѣ Дѣяній апостольскихъ. Голубь, еще до христіанства, почитался птицею священною едва ли не во всѣхъ языческихъ культахъ: голубкою улетѣла съ земли Семирамида, голубками запряжена колесница Афродиты, голубь былъ единственною птицею, терпимою въ Дельфахъ, голубка дала даръ пророчества оракулу Додонскому; въ культахъ спиритуалистическихъ птица эта пользуется такимъ же уваженіемъ: Моисей заповѣдалъ женщинамъ, приходящимъ въ храмъ за очистительною молитвою, приносить въ жертву двухъ голубей. Христіанская символика воспользовалась всеобщимъ почтеніемъ къ красивой и всюду любимой птицѣ, чтобы облечь въ ея образъ самыя священныя тайны свои: представленіе о Духѣ Святомъ и идею безсмертія души, причемъ первое олицетвореніе освящено авторитетомъ Евангелія (Марка, I, 10). Св. Духа, въ видѣ голубя, встрѣчаемъ мы на каждомъ образѣ Св. Троицы, Благовѣщенія, Крещенія Господня. Воображеніе народовъ христіанскихъ привыкло къ этому олицетворенію настолько же, насколько привыкло узнавать прообразъ Христа въ агнцѣ, прообразъ Творца-Вседержителя во Всевидящемъ Окѣ, заключенномъ

въ сіяющій лучами треугольникъ. Наши русскіе сектанты, претендуя на способность непосредственныхъ вдохновеній отъ Духа Святого, зовутъ себя въ честь Третьяго Лица Св. Троицы бѣлыми голубями.

Что касается идеи безсмертія души, то обычай олицетворять послѣднюю въ видѣ бѣлой или сизой голубки лишь усвоенъ и широко развитъ христіанствомъ; и славянскій, и германскій народы издревле были убѣждены, что душа человѣка по смерти долгое время летаетъ на землѣ птицею,—и по преимуществу голубемъ. Этотъ граціозный миѳъ развѣтвился въ сотни преданій. Насколько широко было его распространеніе и какъ долго держалось оно въ сознаніи народномъ, можетъ дать понятіе слѣдующій примѣръ. Въ 1754 году, въ апрѣлѣ, умеръ нѣкій гофмейстеръ Чоглоковъ. Въ открытое окно спальни его жены влетѣла птица и сѣла на картинѣ противъ постели; увидя птицу, Чоглокова вообразила, будто прилетѣла душа ея мужа, и разубѣдить ее въ этомъ не было никакой возможности. Анекдотами, сопряженными съ этимъ повѣрьемъ, можно бы заполнить много страницъ.

Изображеніе голубя археологи находятъ на древнѣйшихъ гробницахъ и базиликахъ христіанскихъ, вмѣстѣ съ пальмою, эмблемою мученичества, и рыбою, эмблемою Христа. Извѣстно католическое изображеніе дѣвъ-мучеництъ — съ голубями на правомъ плечѣ, между тѣмъ, какъ слѣва вьется крылатый дьяволъ, нашептывая невѣстамъ Христовымъ злыя искушенія отступничества. Въ средневѣковомъ Парижѣ, въ церквахъ Notre Dame и у St. Jacques la Boucherie, на Троицынъ день, когда раздавался гимнъ Veni Creator, бѣлый голубь слеталъ изъ купола къ алтарю. Въ ту же минуту, съ хоръ, выпускали стаи птицъ, бросали въ народъ цвѣты, облатки и зажженую паклю. Каноники увѣряли народъ, будто все это падаетъ съ неба, причемъ каждому достается по дѣламъ его—къ кому благоволитъ Богъ, тому цвѣты и облатки, на кого Онъ гнѣ-

венъ, тому зажженная пакля. Попасть подъ то или другое считалось вѣрнымъ предзнаменованіемъ успѣха или худа на будущій годъ. Внѣ гадательнаго значенія, церемонія эта, возникшая въ падкіе до духовныхъ мистерій средніе вѣка, была, конечно, грубою попыткою изобразить сошествіе Св. Духа на апостоловъ, какъ разсказано оно въ Дѣяніяхъ—однородною съ тѣмъ, какъ у гроба Господня имитируется возженіе огня небеснаго. Обычай, только-что разсказанный, до сихъ поръ держится во Фландріи. Съ нимъ связана легенда о началѣ процвѣтанія знаменитой парижской таверны «Сошествія Св. Духа» на Птичьемъ мосту, какъ прозвалъ народъ Pont Marchand, построенный въ 1609 году. Дочь перваго хозяина таверны, по имени Коломбетта, т.-е. голубка отправилась на Троицу къ обѣднѣ въ Notre-Dame. Когда началась церемонія съ птицами, бѣлый голубь, вмѣсто того, чтобы летѣть къ алтарю, спустился на голову Коломбетты и, испуганный шумомъ толпы, забился въ капюшонъ дѣвушки. Суевѣрные парижане огласили Коломбетту избранницею Божіею; тысячи людей стекали поглазѣть на дочь трактирщика, какъ на святую,—и, понятное дѣло, таверна отца Коломбетты стала процвѣтать и процвѣла. Репутація дома Коломбетты держалась весьма долго и прочно, изъ поколѣнія въ поколѣніе.

Заимствуя какой-либо символъ изъ языческаго наслѣдства, христіанство всегда старалось, по мѣрѣ силъ, затушевать его подлинное происхожденіе, изобрѣтая въ объясненіе его самостоятельныя легенды. Таково католическое сказаніе,—почему голубь сталъ священною птицею, удостоился воплощать Духа Святого и символизировать все чистое, прекрасное и возвышенное въ области вѣры. Счастливая виновница этой благодати—голубка, выпущенная Ноемъ изъ Ковчега всемірнаго потопа. Когда вода поглотила землю, дьяволъ, довольный, что довелъ человѣчество до столь ужасной казни Божіей, удалился въ

черную тучу, висѣвшую какъ разъ надъ Араратомъ, и едва обнажилась вершина горы, спустился на нее, готовый наброситься на первое живое существо, которое окажется спасеннымъ отъ потопа. Существомъ этимъ оказался воронъ, выпущенный Ноемъ изъ ковчега. Дьяволъ научилъ птицу питаться мясомъ труповъ, которые всюду гнили въ изобиліи, — и воронъ, насыщая свою утробу, забылъ объ ожидавшемъ его хозяинѣ, остался вѣковать на свободѣ. Вслѣдъ затѣмъ, какъ гласитъ Библія, Ной выпустилъ на развѣдку голубку.

Дьяволъ пытался развратить трупоядѣніемъ и эту птичку, — но видъ ворона, клюющаго мертвыя тѣла, привелъ ее въ ужасъ и она поспѣшно возвратилась къ Ною, неся въ клювѣ масличную вѣтвь (эмблему мира и спасенія), а сама стала съ тѣхъ поръ эмблемою чистоты, вѣрности и кротости. Голубка съ масличною вѣтвью въ клювѣ, какъ видно изъ легенды, — самый подходящій гербъ для вегетаріанскихъ обществъ.

Обычай украшенія въ Троицынъ день церквей и домовъ цвѣтами и зеленью принадлежитъ ко второму наслоенію, т.-е. къ разряду языческихъ переживаній, молчаливо признанныхъ христіанскою церковью правоспособными подъ условіемъ, что свершаться они будутъ во имя Христа, Божіей Матери, Св. Духа, а не старыхъ стихійныхъ боговъ. Въ великорусской семицкой березкѣ въ соотвѣтствующихъ ей украинскомъ «тополѣ», бѣлорусскомъ «кустѣ», сербскихъ, «кралицахъ» и тому подобныхъ, прямо, можно сказать, безчисленныхъ, но однородныхъ и однообразныхъ обрядахъ и символахъ народъ чтитъ забытую имъ лѣсную дѣву, оживающую въ зелени дубравъ или самую богиню весну, одѣвающую деревья листьями и цвѣтами. Но поетъ онъ при этомъ не о лѣсной дѣвѣ и не о богинѣ веснѣ, а

Благослови, Троица,
Богородица!

**Намъ въ лѣсъ пойти.
Намъ вѣнки завивать,
Ай Дидо, ой Ладо!
Намъ вѣнки завивать
И цвѣты сорывать.**

Нельзя придумать лучшей характеристики народному празднику Троицы—«зеленымъ сяткамъ», какъ слывутъ на Руси три послѣдніе дня семицкой недѣли, Троицынъ и Духовъ день — чѣмъ только-что приведенная пѣсня, молящая «Троицу-Богородицу» о разрѣшеніи исполнить старый языческій обычай, поминая старыхъ, таинственныхъ Дида и Ладу — боговъ лѣтняго плодородія, любви и брачныхъ связей. Обычай справлять зеленыя святки далеко не ограниченъ однѣми славянскими землями. Мы находимъ его и въ Германіи, и во Франціи, и въ Англіи. Въ мемуарахъ 1615 года, написанныхъ аббатиссою Ремиремона Катериною Лотарингскою, мы читаемъ, что въ Духовъ день восемь окрестныхъ приходовъ обязаны были являться въ монастырь, причемъ поселяне несли въ рукахъ вѣтви разныхъ деревьевъ и кустарниковъ. Каждый приходъ пѣлъ особо ему присвоенный псаломъ и долженъ былъ сдѣлать монастырю опредѣленное приношеніе. Въ томъ числѣ, деревня Сенъ-Реми обязывалась поднести капитулу блюдо снѣга за неимѣніемъ же его—двухъ бѣлыхъ быковъ. Блюдо снѣга, тающаго подъ солнечными лучами, являлось эмблемою побѣжденной, уничтоженной колдуньи—зимы, забытой среди побѣдоноснаго ликованія зеленыхъ святокъ. Курьезно, что вслѣдъ за описанною процессіей въ Ремиремонѣ, аристократическомъ монастырѣ, начиналось нѣчто въ родѣ именно русалій, проклятыхъ нашимъ Кирилломъ Туровскимъ: монахини должны были танцовать во дворѣ аббатства. Первый танецъ принадлежалъ аббатиссѣ, а второй капитулу. «Если же дама-аббатисса не хочетъ или не можетъ участвовать въ танцѣ, принадлежитъ ей предоставить себѣ замѣстительницу. Также требуютъ инокини, чтобы граждане ремиремонскіе являлись на праздникъ ей въ ору-

жіи, и былъ послѣ обѣда смотръ и парадъ, и шли бы они предъ инокинями въ церковь и черезъ дворъ аббатства по разнымъ башнямъ». Въ одной изъ башенъ аббатисса предлагала ремиремонцамъ угощеніе, и они пили, любуясь какъ во дворѣ монастыря пляшутъ инокини. Во все продолженіе этого страннаго визита, въ церкви горѣла лампада, приносимая тоже ремиремонцами.

Католическое духовенство всегда отличалось умѣньемъ взять власть надъ народомъ,—гдѣ не хватало силы, хитростью, гдѣ нельзя было побѣдить предразсудка, оно поддѣлывалось подъ предразсудокъ, стараясь лишь влить въ его старые мѣхи вино новое. Миссіонеръ-іезуитъ, преклонившійся передъ Буддою, подкинувъ предварительно къ подножію кумира маленькій крестикъ—католическій типъ, живой во всѣ вѣка и во всѣхъ странахъ. Не въ состояніи воспрепятствовать троицкимъ сборищамъ народнымъ, св. Медаръ, епископъ Ніонскій задумалъ по крайней мѣрѣ облагородить ихъ, вложить въ нихъ начала нравственныя, поучительныя. Съ этою цѣлью онъ учредилъ въ Саланси особый обрядъ выдачи преміи за добродѣтель, справлявшійся ежегодно въ Троицынъ день. Это — пресловутый обрядъ «розьеры». Дѣвушку, отличавшуюся особымъ благонравіемъ въ теченіе цѣлаго года, епископъ торжественно украшалъ вѣнкомъ изъ бѣлыхъ розъ, въ награду за доброе поведеніе. Первую награду получила сестра епископа Гертруда—дѣвица, какъ гласитъ легенда, весьма страстнаго темперамента, однако, блистательно отражавшая искушенія діавольскія. Съ эпохи Людовика XIII, по почину самого короля, къ розовому вѣнку были прибавлены голубая лента и золотое кольцо. Св. Медаръ переработалъ изобрѣтенный имъ обрядъ изъ стариннаго, еще въ XIII вѣкѣ отмѣченнаго лѣтописцами права синьоровъ Саланси выбирать для себя самую красивую и добродѣтельную дѣвушку селенія. Такимъ образомъ, развратъ по праву primae noctis перешелъ въ торжество добродѣтели. До XVIII вѣка праздникъ

«розьеры» былъ привилегіею Саланси, но при Людовикѣ XV, т.-е. точно на смѣхъ, въ самый безпутный историческій періодъ Франціи, распространился по всей странѣ, проникъ даже въ Германію. Ламберъ и Делилль воспѣвали праздникъ «розьеры» стихами, Гретри написалъ на сюжетъ его оперу, музыку изъ которой долгое время пѣли при торжествѣ. Революція смела своимъ вихремъ старинный праздникъ съ лица земли повсюду кромѣ Нантерра, близъ Версали, гдѣ онъ и по-сейчасъ справляется, причемъ вѣнчаетъ «розьеру» уже не епископъ, но мэръ мѣстечка. Оффенбахъ жестоко осмѣялъ устарѣвшій обычай въ «Синей Бородѣ» и едва-ли не былъ правъ: преміи за добродѣтель совсѣмъ не къ лицу современному французскому простонародью,— героямъ «La Terre», «Жерминаль» и т. д.; гдѣ тысячами рождаются Буллоты, тамъ поздно искать Жанну д'Аркъ.

Обычай избранія молодой дѣвушки въ царицы праздника, выродившійся во Франціи въ торжество «розьеры»— въ тѣхъ или другихъ видоизмѣненіяхъ, держится повсемѣстно. Въ Англіи это — lady of the may, въ Германіи— Maibraut, у чеховъ—кралька. Въ наиболѣе чистомъ видѣ мы встрѣчаемъ обрядъ въ Малороссіи («тополя») и на Полѣсьи («кустъ»). Въ Сербіи Троицынъ день называется праздникомъ кралицъ и справляется слѣдующею церемоніей. Десять или пятнадцать дѣвушекъ, изъ которыхъ одна представляетъ знаменосца (*барякmapa*), другая краля, третья, подъ покрываломъ, королеву или (*кралицу*), четвертая ея прислужницу (*дворкиню*), съ плясками и пѣснями ходятъ по деревнѣ, останавливаясь передъ каждымъ дворомъ. Въ этихъ пѣсняхъ говорится всего больше о выборѣ невѣсты, о свадьбѣ, о счастливомъ супружествѣ, о родительскомъ счастьи; каждый стихъ сопровождается припѣвомъ «лело!» — именемъ древне-славянскаго божества любви. Въ хороводной пѣснѣ разсказывается о женскихъ божествахъ, вилахъ, пляшущихъ подъ деревомъ, о томъ, какъ *Родиша* (вѣроятно, мужское божество, такъ какъ

Лело — женское) собираетъ передъ ними росу съ цвѣтовъ и листьевъ и сватается за одну изъ вилъ (Л. Ранке). Въ Орлювской губерніи, въ Сѣвскомъ уѣздѣ, троицкій припѣвъ «Леле ми!» также сохранился; любопытно, что троицкое гулянье называется въ этой мѣстности «Троянами», напоминая, быть можетъ, о томъ таинственномъ Троянѣ, чей неясный слѣдъ, на великое мученіе миѳологовъ, мелькнулъ въ «Словѣ о полку Игоревѣ». Въ Зарайскомъ уѣздѣ выбираютъ дѣвушку въ «русалки». Въ одной рубашкѣ, съ распущенными волосами, верхомъ на кочергѣ, съ помеломъ черезъ плечо, она идетъ впереди шумной процессіи бабъ и дѣвокъ, которыя поютъ пѣсни и бьютъ въ заслонъ. Ребятишки дразнятъ русалку, пока процессія не выйдетъ изъ деревни и не приведетъ русалку ко ржамъ. Здѣсь русалка бросается въ толпу и, схвативъ первую встрѣчную женщину, принимается ее щекотать. Начинается драка и свалка; русалкѣ приходится уже защищаться, а не нападать. Наконецъ ей удается вырватъся и спрятаться въ рожь. «Теперь, кричатъ всѣ: мы русалку проводили, можно будетъ вездѣ смѣло ходить!» Толпа возвращается къ домамъ. Русалка, посидѣвъ немного въ полѣ, тоже крадется задками въ деревню. Народъ же всю ночь до самой зари гуляетъ на улицѣ (П. Шейнъ). На ржахъ справляютъ Троицынъ день и во Владимірской губерніи довольно сложною церемоніей, которая и названіе-то имѣетъ «колосокъ», причемъ «колоскомъ» избирается самая красивая дѣвочка села, изъ подростковъ лѣтъ 11—12.

Всѣ эти обряды, въ нѣкоторомъ родѣ, мистеріи, театральныя представленія на старо-языческія темы. Но во многихъ мѣстностяхъ сохранились и совершенно идольскія игрища. Таковъ обрядъ троицкой куклы въ Воронежской и Рязанской губерніяхъ; таковъ почти повсемѣстный въ среднихъ губерніяхъ Россіи обрядъ «гостейки»: молодую березку одѣваютъ въ женское платье и ставятъ въ лучшей избѣ деревни; между Семикомъ и Троицынымъ

днемъ въ ней ходятъ въ гости, величаютъ ее, а вечеромъ Троицына дня—топятъ въ рѣкѣ.

Въ очеркѣ «Неурожай и суевѣріе» было указано, какъ народъ связалъ земное плодородіе съ волею усопшихъ. Въ вешніе дни, когда все въ землѣ оживаетъ, предполагается народными повѣрьями, что и души усопшихъ на волѣ. Христіанство поддержало это убѣжденіе днемъ Св. Духа, когда, какъ и въ Семикъ, народъ привыкъ поминать своихъ родныхъ покойниковъ. Мертвецовъ, отшедшихъ въ вѣчность съ миромъ, естественною смертью, напутствованныхъ по установленному религіозному обряду, поминаетъ церковь. Но, кромѣ этихъ счастливыхъ покойниковъ, есть множество несчастныхъ. Это—души младенцевъ, умершихъ некрещеными, проклятыхъ матерями въ утробѣ или до крещенія, утопленницъ, удавленницъ и, вообще, женщинъ и дѣвицъ, самопроизвольно лишившихъ себя жизни, то-есть, вообще, души неудостоенныхъ христіанскаго погребенія. Взрослыхъ изъ этого отверженнаго сонмища народъ зоветъ, какъ сказано, русалками, младенцевъ—мавками. Троицынъ и Духовъ день — единственное время года, когда можно спасти этихъ малютокъ отъ вѣчнаго проклятія. Онѣ носятся надъ землею, вымаливая у живыхъ людей себѣ крещенія. Заслышавъ голосъ мавки, надо громко произнести обрядовую формулу: «прощаю тебя во имя Отца, Сына и Св. Духа!» и отслужить панихиду на первой недѣлѣ Петровскаго поста. Если въ теченіе семи лѣтъ мавка не дождется ни того, ни другого, она становится русалкою, проклятою безъ возврата къ спасенію.

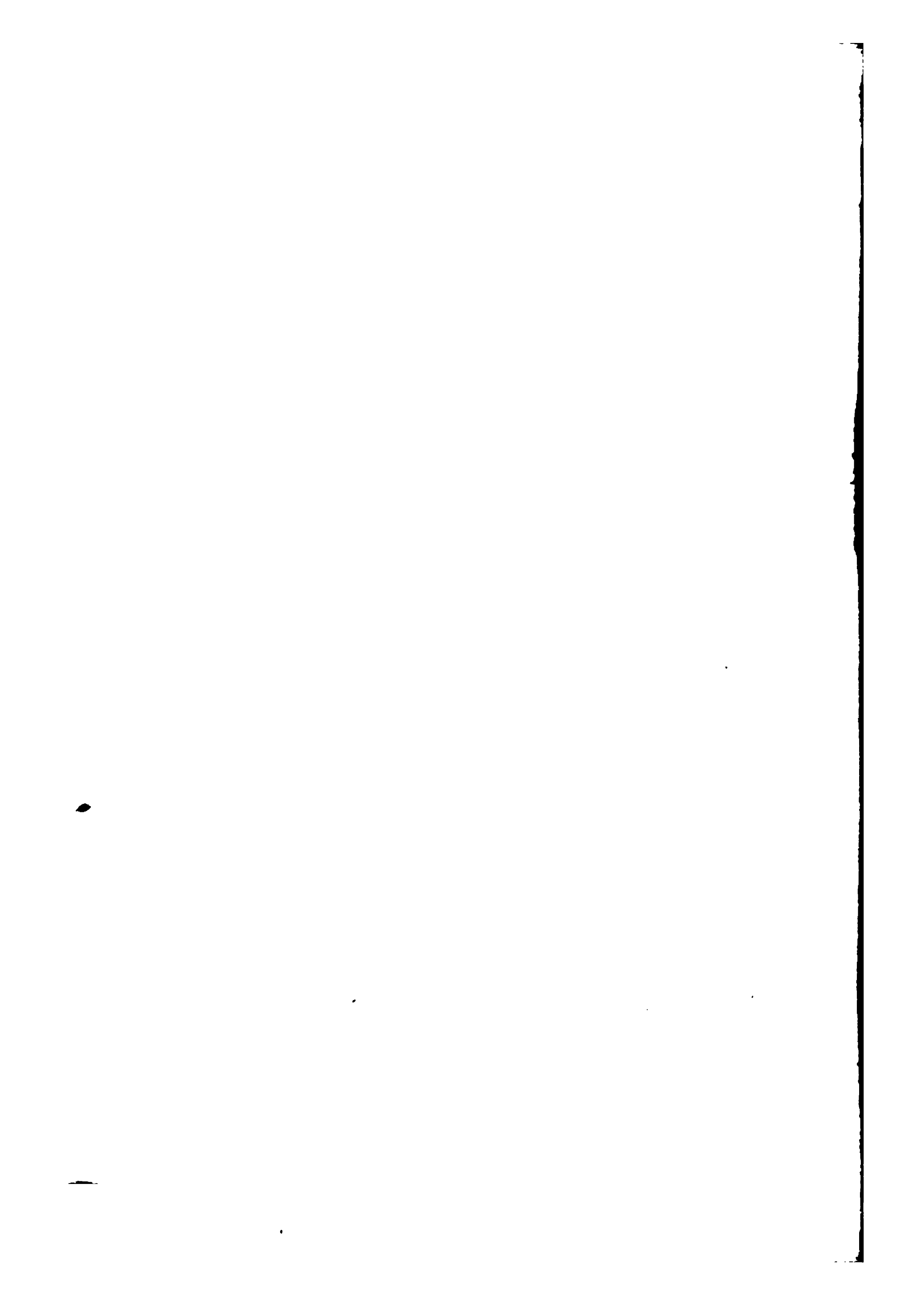
Это—повѣрье христіанское и христіанскимъ благочестіемъ комментированное. Но Афанасьевъ хорошо замѣчаетъ, что—когда не было ни христіанства, ни, слѣдовательно, христіанскаго погребенія,—то не только души погибшихъ преждевременною или насильственною смертью, но и вообще всѣ души усопшихъ, какъ предполагалось—становились русалками и мавками и, выходя весною изъ

оттаявшей земли, наполняли собою природу. Славянскій пантеизмъ не допускалъ исчезновеній души изъ міра. Отшедшая изъ людского круга, она жила близъ людей въ мотылькѣ, въ птицѣ, въ деревѣ, въ рѣчномъ туманѣ, изъ причудливыхъ клубовъ котораго родились для народной фантазіи мавки и русалки. Вешнее время—пора наибольшей чуткости ихъ къ отжитой жизни, пора, когда живой можетъ войти съ ними въ ближайшее общеніе съ особою легкостью и удобствомъ; если онъ станетъ просить ихъ,—просьба его будетъ услышана; будетъ чтить ихъ,—почетъ примется благосклонно и непосредственно. И, съ вѣрою этою, наивный язычникъ дѣйствительно, чтилъ все, что въ воскрешающей природѣ могло напомнить ему о воскрешающей душѣ, кланялся дереву, заново одѣтому въ зелень, и рядилъ его въ ленты и цвѣтныя платья; освобождалъ птицу и кормилъ ее, потому что видѣлъ въ ней прообразъ души, улетающей на волю изъ могильнаго мрака; справлялъ русалочьи праздники. Въ заблужденіяхъ его было такъ много поэзіи, они такъ соблазнительно сближали человѣка съ природою, душу его съ міровою душою, что даже забывъ содержаніе старыхъ суевѣрій, мы не могли разстаться съ ихъ формами. Эстетика превозмогла, и мы до сихъ поръ торжественно кормимъ птицъ въ Троицу, одѣваемъ дома свои зеленью, рубимъ березки, хвалимъ Дида и Ладо, хотя все это давнымъ-давно потеряло для насъ свой истинный тайный смыслъ. Привычка къ поэзіи стихійной вѣры, такимъ образомъ, оказалась сильнѣе, прочнѣе и долговѣчнѣе самой вѣры. И, какъ бы широко ни шагалъ прогрессъ, надо думать, что привычка эта будетъ жить вѣчно—до тѣхъ поръ, пока весны смѣняютъ зиму, пока въ шумѣ лѣсовъ, птичьемъ стрекотѣ, жужжаньи пчелъ и жуковъ будетъ слышаться человѣку таинственный голосъ, возвѣстившій нѣкогда Святому Оттону величественныя слова отъ имени славянскаго бога весны Яровита: «Я—твой богъ; я—тотъ, который одѣваетъ поля

муравою и листьями лѣса; въ моей власти—плоды нивъ и деревъ, приплодъ стадъ и все, что служитъ на пользу человѣка: все это я даю чтущимъ меня и отнимаю у отвергающихъ меня.



ИВАНЪ КУПАЛО.



Иванъ Купало.

Школъ миѳологическихъ много. Но, несмотря на принципіальную разность своихъ опорныхъ точекъ, едва-ли не всѣ онѣ сходятся въ мнѣніи, что народный русскій праздникъ Ивана Купалы, справляемый нашимъ отечествомъ повсемѣстно, «отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды», 23-го іюня, въ канунъ церковнаго праздника Рождества Іоанна Крестителя, представляетъ всю совокупностью своихъ обычаевъ и обрядовъ «культурное переживаніе» древле-языческаго торжества въ честь лѣтняго солнцестоянія, то есть середины лѣта, самыхъ долгихъ и теплыхъ дней въ году и затѣмъ поворота солнца на осень. Такъ какъ праздникъ таинственной ночи 23—24 іюня существуетъ у всѣхъ народовъ арійскаго происхожденія, а отчасти и у семитовъ, то сказанное вѣковое значеніе Купалы легко выясняется, даже помимо историческихъ указаній и миѳологическихъ соображеній, простымъ сравненіемъ названій торжества, въ разныхъ земляхъ, у разныхъ племенъ. Здѣсь достаточно будетъ привести самое типическое изъ нихъ, шведское: midsomar,—буквально, середина лѣта. Вадимъ Пассекъ дѣлалъ попытку перевести подобнымъ же образомъ и наше русское наименованіе Купалы. Слово *копа*, говоритъ онъ, обозначаетъ въ иныхъ случаяхъ половину; по-малорос-

сійски копа—полтина, т. е. половина рубля, коповикъ—полтинникъ; а отъ копы до Купала переходъ близкій. Филологическая натяжка эта— не безъ остроумія и, во всякомъ случаѣ не болѣе невѣроятна, чѣмъ другія, съ которыми придется мнѣ познакомить читателя ниже.

Излишне распространяться о тѣсной связи арійскихъ религій съ годовымъ кругомъ солнца: она общеизвѣстна. Календарь арійскаго язычества—полная исторія солнечнаго года. Древній Римъ чествовалъ рожденіе солнца, смерть его, воскресеніе, оба годовыя равноденствія,—и зимнее, и лѣтнее. Около 273 г. императоръ Авреліанъ спеціальнымъ эдиктомъ узаконилъ старинный праздникъ зимняго солнцестоянія, совершавшійся 25-го декабря (VIII Kal. Jan.) въ связи съ чествованіемъ Миѳры, подъ именемъ Dies Natalis Solis invicti, Рождество непобѣдимаго Солнца *). Шесть мѣсяцевъ спустя, 23-го іюня, европейскій міръ, цѣликомъ укладывавшійся тогда въ предѣлы Римской имперіи, торжествовалъ день полной возмужалости солнца, такъ сказать, его совершеннолѣтіе. Реформируя языческій календарь, побѣдоносная христіанская церковь сочла полезнымъ удержать оба дня въ своемъ обиходѣ. Свершилось это заимствованіе въ IV вѣкѣ, въ лонѣ западной церкви,—безъ всякаго, сколько-нибудь достовѣрнаго историческаго основанія, за то съ полною символическою послѣдовательностью. Торжество рожденія зримаго солнца, съ котораго начинали расти дни и сокращаться ночи замѣнилось Рождествомъ Солнца Правды, причемъ католическій тропарь праздника сохранилъ даже древнюю метафору о новомъ солнцѣ: Sol novus oritur! Торжество лѣтняго равноденствія, съ котораго начинали сокращаться дни и расти ночи, было посвящено Іоанну Крестителю, въ силу буквальнаго смысла его собственныхъ

---

*) См. статью «Рождества непобѣдимаго Солнца» въ моей «Святочной Книжкѣ», Спб. 1902 г.

словъ въ евангельскомъ текстѣ: «Ему расти, а мнѣ умаляться». (Э. Б. Тэйлоръ, первобытная культура). Въ сообщенной Ѳ. И. Буслаевымъ повѣсти XVII вѣка «О дѣвицахъ смоленскихъ, како игры творили» мы находимъ описаніе купальскаго праздника въ высшей степени любопытное по наивному смѣшенію языческаго элемента съ христіанскимъ. «Было отъ города Смоленска за 30 верстъ по Черниговской дорогѣ — случилось быть на великомъ полѣ безстудному бѣснованію. Множество дѣвъ и женъ стеклись на бѣсовское сборище, нелѣпое и скверное, въ ночь, въ которую родился Пресвѣтлое Солнце—великій Іоаннъ Креститель, первый покаянію-проповѣдникъ, его же ради вся тварь неизреченно возрадовалась. А эти окаянныя бѣсомъ научены были». Авторъ повѣсти простодушно не замѣтилъ, какъ, возставая на обрядъ идольскій, онъ цѣликомъ взялъ именно изъ обряда этого эпитетъ «пресвѣтлаго солнца», составляющій главную суть языческаго праздника, и —ничтоже сумняшеся—приложилъ къ христіанскому святому.

Чтобы свободнѣе распоряжаться съ миѳологическимъ матеріаломъ, имѣющимся по вопросу о Купалѣ, я сперва устраняю изъ него легенды и преданія христіанскаго происхожденія, какъ не основныя, но лишь примѣненныя къ первоначальному миѳу, позднѣйше наносныя. Прежде всего, къ христіанскому вліянію, конечно, относится присоединеніе къ «Купалу» имени «Иванъ», неразрывно съ нимъ во всѣхъ русскихъ краяхъ связаннаго; останавливаться на этомъ имени опять-таки нечего, ибо его достаточно уясняетъ сосѣдство солнечнаго праздника съ рождествомъ Крестителя. Въ Малороссіи набожные люди увѣряютъ, что Купалу празднуютъ въ память Иродіады,—какъ она усѣкла главу Іоанна Крестителя, бросила ее въ воду и пѣла:

Купала на Ивана!
Купався Иванъ,
Та въ воду упавъ!
Купала на Ивана!

Иродіаду зовутъ они *злою черепицею*, а празднующихъ Купалу ея послѣдователями и угодниками. Толкователи-эвгемеристы, въ стремленіяхъ подыскать миѳу непремѣнно историческое объясненіе, желали видѣть въ водныхъ и огненныхъ обрядахъ Ивановой ночи воспоминаніе о крушеніи язычества на Руси, когда пали кумиры, и Владиміръ велѣлъ иные разбить, иные передать огню, а Перуна и въ Кіевѣ, и въ Новгородѣ бросилъ въ воду. Пассекъ, въ увлеченіи такою теоріею, ставитъ даже гипотезу: не есть ли несчастная Ганна, о комъ уныло поютъ нѣкоторыя малороссійскія купальныя пѣсни, Ганна, «пріѣхавшая изъ-за Дуная»,—Анна, жена князя Владиміра, греческая царевна, свидѣтельница разрушенія идолопоклонства и введенія христіанской религіи? Привожу эту ссылку, разумѣется, лишь какъ куріозъ. Съ помощью эвгемерической теоріи, въ области народныхъ миѳовъ можно доказать какіе угодно фантастическія сближенія, указанія и намеки. Отчего, напримѣръ, не утверждать, даже и такую нелѣпость, что 23-ье іюня празднуется народомъ въ память Агриппины Младшей, матери Нерона? Какъ ни дико, а доказать возможно... День этотъ посвященъ церковью памяти св. Агриппины: сближеніе именъ. Въ простонародьѣ день св. Агриппины слыветъ подъ названіемъ Аграфены-Купальницы: не ясный ли этотъ намекъ на знаменитое покушеніе противъ Агриппины, когда Неронъ хотѣлъ утопить свою родительницу въ Неополитанскомъ заливѣ, но только выкупалъ? И, если мы вспомнимъ, что въ купальскіе обряды входитъ обыкновеніе топить въ рѣкѣ женскую куклу, то эвгемерическая аллегорія готова! Какъ дважды два четыре доказанно, что Аграфена-Купальница была римская императрица, популярность которой достигла, даже черезъ восемнадцать вѣковъ, до полтавскихъ хохловъ и заставила ихъ ежегодно оплакивать трагическую судьбу ея. А затѣмъ,—поглядимъ съ читателемъ другъ другу въ глаза и разсмѣемся, какъ авгуры!

Отрицая эвгемерическія преувеличенія, тѣмъ не менѣе нельзя не признать, что нѣкоторый намекъ на христіанское крещеніе сохранился въ суевѣріяхъ Ивановой ночи. Въ Новгородской губерніи купальскій праздникъ называется *Кокуемъ*. Вѣроятно, названіе это имѣло когда-то большое распространеніе, такъ какъ и въ Новгородской губерніи, и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи и въ Сибири разбросаны многочисленныя селенія и урочища, носящія имя Кокуя. Такъ какъ купальскій костеръ у финновъ, также справляющихъ Иванову ночь, называется *Кокко*, то Снегиревъ выводилъ Кокуй изъ этого — финскаго реченія. Откуда бы ни было заимствовано названіе, характерно, что въ мѣстномъ говорѣ тѣхъ же губерній, гдѣ оно распространено, напримѣръ въ Костромской,—*кокай* и *кока* обозначаютъ крестнаго отца и мать. Взаимодѣйствіе въ вооображеніи древняго славянина идей о Купалѣ и о Крестителѣ, который «купалъ» во Іорданѣ приходившихъ къ нему покаянниковъ, несомнѣнно помогло празднику дойти изъ глубочайшей древности языческой черезъ многіе христіанскіе вѣка до нашего времени. Сосудъ для обряда крещенія, по-русски именуется купелью, т. е. въ чемъ купаютъ; а Евангеліе зоветъ купельями также пруды и цѣлебные источники: Овчая купель, купель Силоманская. Креститель сталъ Купалою, по той же ассоціаціи идей, по той же многозначительной миѳологической игрѣ словъ, по которой русскій мужикъ начинаетъ сѣять *хлѣбъ* на Бориса и *Глѣба* (2 мая), собираетъ *макъ* на *Макавѣевъ* (1 августа) и не работаетъ въ день обновленія *Цареграда* (11 мая) изъ опасенія чтобы *царь-градъ*, за непочтеніе къ его празднику, не выбилъ посѣяннаго на поляхъ хлѣба. Такія сближенія испытываетъ не одинъ нашъ, но и католическій календарь. Западъ считаетъ патрономъ стрѣлковъ св. Себастіана, потому что онъ былъ разстрѣлянъ стрѣлами, св. Вита—цѣлителемъ сумасшествія и нервной болѣзни, носящей его имя, и чтитъ св. Фіакра, чье имя, съ XVII вѣка, носятъ извозчичьи экипажи, по-

ставленные подъ его покровительство. Что касается до историческихъ указаній и легендъ о столкновеніи, якобы, христіанства съ культомъ Купалы, то, въ огромномъ большинствѣ, они—позднѣйшаго происхожденія и должны быть отнесены къ разряду тѣхъ миѳовъ, которые Тэйлоръ называетъ философскими, то-есть созданныхъ искуственно, по гадательному предположенію, съ цѣлью объяснить имя, повѣрье, событіе, что за давностью времени или по скудости свѣдѣній о нихъ, утратили значеніе, обезсмыслились. Въ Переяславлѣ Залѣсскомъ есть древняя икона Владимірской Божіей Матери, слывущая въ народѣ Купальницею. Легенда объясняетъ это названіе нижеслѣдующимъ миѳомъ искусственнаго книжнаго происхожденія. Въ Переяславлѣ народъ покланяется, будто бы, идолу Купалу. Когда Владиміръ внесъ христіанскую вѣру, переяславцы хотѣли все-таки продолжать свое языческое поклоненіе. Но Владиміръ прислалъ къ нимъ икону Пресвятой Богоматери и тѣмъ удалилъ ихъ отъ кумира. Потому и празднуютъ ей наканунѣ того дня, какъ праздновали Купалу.

Разставшись съ христіанскими наслоеніями и воздѣйствіями на праздникъ Купалы, мы погружаемся, такъ сказать, въ пучину неизвѣстности, неопредѣленныхъ догадокъ и предположеній. Мы не можемъ даже утверждать съ полною достовѣрностью, какой смыслъ, въ точности, содержитъ въ себѣ самое имя Купалы. Одни считаютъ Купалу забытымъ божествомъ, другіе—парою божествъ, третьи — прозвищемъ божества, четвертые — его идоломъ, пятые—именемъ праздника и т. д. «Купало», гласитъ Густинская лѣтопись, «яко же мною, бяше богъ обилія якоже у еллинъ Цересъ, ему же безумными за обиліе благодареніе приношаху въ то время, егда имяше настати жатва. Сему Купалу-бѣсу еще и до нынѣ въ нѣкоихъ странахъ безумныи память совершаютъ». Построенное на текстѣ этомъ предположеніе Карамзина, что Купало былъ у предковъ нашихъ самостоятельнымъ членомъ ихъ темнаго

Олимпа—«богомъ земныхъ плодовъ», въ настоящее время отвергнуто. Ѳ. И. Буслаевъ филологическимъ путемъ достигъ вывода, что Купало есть то же самое вакхическое божество солнечнаго свѣта, тепла, урожая, плотской любви, которое предки наши чествовали подъ именемъ Ярилы, чей яркій, роскошный культъ такъ красиво передалъ А. Н. Островскій въ прелестной своей «Снѣгурочкѣ». Буслаевъ производитъ Купалу не отъ глагола купать, какъ дѣлаютъ Н. И. Костомаровъ, Воцель и вслѣдъ за ними новѣйшій изслѣдователь старо-русскихъ солнечныхъ миѳовъ, М. Е. Соколовъ, но непосредственно отъ корня *куп*, совмѣщающаго въ себѣ тѣ же понятія, что и корни *яръ* и *буй*. Во-первыхъ, говоритъ онъ, *куп* имѣетъ значеніе бѣлаго, яраго, а также буйнаго, въ смыслѣ роскошно-растущаго, откуда въ нашемъ языкѣ употребительны: купавый—бѣлый, купава — бѣлый цвѣтокъ, купавка — цвѣточная почка; отсюда же кипѣть, кипень—въ значеніи бѣлой накипи и вообще бѣлизны: бѣлъ, какъ кипень. Во-вторыхъ, въ санскритѣ кир—блистать, яриться, гнѣваться, горячиться, страстно желать, похотѣть, откуда латинское cupio. Въ соображеніи всѣхъ этихъ данныхъ, а также лѣтописныхъ сказаній о сладострастномъ характерѣ игрищъ купальскихъ, однородныхъ съ ярилиными, можно не безъ основательности предположить въ Купалѣ второе прозвище Ярилы; послѣдній же тоже, самъ по себѣ, не богъ, но лишь ласкательное, шутливое имя божества. Приведу кстати и другія филологическія объясненія Купалы. Выводятъ слово это отъ польскаго купа, а русскаго —*копна*, куча хвороста, зажигаемаго въ ночь на 24 іюня. Выводятъ отъ *копанья* кореньевъ и кладовъ. Выводятъ отъ индійскаго Купала, что значитъ покаянникъ, и даже отъ греко-финикійской Кибелы, матери боговъ. На меня лично, признаюсь, всѣ эти выводы производятъ впечатлѣніе натяжекъ, въ родѣ той, что въ извѣстномъ анекдотѣ помогла профессору сравнительнаго языковѣдѣнія произвести нѣ-

мецкую лисицу Fuchs отъ греческой alopex. Отбрось а, говоритъ онъ, останется lopex, отбрось l— останется орех, отбрось о—будетъ—рех... Рех-рix-рах-рох-рux и очень просто получается Fuchs! Костомаровское мнѣніе,—Купало, потому что купаетъ или самъ купается,—въ немудрствующей лукаво простотѣ своей кажется, по здравому смыслу, много ближе къ истинѣ. У вотяковъ купалъ значитъ праздникъ: тулшъ—купалъ, кереметь—купалъ и т. п. Даль предполагаетъ, что вотяки сошлись въ этомъ словѣ лишь случайнымъ созвучіемъ, но вѣрнѣе будетъ предположить, что вотяцкій руссицизмъ заимствованъ дикарями при колонизаціи края и представляетъ собою переносъ представленія объ одномъ русскомъ праздникѣ, наиболѣе поразившимъ воображеніе туземцевъ, на всѣ праздники вообще.

Прозвище ли божества, названіе ли праздника, Купало,—въ сущности говоря, вопросъ интересный лишь наукѣ для науки: поэтому я въ разсмотрѣніе его входить не буду. Для насъ важно разсмотрѣть остатки древняго стихійнаго культа, сгруппированные около этого солнечнаго праздника, а отнюдь не утраченный изъ памяти людской внѣшній импульсъ къ нему. Остатками сказаннаго культа являются въ Иванову ночь—обычай купальскихъ огней, исканіе кладовъ и цѣлебныхъ травъ, вѣра въ возможность близкаго общенія со злыми духами и умершими, обрядъ купанья въ росѣ или въ ручьяхъ лѣсныхъ и рѣчкахъ и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ заключительный аккордъ торжества: обыкновеніе топить идола Купалы, именуемаго также гдѣ Марепою, а гдѣ Кукушкою. Послѣднее названіе вторично сближаетъ Купалу съ Кукуемъ, а, слѣдовательно, и съ идеей крещенія. Быть можетъ, не лишнее припомнить при этомъ и обрядъ крещенія кукушки, справляемый во многихъ мѣстностяхъ какъ великорусскихъ и малорусскихъ, такъ и въ другихъ земляхъ во время майскихъ русалій въ семикъ. Въ Румыніи праздникъ Кукушекъ чествуется, приблизительно,

около Купалина дня. Дѣвушки уединяются въ рощи и проводятъ тамъ время до глубокой ночи въ бесѣдѣ съ кукушками, поютъ имъ пѣсни, состоящія большею частью изъ разныхъ вопросовъ, и по отвѣтамъ вѣщихъ крылатыхъ гадаютъ о будущемъ. По свидѣтельству старинной польской хроники Прокоша, въ кукушкѣ чествовалась богиня Жива, т.-е. дающая жизнь, почему голосъ ея и по сіе время принимается народнымъ повѣріемъ за предвѣщаніе столькихъ лѣтъ жизни, сколько разъ крикнетъ птица. «Думали, что высочайшій владыка вселенной превращался въ кукушку и самъ предвѣщалъ продолженіе жизни; поэтому убіеніе кукушки вмѣнялось въ преступленіе и преслѣдовалось отъ правительства уголовнымъ наказаніемъ». Воплощеніе солнечнаго божества въ кукушку знакомо не однимъ славянамъ: о немъ говорятъ и Гезіодъ и Гомеръ; Зевсъ превратился въ кукушку, чтобы обольстить Геру. По всей вѣроятности, посвященіе кукушки верховному божеству, т.-е. солнцу, было сдѣлано инстинктомъ народнымъ по той примѣтѣ, что птица эта кричитъ съ ранней весны, т.-е. съ первой побѣды солнца надъ зимою, до равноденствія, т.-е. до возмужалости солнца,—слѣдовательно, въ самый блистательный періодъ его дѣятельности, — и перестаетъ кричать, когда солнце совершивъ перевалъ черезъ середину лѣта, склоняется на осеннюю убыль. «Не кукуется кукушкѣ за Петровъ день!» А другая народная примѣта говоритъ, что «кукушка ржанымъ колосомъ давится», т.-е. перестаетъ пѣть, когда выколосится и зацвѣтетъ рожь, что въ нашей велико-русской полосѣ приходится на послѣднія числа мая или, при позднемъ теплѣ, на начало іюня. Чтобы покончить съ кукуемъ и кукушками, отмѣчу еще и слѣдующее. По «Толковому Словарю» Даля, прямое значеніе слова кокуй—кокошникъ: народный головной уборъ русскихъ женщинъ, въ видѣ опахала или округлаго щита вкругъ головы; это легонькій вѣеръ изъ толстой бумаги,

пришитый къ шапочкѣ или волоснику. «Вотъ тебѣ кокуй, съ нимъ и ликуй!» говорятъ новобрачной молодухѣ. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что въ сѣдой старинѣ кокуй былъ не постояннымъ, но обрядовымъ, праздничнымъ головнымъ уборомъ Купалиной ночи, подорно тому, какъ хохлушки, на этотъ случай, наряжаются и сейчасъ еще въ огромные вѣнки, закрывающіе лицо почти до половины. Полукруглый, лучеобразный кокуй могъ надѣваться въ честь празднуемаго солнца, которое, кстати, и само, по русскому повѣрью, разсказанному Сахаровымъ, въ день Ивана Купалы выѣзжаетъ на небо въ колесницѣ, запряженной серебряннымъ, золотымъ и алмазнымъ конями, одѣтое въ праздничный сарафанъ и *кокошникъ*. Не противорѣчитъ такому предположенію и вышеприведенная пословица—формула обращенія къ новобрачнымъ. День Купалы, какъ и всѣ весенніе и лѣтніе праздники, день любовнаго парованья,—одинъ изъ тѣхъ, когда, по негодованію лѣтописцевъ, безбрачные славяне «собирались на игры у водныхъ источниковъ, между селъ; тутъ они играли, плясали занимались вообще бѣсовскими потѣхами и отсюда уводили себѣ въ жены — съ какою кто сладился». Шекспиръ въ «Снѣ въ лѣтнюю ночь» и Островскій въ «Снѣгурочкѣ» поэтизировали этотъ вольный бракъ доисторической Европы. Покрытіе уже головы почти у всѣхъ народовъ обозначало приглашеніе къ браку и плотскому общенію, чтобы, затѣмъ, отличать женщину отъ дѣвственницы, начиная еще отъ жрицъ Астарты и библейской Ѳамари.

Основываясь на томъ, что въ повѣрьяхъ народныхъ и пѣсняхъ Купальскихъ имя Купалы встрѣчается и въ мужской, и въ женской формѣ, все равно, какъ сказки изображаютъ намъ солнце то мужчиною, то женщиною, то царевичемъ, то царевною,—иные миѳологи совѣтуютъ раздѣлять купальское торжество на два празднества или, вѣрнѣе сказать, на два момента въ одномъ празднествѣ. Пер-

вый посвященъ женскому божеству—Купалѣ, въ христіанствѣ слившемуся съ Аграфеной Купальницею и чествованіемъ Владимірской Иконы Божіей Матери, второй—Купалу, въ христіанствѣ соединенному съ Іоанномъ Предтечею. При этомъ, оба имени признаются за несобственныя имена, т. е. за эпитеты весны и солнца, заимствованные изъ обычая купанія въ рѣкахъ, источникахъ и росахъ. По-сербски, купало прямо значитъ купальня. Что купанье было заключительнымъ обрядомъ ритуала Ивановой ночи, свидѣтельствуетъ среди десятковъ указаній, между прочимъ, и Стоглавъ: «И егда мимо нощь ходитъ, тогда отходятъ къ рѣкѣ съ великимъ кричаніемъ, аки бѣсни и умываются водою». Обычай мыться купальскою росою распространенъ и за предѣлы славянскаго міра. Вотъ какъ проходитъ Иванова ночь въ Италіи, близъ Генуи: наканунѣ дѣти и дѣвушки собираютъ дрова и, сложивши ихъ у церкви, зажигаютъ костры, пекутъ лукъ и ѣдятъ его, для предохраненія себя на цѣлый годъ отъ лихорадки, поютъ и пляшутъ. А на разсвѣтѣ въ самый Ивановъ день, раздѣвшись, катаются по росѣ, для излѣченія нѣкоторыхъ болѣзней, и потомъ идутъ собирать цѣлебные цвѣты, травы и какой-то цвѣтокъ, съ которымъ можно дѣлать чудеса. То же самое, за исключеніемъ печенаго лука, и въ Даніи, и въ Бельгіи, и въ Англіи. Если мы вспомнимъ, что, по представленію дикаря, роса не поднимается паромъ изъ земли, но падаетъ съ неба, а небо въ этотъ день въ особенности свято, благодаря празднику солнца, то естественно вѣрить тому же дикарю, что частица святой силы переливается и въ нисходящую на землю росу, а черезъ нее передается полевымъ цвѣтамъ и травамъ. Древне-русскіе травники и лѣчебники рекомендуютъ ночь на Ивана-Купала лучшимъ временемъ для сбора цѣлебныхъ травъ, цвѣтовъ и кореній; они только тогда-де и оказываютъ дѣйствительную помощь, когда будутъ сорваны въ Иванову ночь, или на утренней зарѣ Иванова дня—прежде чѣмъ обсохнетъ на нихъ роса. Такъ

что первоначальная чудотворность лѣкарственныхъ зелій приписывается не имъ самимъ, но небесному, т. е. солпечному благословенію въ покрывающей ихъ росѣ. По уклоненіи отъ такого представленія,—когда аріецъ забылъ и объ «амритѣ» брамановъ, каплющей съ вѣтвей предвѣчнаго небеснаго древа миѳологіи индусской, и о ручьяхъ у корня небеснаго ясеня Игдразиля миѳологіи скандинавской, и о амврозіи эллинской миѳологіи, и о живой и мертвой водѣ славянскихъ сказокъ—о всѣхъ этихъ символахъ животворящей и плодотворящей небесной влаги,—возникло суевѣріе, что чудеса творить не роса уже, но особые соки и силы, зрѣющіе въ растеніяхъ только въ эту достопамятную ночь. Возникли сказанія о таинственныхъ цвѣтахъ и травахъ, распускающихся и растущихъ лишь подъ чарами Купалы. Такова перелетъ-трава, дарующая способность по произволу переноситься за тридевять земель въ тридесятое царство; цвѣтъ ея сіяетъ радужными красками и ночью въ полетѣ своемъ онъ кажется падучею звѣздочкою. Таковы спрыгъ-трава, разрывъ-трава, расковникъ сербовъ Springwurzel нѣмцевъ, sferracavallo итальянцевъ, разбивающія самые крѣпкіе замки и запоры. Такова плакунъ-трава, гроза вѣдьмъ, бѣсовъ, привидѣній, ростущая на «обидящемъ мѣстѣ», т.-е.—гдѣ была пролита неповинная кровь, и равносильные ей чертополохъ, прострѣлъ-трава и одолень-трава (бѣлая купава, нимфэя). Таковъ объединяющій въ себѣ силы всѣхъ этихъ травъ жаръ-цвѣтъ, огненный цвѣтъ,—цвѣтокъ папоротника: самый популярный изъ миѳовъ Ивановой ночи.

При всей осторожности, съ какою надо принимать остроумныя, но слишкомъ односторонніяя изысканія главнѣйшаго представителя стихійной школы въ русской миѳологической наукѣ А. Н. Афанасьева, при всей завѣдомой слабости его сводить каждый миѳъ, каждый обрядъ, каждую легенду къ излюбленному имъ «перуническому» культу бога-громовника, нельзя не признать его объясненіе ге-

нераціи сказочныхъ цвѣтовъ въ фантазіи народной весьма находчивымъ и правдоподобнымъ. Повѣрье о цвѣтѣ папоротника, по мнѣнію Афанасьева, возникло изъ поэтической метафоры, которою предки наши изображали тучу—древомъ, а молнію—цвѣтомъ ея. Записанная П. В. Кирѣевскимъ сказка о Правдѣ и Кривдѣ заставляетъ чертенка похваляться: «Я напустилъ семьдесятъ чертенятъ на одну царскую дочь; они сосутъ ей груди каждую ночь. А вылѣчитъ ее тотъ, кто сорветъ жаръ-цвѣтъ!—Это такой цвѣтъ, который когда цвѣтетъ—море колыхается, а ночь бываетъ яснѣе дня; черти его боятся». Но—едва развернется дивный цвѣтокъ во всей своей красѣ, какъ тотчасъ же увядаетъ; лепестки его осыпаются и бываютъ расхватаны нечистыми духами. Если присоединить къ этимъ подробностямъ суевѣрныя описанія разрывъ-травы, разрушающей ворота замковъ, двери подземелій, твердыни скалъ,—нельзя не согласиться, что тогда изъ трехъ приведенныхъ отрывковъ слагается весьма подробно красивое поэтическое изображеніе громового удара, разрывающаго тучи яркою молніею. Купальныя травы даютъ человѣку, умѣвшему ими овладѣть, всевидѣніе, способность быть невидимкою, прозирать клады въ нѣдрахъ земли, побѣдоносно гнать отъ себя демоновъ и т. п.—все тѣ же качества, что приписываются грому и молніи. По нѣмецкому повѣрью, золото въ землѣ зарождается отъ громовыхъ ударовъ. То же самое повѣрье Андрей Печерскій (П. И. Мельниковъ) записалъ на Ветлугѣ. У хорватовъ жаръ-цвѣтъ папоротника прямо называется Переново цветіе, т.-е. Громовый, Перуновъ цвѣтокъ. Пассекъ приводитъ, съ попытками къ эвгемерическому объясненію, въ высшей степени древнюю, несомнѣнно мистическую пѣсню, распѣваемую подъ ночь Купалы въ Малороссіи.

Посію я рожу, поставлю сторожу,
Стороною дощикъ иде, стороною
(послѣ каждаго стиха).
Не певна сторожа, выломана рожа.

Выйшло на рожи три мисяца ясныхъ,
Три мисяца ясныхъ, три молодца красныхъ.
(Слѣдуютъ имена).
Выйшло на рожи три зирочки ясныхъ,
Три зирочки ясныхъ, три дивочки красныхъ.
(Слѣдуютъ имена).
Стороною дощикъ иде, стороною
Надъ моею рожею червоною.

Что это за красная роза, подъ дождемъ, сломанная, неустереженная слабымъ карауломъ? роза, надъ которою сіяютъ мѣсяцы — парубки и звѣзды — дивчата? Пассекъ относитъ пѣсню къ судьбамъ той Ганны, въ которой видитъ онъ жену Владиміра, но пѣсня станетъ гораздо понятнѣе, если мы сблизимъ ее съ сербскими и червонорусскими сказками о громовой розѣ:

Красная роза горѣла,
Подъ ней бѣлая дѣвка сидѣла,
Въ рѣшетѣ воду носила,
Красную розу гасила,—

то-есть сѣяла дождь и тѣмъ прекращала грозу... Сербы самый конецъ свѣта связываютъ съ существованіемъ гдѣ-то въ преисподней столиственной розы. Корнями своими она связываетъ страшнаго звѣря: живой огонь. Цвѣтъ розы таитъ въ себѣ молніи и громы. Если бы кто сорвалъ цвѣтокъ, страшная гроза, уничтожила бы землю и все, что подъ нею и надъ нею. Уцѣлѣла бы одна роза, но прошло бы два вѣка раньше, чѣмъ возлѣ нея выросла новая земля и опять расплодилось людское племя. Эта громовая роза и жаръ-цвѣтъ купальской ночи — близкіе родственники. Искатели цвѣтущихъ папоротниковъ, конечно, и не воображаютъ, что, въ сущности, они ищутъ молніи, свалившейся на землю, подъ метафорою летающаго, «парящаго» цвѣтка (папоротникъ — парить — перо имѣютъ одинъ корень, — таково, по крайней мѣрѣ, мнѣніе Шафарика). Если мы вспомнимъ, что народъ относится съ глубокимъ суевѣрнымъ почтеніемъ къ такъ называемымъ «громовымъ стрѣламъ», дорожитъ ими, какъ священными, употребляетъ ихъ, какъ лѣкарство противъ болѣзней и дурного глаза, —

то пристрастіе къ, такъ сказать, окаменѣвшей, воплощенной въ скипѣвшемъ пескѣ молніи, объяснитъ намъ, почему славянскій дикарь и не считалъ невозможнымъ, и жаждалъ захватить во власть свою молнію еще въ дѣйствіи ея, еще въ первой ея матеріализаціи, «не въ плодѣ, а въ цвѣтѣ». Многіе инородцы считаютъ громовыя стрѣлки, дѣйствительно, стрѣлами, которыми верховное божество поражаетъ демоновъ, т.-е. приписываютъ имъ то же самое дѣйствіе, какъ и молніеносному папоротному цвѣту. Гёте, рѣдкій и проникновенный знатокъ народныхъ повѣрій Германіи, недаромъ въ финалѣ второй части «Фауста», заставилъ своего Мефистофеля корчиться подъ дождемъ пламенныхъ розъ, бросаемыхъ на него ангельскимъ хоромъ.

Перуническій элементъ, врывающійся въ солнечное празднество Купалы, въ образѣ молніеноснаго цвѣтка, увлекъ Афанасьева къ предположенію, что Купала былъ столько же праздникомъ грома, сколько солнца. Костры и купанья Ивановой ночи онъ съ страшною натяжкою пытается истолковать, какъ символъ того, что «богъ-громовникъ *кипятитъ* (см. выше буслаевскую лингвистику) въ грозовомъ пламени дождевую воду, *купаетъ* въ ея ливняхъ небо и землю, и тѣмъ самымъ даруетъ послѣдней силу плодородія». Отсюда является, будто бы, и двойственность праздника Купалы, съ его мужскимъ и женскимъ началомъ. Купало и Купала, это —Перунъ-оплодотворитель (Ярило) и Лада, богиня просвѣтленнаго солнца и лѣтнихъ грозъ, сходятся въ супружескую чету и купаются въ дождевыхъ потокахъ, на небесной горѣ, при чемъ первый потрясаетъ землю громовыми ударами, а вторая раститъ травы на поляхъ. Все это Афанасьевъ выводитъ изъ бѣлорусской пѣсенки, которую поютъ у купальскихъ костровъ:

Иванъ да Марья
На горѣ купались;
Гдѣ Иванъ купался,
Берегъ колыхался;
Гдѣ Марья купалась—
Трава разстилалась!

Ни о Перунѣ, ни о Ладѣ, какъ читатель видитъ, здѣсь нѣтъ ни одного слова. Но такъ какъ предполагаемый Перунъ-Купало смѣшивается съ Иваномъ Крестителемъ, а Богородица у сербовъ часто является въ пѣсняхъ подъ именемъ «огняной Маріи», «молніеносной» и даже просто «молніи», то этого достаточно для главы русской стихійной школы, чтобы, подставивъ вмѣсто Ивана и Маріи Перуна и Ладу, получить вышеприведенную миѳологическую формулу. М. Е. Соколовъ, съ гораздо меньшими усиліями, склоняетъ читателя къ мнѣнію, что двойственность праздника обусловливается вовсе не вмѣшательствомъ въ него громового культа, но сочетаніе Купала—солнца съ Купалою—богинею весны, тою самою Лялею или Ладою, которую Афанасьеву желательно выдать замужъ непремѣнно за Перуна. Такъ какъ брачное пиршество боговъ подаетъ людямъ примѣръ любиться и множиться, то купальскія празднества отличались у древнихъ славянъ яркимъ вакхическимъ колоритомъ, широкимъ, безудержнымъ разгуломъ. Въ Малороссіи праздникъ Рождества Предтечи называется даже по-просту Иваномъ Гулящимъ. Тайна любви боговъ дала новый оттѣнокъ миѳу о жаръ-цвѣтѣ.

Чарующею силою пурпурнаго цвѣтка, сорваннаго въ Иванову ночь, Оберонъ у Шекспира влюбляетъ Титанію въ человѣка съ ослиною головою; волшебный вѣнокъ изъ купальскихъ цвѣтовъ, надѣтый матерью-Весною на голову Снѣгурочки, отдаетъ «холодное мороза нарожденье» во власть страстно любящему ее Мизгирю. Чары Купала—чары любви. «Гой еси ты государь сатана! — читаемъ мы въ любовномъ заговорѣ 1769 года; — пошли ко мнѣ на помощь рабу своему часть бѣсовъ и дьяволовъ... *Купалолака* съ огнями горящими и съ пламенемъ палящимъ и съ ключами кипучими, и чтобъ они шли къ рабицѣ дѣвицѣ и зажигали-бъ они по моему молодецкому слову ея душу и тѣло и буйную голову и т. д.». Таинственный Купалолака является здѣсь въ полной обстановкѣ Купальской ночи,

изъ мрака которой старинный богъ вынырнулъ уже въ званіи чорта: при палящихъ огняхъ, при кипучихъ ключахъ. Не особенно трудно предположить, что Купалолака есть просто испорченное писцомъ сочетаніе двухъ словъ Купала Лада.

> Въ заповѣдномъ лѣсу
> Къ разсвѣту дня сойдутся Берендѣи.
> Велимъ собрать, что есть въ моемъ народѣ,
> Дѣвицъ-невѣстъ и парней-жениховъ
> И всѣхъ заразъ союзомъ неразрывнымъ
> Соединимъ, лишь только солнце брызнетъ
> Румяными лучами по зеленымъ
> Верхамъ деревъ. И пусть тогда сольются
> Въ единый кличъ привѣтъ на встрѣчу солнцу
> И брачная торжественная пѣснь.

Въ такой формѣ подсказало А. Н. Островскому художественное чутье—часто болѣе проникновенное, чѣмъ самое старательное научное изслѣдованіе—секретъ Ярилина, а такъ какъ Купало и Ярило едва ли не одно и то же божество, подъ разными кличками, то читай и Купалина дня. Праздникъ брачущихся людей и боговъ: свадьба Плодотворителя-Солнца съ Весною, то-есть съ расцвѣтшею землею,—Ладою, Лялею и подъ какими бы именами еще она ни встрѣчалась. Тогда и купанье ихъ пріобрѣтаетъ вполнѣ ясный смыслъ, какъ и утреннее купанье лицъ, отпраздновавшихъ священную ночь па лѣсной гулянкѣ. Это—та предсвадебная и послѣсвадебная баня, что до сихъ поръ играетъ столь важную роль въ простонародномъ русскомъ свадебномъ обрядѣ; у нея свой культъ, свои пѣсни, невѣсту ведутъ въ нее торжественно, съ причитаніями,—точь-въ-точь, какъ сопровождаютъ къ рѣкѣ чучело Купалы, Марены, Русалки или Кукушки. Что обычай свадебной бани приписывается народомъ и стихійнымъ духамъ, прежнимъ божествамъ своимъ, видно изъ повѣрья о лѣшихъ. На переходѣ отъ весны къ лѣту, въ пору быстро набѣгающихъ, шумныхъ, красивыхъ грозъ, бурныхъ вихрей и наводненій, лѣсные и водяные духи справляютъ свои свадьбы, сопро-

вождаемыя буйнымъ весельемъ. Разгуломъ нечистой силы на брачныхъ пиршествахъ крестьяне объясняютъ несчастія отъ весеннихъ циклоновъ; водяные ломаютъ мельницы, лѣшіе разметываютъ овины, клади, валятъ деревья. Если мужика, при ясномъ небѣ, обольетъ сильный дождь изъ налетѣвшей «шальной» тучки, — что называется, дождь сквозь солнце, грибной дождикъ, — онъ склоненъ думать, что шелъ мимо бани, гдѣ новобрачный лѣшій парился со своею молодою женою и, разсердясь на прохожаго, окатилъ его водою изъ шайки, съ головы до ногъ.

То же художественное чутье помогло Островскому рѣзко отграничить въ двойственномъ праздникѣ Купалы, небесный элементъ отъ земного, мужской отъ женскаго, Солнце отъ Весны-Красны. Купалинъ день — послѣдній день царства Весны и первый день лѣта. Весна отбыла свой срокъ и умираетъ, а солнце, изъ плодотворящаго супруга ея Купала, вступаетъ въ новый фазисъ своего бытія, становится палящимъ, могучимъ Ярилою. Древніе славяне хоронили Масляницу, Зиму, хоронили русалокъ, осенью, въ знакъ убыли солнечнаго тепла и конца лѣта, хоронили мухъ, букашекъ и таракановъ, въ гробахъ изъ рѣпы, свеклы, моркови, — естественно было хоронить и умершую Ладу-Весну, эту своего рода Снѣгурочку, растаявшую въ пламенныхъ объятіяхъ супруга-Солнца. Съ разсвѣтомъ дня, женскую куклу Купалы, или зеленое деревцо, служившее ея символомъ, бросаютъ въ воду, возвращая весну той стихіи, изъ которой она и вышла два мѣсяца назадъ, съ первыми оттепелями, въ апрѣльскомъ таяніи снѣговъ. Утопленная весна не исчезаетъ, она разливается въ природѣ. Это пантеистическое воззрѣніе сказывается во многихъ пѣсняхъ, но нигдѣ — съ большею ясностью, чѣмъ въ той же малороссійской Ганнѣ, что, какъ видѣли мы раньше, смутило Вадима Пассека на эвгемерическія догадки. Пѣсня эта, исполняемая непосредственно послѣ утопленія весны, ярко изображаетъ

даже послѣдовательность, въ какой изчезнувшая богиня проникаетъ поглотившую ее природу.

Якъ пишла Ганна въ Дунай по воду
И ступила Ганна на хитку клатку,
Ганна моя панна,
Ягода моя червонная! (припѣвъ послѣ каждыхъ двухъ стиховъ)
Кладка схитнулась, Ганна втонула;
Якъ потопала, тричи зринала.
Не берите, люди, у Дунаи воды—
Въ Дунаи воды Ганнины слезы.
Не ловите, люди, у Дунаи щуки,
Въ Дунаи щуки Ганнины руки.
Не ловите, люди, у Дунаи сомивъ,
У Дунаи сомы Ганнины ноги.
Не ломайте, люди, по лугамъ калины,—
По лугамъ калина Ганнина краса
Не рвите, люди, по лугамъ терну,—
У лузи теренъ Ганнины очи.
Не косите, люди, по лугамъ травы,—
По лугамъ трава—Ганнина коса.
Ганна моя панна,
Моя ягода червоная!

Названіе Марены, т.-е. богини смерти, странно прилагаемое въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ къ женскому божеству Купалина празднества, можетъ быть легко уяснено тѣмъ обстоятельствомъ, что въ началѣ весны древніе славяне-язычники, дѣйствительно, топили чучело Марены, смерти, цѣпенящей міръ зимы; впослѣдствіи, когда, съ христіанствомъ, и количество стихійныхъ праздниковъ сократилось, и значеніе ихъ стало затемняться,—сходственность обрядовъ при проводахъ умирающей зимы и умирающей весны смѣшала понятія и заставила перенести на вторую имя первой.

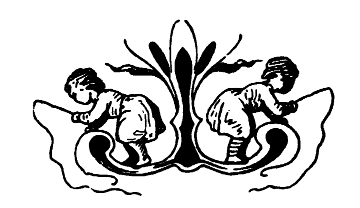
Нѣкоторые, исходя изъ санскритскаго «купало»—покаянникъ, хотятъ видѣть въ купалиномъ торжествѣ древній арійскій праздникъ очищенія огнемъ и водою, свершаемый въ Индостанѣ приблизительно въ тѣхъ же числахъ іюня (Снегиревъ). Люди прыгаютъ черезъ костры съ тою же очистительною цѣлью, съ какою татарскіе ханы

заставляли проходить чрезъ огонь князей русскихъ, пріѣзжавшихъ въ орду на поклонъ. Это не невѣроятно,—особенно, если сообразить, что огненное крещеніе купальскимъ огнемъ предшествуетъ купанью въ росахъ и рѣкахъ, только-что освященныхъ нисшествіемъ божественной силы. Чтобы удостоиться купанья въ святой водѣ, тѣло должно быть очищено отъ накопившейся на немъ скверны. Это сознаніе и въ христіанствѣ удержалось. Наши паломники въ Палестинѣ, исполняя священный обрядъ купанія во Іорданѣ, входятъ въ воду въ сорочкахъ считая грѣхомъ сквернить воды, омывшія нѣкогда Христа Спасителя нагимъ тѣломъ. Насколько старо такое обыкновеніе, свидѣтельствуетъ былина о Васькѣ Буслаевѣ. Богатырь, какъ извѣстно, не вѣровалъ ни въ чохъ,—не повѣровалъ онъ и вѣщей женѣ, предостерегавшей его отъ купанья нагимъ тѣломъ въ Іорданѣ-рѣкѣ. За то и сложилъ онъ вскорѣ свою голову, запнувшись за камень на Ѳаворъ-горѣ.

Наиболѣе характерный изъ огненныхъ обрядовъ,—когда-то, вѣроятно, повсемѣстный, а теперь уцѣлѣвшій лишь у немногихъ славянскихъ племенъ и кое-гдѣ въ Германіи,—состоялъ въ скатываніи съ горы въ воду обмазаннаго смолою и зажженнаго колеса: символъ, что солнце отнынѣ пойдетъ подъ гору. Символъ, дѣйствительно, вышедшій изъ глубочайшей, едва ли еще не ведійской древности. Что солнце въ Ивановъ денъ ликуетъ на восходѣ, какъ именинникъ,—почти всеобщее славянское повѣрье; мы видимъ его у болгаръ, поляковъ, сербовъ, въ Силезіи. Русскіе переносятъ игру солнца на Петровъ день. Впрочемъ, онъ вмѣстѣ съ Всесвятскою недѣлею, вообще, въ народной миѳологіи является какъ бы повторнымъ отголоскомъ Ивана Купалы — съ преобладаніемъ, однако, пылкаго Ярилина элемента и на этотъ разъ, дѣйствительно, пожалуй, съ примѣсью громового культа. Въ Сербіи говорятъ, что на великій праздникъ святого

Іоанна солнце изъ уваженія къ нему троекратно останавливается. По другимъ повѣрьямъ — оно дѣлаетъ три прыжка по небу.

Хотя, чуть ли не съ тѣхъ поръ, какъ миѳологія стала интересоваться обрядами, символизирующими радостный праздникъ купающагося солнца, не перестаютъ раздаваться жалобы любителей старины, что обряды эти умираютъ и забываются, однако—купальскіе костры держатся еще крѣпко. Отъ Урала до Рейна, отъ Арарата до финляндскихъ озеръ въ ночь 23—24 іюня, какъ и тысячу лѣтъ тому назадъ, горятъ огни, обезсмысленные для народнаго сознанія, но священные для привычки народной. Въ Польшѣ, Богеміи, въ Силезіи, а также, мѣстами, и у насъ—въ Новгородской губерніи Купало извѣстенъ подъ именемъ Соботки, т.-е. малой субботы,—большая «Собота» чествуется въ Великую Субботу подъ Свѣтлое Христово Воскресеніе. Соботка въ Карпатахъ, Судетахъ и т. д.—великолѣпнѣйшая иллюминація въ свѣтѣ: костры пылаютъ на пространствѣ нѣсколькихъ сотъ верстъ, перекликаясь другъ съ другомъ своими пламенными языками черезъ большія разстоянія, что—по словамъ стариннаго описателя—«представляетъ плѣнительное зрѣлище даже и для тѣхъ, которые все еще бранятъ народное увеселеніе, почитая его языческимъ, хотя простолюдины о томъ и не думаютъ».



Илья-Громовникъ.

Илья-Громовникъ.

Ветхозавѣтный библейскій міръ сравнительно слабо отраженъ сказочною фантазіей христіанскихъ народовъ. Собственно говоря, это странно: казалось бы, времена чудесъ, какими полна каждая страница Пятикнижія, книги Іисуса Навина, книги Судей, Пророки, воинственный эпосъ книги Царствъ и Маккавейской, должны были глубоко запасть въ душу дикаря-неофита когда онъ мѣнялъ простодушную мистику своей первобытной, стихійной миѳологіи на возвышенную простоту религіи Христа, за которую, какъ основной фонъ ея, просвѣчивала религія Моисея и тысячелѣтняя таинственная исторія «избраннаго» народа, ею созданнаго, ею управляемаго. Между тѣмъ, заглянувъ хотя бы въ связанныя съ церковнымъ календаремъ легенды, повѣрья и преданія древней Руси, мы найдемъ, что грандіозныя фигуры Моисея, Самуила, Давида, Исаіи, Іереміи или не оставили въ нихъ вовсе слѣда, или—только мимолетный, гораздо блѣднѣйшій, чѣмъ даже второстепенные и третьестепенные дѣятели христіанской эры. Какъ будто—новообращеннымъ народамъ Ветхій Завѣтъ становился извѣстенъ не сразу, но—когда они уже выходили изъ своего, такъ сказать, эпическаго дѣтства, отказывались,—за отвычкою,—отъ потребности поставить на мѣсто старой своей, нынѣ за-

претной миѳологіи, новую, извлеченную изъ неправильнаго пониманія книгъ Св. Писанія и Преданія. Книжники древней Руси знаютъ Ветхій Завѣтъ въ совершенствѣ, но книжники—не народъ, а раскольничьи хитросплетенія на ветхозавѣтныя темы нельзя принимать за вышедшія изъ глубины народнаго міровоззрѣнія: это —византійское, схоластическое вѣяніе, достояніе интеллигенціи XVI и XVII вѣковъ, которое вліяло на ограниченный кружокъ письменныхъ людей, распространяясь въ народѣ врядъ ли больше, чѣмъ, напримѣръ, современныя религіозно-философскія достоянія интеллигенціи, — спиритизмъ и теософизмъ,—откликаются въ современномъ народѣ. Адамъ, Каинъ и Авель на лунѣ, бряцающій на лирѣ царь Давидъ, магикъ Соломонъ — вотъ едва ли и не всѣ библейскіе образы, произведшіе на народную фантазію столь сильное впечатлѣніе, что она отозвалась на нихъ самостоятельнымъ творчествомъ. Царя Давида мы видимъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ апокрифѣ, ставшемъ народнымъ въ излюбленномъ духовномъ стихѣ древней Руси «О книгѣ Голубиной»; имя и характеръ Самсона сохранились лишь, какъ намекъ, въ былинахъ о «старшихъ» богатыряхъ; Соломонъ зашелъ въ народъ не столько изъ библіи, сколько изъ восточныхъ сказокъ, съ характеромъ царя - чародѣя изъ «Тысячи и одной ночи». Народъ создавалъ десятки легендъ о Козьмѣ и Даміанѣ, Борисѣ и Глѣбѣ, Фролѣ и Лаврѣ, о св. Сисиніи, грозѣ лихорадокъ, о Параскевѣ-Пятницѣ, не говоря уже о святыхъ любимцахъ его воображенія — ап. Петрѣ, Іоаннѣ-Крестителѣ, Николаѣ-Чудотворцѣ, но въ ветхозавѣтный пантеонъ онъ почти не заглядываетъ—міръ ante Christum natum оставался въ вѣдѣніи книгочеевъ, начетниковъ изъ «интеллигенціи», едва ли не до послѣдняго времени, т.-е. до школьной грамотности. Обстоятельство это, быть можетъ, — отчасти искусственнаго происхожденія. Намъ извѣстно изъ исторіи первыхъ вѣковъ христіанства, что оно не сразу примирило ученіе

Евангельское съ наслѣдіемъ Моисея и пророковъ, что были секты, полагавшія Ветхій Завѣтъ совершенно упраздненнымъ черезъ Новый, а иныя изъ ересей гностическихъ доходили въ послѣдовательномъ развитіи этой идеи даже до той крайности, что вовсе отметали Ветхій Завѣтъ, какъ порожденіе обмана, въ который ввелъ человѣчество низшій духъ, властитель земли,—врагъ верховнаго Божества и «эона» Іисуса, ниспосланнаго, чтобы спасти обманутую духомъ-самозванцемъ землю. Такъ какъ слабое вліяніе ветхозавѣтной исторіи на народное творчество, отмѣченное для русской легенды, почти таково же и на Западѣ, то, быть можетъ, не будетъ неосторожнымъ предположить, что первые миссіонеры христіанства у кельтовъ, германцевъ, славянъ, — памятуя недоразумѣнія, какими неоднократно отзывалось столкновеніе грозныхъ фактовъ библейской исторіи съ краткою евангельскою моралью въ умахъ робкихъ, неопытныхъ и еще нетвердыхъ въ вѣрѣ,—не слишкомъ усердно настаивали на ближайшемъ знакомствѣ неофистовъ съ Ветхимъ Завѣтомъ, довольствуясь краткими его обзорами—конспективнаго характера, въ родѣ тѣхъ, что встрѣчаемъ мы у апологетовъ II вѣка или у Нестора. Извѣстно, что католическая церковь объявила въ средніе вѣка библію книгою, опасною для чтенія частныхъ лицъ, и воспретила послѣднимъ имѣть ее на дому, особенно, въ переводѣ съ латинскаго текста. Косвенное отраженіе того же взгляда находимъ мы въ житіи св. Никиты, епископа Новгородскаго (ум. 1108 г.), одного изъ первыхъ затворниковъ Кіевопечерской лавры. Когда онъ былъ въ затворѣ, «бѣсъ, явившійся въ видѣ ангела, далъ ему совѣтъ оставить молитву и заниматься только книгами, а на себя принялъ молиться за него и молился въ виду его. Скоро сталъ Никита прозорливымъ и учительнымъ. Никто не могъ сравниться съ нимъ въ знаніи книгъ Ветхаго Завѣта; онъ зналъ ихъ на память; но книгъ Новаго Завѣта онъ чуждался. По этой послѣдней странности поняли, что

онъ обольщенъ. Игуменъ и подвижники печерскіе, помолясь о заблудшемъ братѣ, прогнали бѣса-прельстителя. Они вывели Никиту изъ затвора и спрашивали о Ветхомъ законѣ, желая что-нибудь услышать отъ него. Но онъ съ клятвою увѣрялъ, что никогда не читалъ книгъ. Тотъ, который прежде зналъ наизусть всѣ ветхозавѣтныя книги, теперь не помнилъ ни слова, и отцы едва научили его грамотѣ». Впрочемъ, не за чѣмъ забираться въ глубь вѣковъ. Всего въ первой половинѣ нашего столѣтія, предпріятіе русскаго перевода библіи было встрѣчено большимъ недоброжелательствомъ Фотіевой клики, послужило поводомъ къ пылкимъ спорамъ чуть не объ ереси и, во всякомъ случаѣ, о неблагонадежности религіозной, и испортило жизнь о. Павскому, переводъ котораго такъ и остался недоконченнымъ. Когда Лѣсковъ, въ одномъ изъ полу-историческихъ разсказовъ-анекдотовъ своихъ *) влагаетъ въ уста извѣстнаго ханжествомъ своимъ фельдмаршала Остенъ-Сакена совѣтъ: «Не читайте библіи,—это мірская книга!»—онъ выражаетъ лишь мнѣніе, дѣйствительно, распространенное среди многихъ теологовъ: для всѣхъ-де—толкованія библіи, самая же библія—лишь для умѣющихъ обращаться съ нею, богослововъ-спеціалистовъ.

Но одинъ изъ самыхъ величественныхъ ветхозавѣтныхъ образовъ, дойдя до свѣдѣнія народнаго, поразилъ фантазію обращеннаго язычника слишкомъ ярко, чтобы не запечатлѣться въ ней на вѣка вѣчные, не сродниться съ нею, не стать въ ней на одно изъ первенствующихъ и властныхъ мѣстъ—въ непосредственной послѣдовательности за самимъ Христомъ и Богородицею, на ряду съ «Егоріемъ Храбрымъ» и «Миколою Чудотворцемъ». Образъ этотъ—св. Иліи-пророка. Величайшій изъ ветхозавѣтныхъ предтечъ Христа, бесѣдующій въ бурѣ, громахъ и въ тихомъ вѣтрѣ съ Богомъ на Хоривѣ, низводящій огонь небесный

*) «Фигура».

на жрецовъ Вааловыхъ и воиновъ Ахава, питаемый вранами, возносящійся въ небо на пламенной колесницѣ, запряженной огнедышащими конями, пришелся по душѣ славянину-полуязычнику; послѣдній увидалъ въ немъ христіанское переложеніе исконнаго, стихійнаго бога громовъ и молніи, культъ котораго — общее достояніе всѣхъ арійскихъ народовъ, параллельное съ культомъ солнечныхъ боговъ. Можно съ большою достовѣрностью предположить, что громовые и молніеносные миѳы, соединяемые въ фантазіи простолюдина съ именемъ Ильи-пророка,—древнѣйшіе въ ряду многочисленныхъ приспособленій христіанства къ остову древне-языческихъ воззрѣній. Глубоко знаменателенъ тотъ фактъ, что Илья-пророкъ—первый изъ христіанскихъ святыхъ становится покровителемъ крещаемыхъ кіевлянъ и еще до Владиміра имѣетъ въ Кіевѣ храмъ, разсадникъ будущей религіи. Громоносецъ христіанства борется съ громоносцемъ-Перуномъ и побѣждаетъ его, какъ нѣкогда побѣждалъ Ваала.

Процессъ замѣны бога-громовника Ильею-пророкомъ, какъ онъ свершался въ славянскихъ земляхъ, легко прослѣдить наглядно, если присмотрѣться къ вѣрованіямъ осетинъ (арійскаго племени, неизвѣстнаго происхожденія, разсыпаннаго по ущельямъ между Владикавказомъ и Гудауромъ). Культурный уровень осетинъ врядъ ли выше, чѣмъ предковъ нашихъ въ эпоху крещенія Руси, а религія — странная смѣсь христіанства, магометанскихъ наслоеній и первобытнаго язычества. Въ Осетіи, какъ и въ Чечнѣ, мулла свободно кричитъ при колокольномъ звонѣ, языческій кумиръ покойно стоитъ въ старой, оставленной церкви царицы Тамары. Какъ всѣ первобытныя религіи востока, хотя и прошедшія чрезъ ревнивое горнило магометанства, вѣрованія осетинъ полны демоническимъ началомъ; по всѣмъ стихійнымъ миѳологіямъ можно прослѣдить, что гдѣ—ядъ, тамъ и противоядіе, гдѣ демоны, тамъ и врагъ ихъ—могущественный богъ-молніеносецъ. Но послѣдняго

нѣтъ уже на осетинскомъ языческомъ олимпѣ: онъ всецѣло и нераздѣльно уступилъ свое мѣсто и свои обязанности Ильѣ-пророку, нынѣ главному покровителю Осетіи, а самъ исчезъ во мракѣ неизвѣстности. Пророкъ, всю жизнь свою воевавшій противъ идолослуженія «на высотахъ», самъ покорилъ себѣ кавказскія высоты. Впрочемъ, не только кавказскія: имя св. Ильи носятъ теперь весьма многія горы, нѣкогда посвященныя богамъ грома и молніи. Такъ, высочайшая вершина Эгины, гдѣ возсѣдалъ когда-то обще-эллинскій Зевсъ, въ настоящее время также называется горою св. Иліи. Въ пещерахъ и другихъ мѣстахъ, посвященныхъ горными осетинами Ильѣ, приносятъ въ жертву ему козъ: мясо ихъ съѣдаютъ, а кожу развѣшиваютъ на большое дерево, предъ которымъ совершаютъ «дубровныя празднества». Въ Ильинъ день просятъ «пророка» спасти отъ града и ниспослать богатую жатву. Если кого поразитъ громъ, то всѣ близкіе радуются въ увѣренности, что убитый взятъ на небо Ильею, кричатъ отъ радости, поютъ и пляшутъ около тѣла. Со всѣхъ сторонъ сбѣгаются люди, пристаютъ къ пляшущимъ и поютъ: «О, Илья, Илья! житель горныхъ вершинъ!» Повторяя мѣрно этотъ крикъ, они, построившись въ кружокъ, то приближаются, то отходятъ далѣе. Припѣвъ затягиваетъ сначала запѣвала, а потомъ уже его повторяетъ толпа. По окончаніи грозы, переодѣваютъ покойника въ другое платье и, положивъ на подушку, оставляютъ на томъ же мѣстѣ и въ томъ же положеніи, въ какомъ онъ былъ найденъ, а затѣмъ поютъ и пляшутъ до полуночи. Родственники убитаго такъ же веселятся, какъ будто на празднествѣ: грустный видъ почитается оскорбительнымъ для Ильи и впослѣдствіи достойнымъ наказанія. Этотъ праздникъ продолжается восемь дней, по истеченіи которыхъ свершается съ большою торжественностью погребеніе. Надъ могилою насыпаютъ кучу камней и подлѣ нея съ одной стороны вѣшаютъ на высокомъ мѣстѣ черную козью кожу,

а съ другой — платье покойника. Путешествуя осенью 1888 года по Кавказу пѣшкомъ, я неоднократно былъ свидѣтелемъ мѣстнаго поклоненія пророку Ильѣ, сопровождаемаго кровавыми жертвами. Въ Ильинъ день, въ Ананурѣ, говорятъ, вся церковная ограда бываетъ залита кровью ягнятъ, закалаемыхъ во славу святого. Послѣ обѣдни, священникъ благословляетъ животныхъ, приведенныхъ на убой, и начинается бойня: часть битой скотины поступаетъ въ приношеніе священнику, а остальное мясо—на шашлыки, которые жарятся тутъ же на кострахъ. Это — самый веселый день въ горахъ. Костры пылаютъ, вино льется, и пѣсни гремятъ до глубокой ночи. Обычай жертвенныхъ общественныхъ трапезъ на Ильинъ день держался, сравнительно въ недавнее время, еще косгдѣ и на Руси,—напр., какъ записалъ Сахаровъ, въ селѣ Обыченскомъ, Пермской губерніи. Поселяне, на мірскую складчину, приводили съ собою — кто быка, кто теленка, убивали ихъ и съѣдали всею деревнею. Въ Тульской губерніи на мірскую складчину, въ старину, пекли новый хлѣбъ и раздавали его нищей братіи отъ всей деревни. Памятью о старинныхъ жертвенныхъ пиршествахъ въ Ильинъ день сохранились на Руси поговорки: «на Илью — баранью голову на столъ», «Илья — бараній рогъ», «на Илью—барашка въ лобъ» и т. п., индѣ, впрочемъ, примѣняемыя и къ Петрову дню. Въ сѣверныхъ губерніяхъ (напримѣръ, въ Новгородской, гдѣ память общественныхъ празднествъ еще свѣжа) существуетъ сказаніе, что къ пиршеству этому, ежегодно, выбѣгалъ изъ лѣсу олень, который и былъ заколаемъ для народнаго пира; въ другомъ варіантѣ, оленя замѣняютъ двѣ лани: одну изъ нихъ убивали, варили и съѣдали, а другая уходила. Но однажды какой-то неправедный «попъ Ванька» «замолилъ» обѣихъ и съ тѣхъ поръ лани перестали появляться. Слово «замолить», въ смыслѣ убить живое существо, какъ эхо далекихъ жертвоприношеній, до сихъ поръ звучитъ въ на-

родномъ языкѣ. Изучая пресловутое мултанское дѣло, постоянно встрѣчаешься съ нимъ: «вотяки замолили человѣка» и т. п. Мотивъ легенды о чудотворномъ посланіи оленя на потребу вѣрующихъ звучитъ въ извѣстномъ сказаніи изъ житія св. Макарія Желтоводскаго. Когда Улу-Махметъ отпустилъ Макарія изъ полона, онъ съ братіей направился въ Галичъ, лѣсами и болотами. Дѣло было въ Петровки. Путники поймали лося, но Макарій убѣдилъ ихъ сохранить постъ и отпустить звѣря на свободу до Петрова дня, обѣщая, что въ этотъ праздникъ лось самъ явится къ нимъ на закланіе. Лосю надрѣзали ухо и пустили его въ лѣсъ. Въ Петровъ день, когда настала пора путникамъ разговѣться, мѣченный лось, дѣйствительно, пришелъ и былъ «благопотребленъ».

Грозная миссія бога-громовника уничтожать демоновъ всецѣло передана осетинами св. Ильѣ. Въ ту же путину свою по Кавказу, я записалъ любопытное осетинское сказаніе, гдѣ горецъ, въ ссорѣ съ шайтаномъ, отдаетъ себя подъ покровительство св. Ильѣ, и шайтанъ сталъ безсильнымъ надъ своимъ врагомъ, кромѣ шапки его, о которой осетинъ забылъ помолиться: шайтанъ сдулъ вихремъ шапку съ головы осетина; жадный горецъ бросился догонять ее, да такъ и до сихъ поръ носится съ горы на гору, изъ ущелья въ ущелье, въ упрямой, но безплодной погонѣ; шапка все катится отъ него, толкаемая вѣчнымъ, неутомимымъ вихремъ. Это—горная версія «Моряка-Скитальца». (См. мой сборникъ «Сонъ и Явь», разсказъ «Блуждающій Осетинъ»). Въ осетинской колыбельной пѣснѣ, записанной мною на ночевкѣ подъ Казбекомъ, мать молитъ, чтобы Илья и падучая звѣзда спасли дитя ея отъ нечистой силы. По объясненію моихъ спутниковъ, падучая звѣзда, подобно молніи, — оружіе, коимъ Богъ и Илья-пророкъ уничтожаютъ демонскія полчища. (См. мой сборникъ «Грезы и Тѣни», разсказъ «Ариманъ»). Галиційская легенда о происхожденіи міра, отмѣченная рѣзко дуалистическимъ характеромъ,

говоритъ, что, когда чортъ услыхалъ, какъ ангелы славили Бога въ пѣсняхъ, онъ захотѣлъ тоже имѣть подчиненныхъ духовъ; для этого онъ омылъ свое лицо и руки водою, брызнулъ ею назадъ отъ себя—и сотворилъ столько чертей, что ангеламъ не доставало уже мѣста на небесахъ. Богъ приказалъ Ильѣ-Громовнику напустить на нихъ громъ и молнію. Илья гремѣлъ и стрѣлялъ молніями, лилъ дождемъ сорокъ дней и ночей: вмѣстѣ съ великимъ дождемъ попадали съ неба и всѣ черти; еще до сего дня многіе изъ нихъ блуждаютъ по поднебесью свѣтлыми огоньками (т.-е. падучими звѣздами) и только теперь достигаютъ до земли. Такимъ образомъ, падучая звѣзда—эта молнія ночи—принимается то за орудіе, то, наоборотъ, за самую злую силу, убѣгающую отъ стрѣлъ громовника. Въ Малороссіи думаютъ, что не хорошо смотрѣть на «маньяка»—названіе падающей звѣзды,—и что куда онъ сверкнетъ,—вѣрный, знакъ, что тамъ дѣвица лишилась невинности: повѣрье сближающее «маньяка» со сказочными огненными змѣями, что летаютъ къ царевнамъ, одинокимъ женамъ-молодицамъ и краснымъ дѣвицамъ. Что огненный змѣй—воплощеніе молніи, дѣло ясное не только по тысячамъ характерныхъ сближеній (напр. у Афанасьева), но и по здравому смыслу, по, такъ сказать, непосредственной наглядности въ метафорѣ. Тамбовцы вѣрятъ, что во время грозы летаютъ огненные змѣи-дьяволы и стараются укрыться отъ мѣткихъ стрѣлъ Бога или пророка Иліи; если стрѣла настигнетъ змѣя близъ стога, дома, церкви или дерева, они загораются отъ брызговъ змѣиной крови. Даже мусульмане,—при всей боязни ислама передъ какими-либо воплощеніями стихійныхъ силъ, изъ опасенія идолопоклонническихъ соблазновъ,—имѣютъ преданіе, что, отчасти однозвучный съ Иліею, исторически извѣстный Али, двоюродный братъ Магомета, возсѣдаетъ на облакахъ, и что громъ есть его голосъ, а молнія—бичъ, которымъ онъ наказываетъ злыхъ. Пока народное воображеніе считаетъ громъ явленіемъ

отдѣльнымъ отъ молніи, оно видитъ въ послѣдней гонимаго громомъ змѣя-демона; когда научается сливать и громъ, и молнію въ одно явленіе,—принимаетъ ихъ за орудіе преслѣдованія, а демона-змѣя предполагаетъ или незримымъ для глаза человѣческаго, или укрывающимся подъ видомъ оборотней. Преслѣдуемые стрѣлами Ильи-пророка, нечистые духи перекидываются змѣями и другими гадами земными, говоритъ великорусская легенда. При неурожаяхъ, болгары думаютъ, что злые духи женскаго пола, змѣевидныя ламіи, пожираютъ хлѣбъ, и если бы не побивалъ ихъ Илья-пророкъ, то земля вовсе бы оскудѣла. Переходя отъ метафоры къ дѣйствительности, народъ перенесъ миссію гонителя змѣевъ небесныхъ на землю — къ змѣямъ, звѣрямъ и гадамъ обыкновеннымъ. Въ Ильинъ день крестьяне опасаются выгонять на пастбище скотину, такъ какъ въ этотъ праздникъ «Илья отдыхаетъ»; пользуясь его бездѣйствіемъ, нечистые духи, вселясь въ звѣрей и гадовъ, мстятъ людямъ за обычное свое безсиліе; выходятъ изъ своихъ норъ и бродятъ по лѣсамъ и лугамъ, терзая и жаля домашній скотъ, пока наглостью своею не выведутъ Илью изъ терпѣнія и не заставятъ взяться за громъ, единственно страшную имъ угрозу. Боязнь дьявольскаго оборотничества настолько велика, что многіе въ этотъ день не рѣшаются держать въ избѣ даже собакъ и кошекъ: неравно и въ нихъ укроется нечистая сила и навлечетъ на домъ стрѣлу грознаго Ильи! Левитовъ поэтически передаетъ разсказъ, какъ во время грозы прасолъ подобралъ барашка, взялъ его въ телѣгу, спряталъ подъ армякъ, молніи, точно живыя, стали виться около телѣги, а барашекъ все тѣснѣе жмется-жмется къ своему избавителю и наконецъ, въ тоскливомъ страхѣ, вдругъ говоритъ человѣческимъ голосомъ: «Дяденька, а, дяденька! пусти-ка меня къ себѣ въ ротъ!» *) Прасолъ, въ ужасѣ, столкнулъ ба-

*) «Степная дорога ночью».

рашка съ телѣги, и въ ту же минуту его расшибло громомъ въ кучку золы. Знахари, по преданіямъ русскаго чернокнижія, сбираютъ на Ильинъ день змѣй, чтобы топить изъ нихъ сало на чудодѣйственныя волшебныя свѣчи. Другое обычное воплощеніе демона-оборотня на землѣ — волкъ. Замѣчательно, что Ильѣ-пророку приписывается такъ же, какъ и Егорію Храброму, роль «волчьяго пастыря». Онъ выгоняетъ звѣря изъ логовищъ; поселяне увѣрены, что волки выходятъ изъ своихъ норъ послѣ покосовъ; а до тѣхъ поръ будто, никто не можетъ открыть «волчьихъ выходовъ». Старинные охотники выѣзжали въ Ильинъ день въ поле травить волковъ. У нихъ была примѣта: если они затравятъ тогда звѣря, то весь годъ будутъ удачливы.

Въ самыхъ православныхъ поученіяхъ церковныхъ иногда попадаются образы, относящіе къ Ильѣ-пророку понятіе огненосца болѣе матеріальное, чѣмъ то приличествуетъ христіанству святому. Народъ же, какъ извѣстно, крѣпко стоитъ еще и въ наши дни на томъ, что «Илья-пророкъ разъѣзжаетъ по небу на огненной колесницѣ», «Илья грозы держитъ», «Илья словомъ дождь держитъ и низводитъ», «Вознесенье съ дождемъ, Илья съ грозой», «На Ильинъ день гдѣ-нибудь отъ грозы загорается», «Ильинская пятница безъ дождя—пожаровъ много» и т. д. Одинъ изъ моихъ друзей увѣрялъ меня, что видѣлъ, если не ошибаюсь, въ Ростовѣ, —къ сожалѣнію, разговоръ былъ давно, и я не поручусь за точность мѣста,—образъ Ильи-пророка, на огненной колесницѣ, въ пламенныхъ ризахъ, съ ярко-красными волосами и бородою и *съ молотомъ въ рукахъ*. Если это—правда, то мы имѣемъ разительнѣйшій примѣръ перелива языческаго образа въ христіанскій: всѣ перечисленныя принадлежности — непремѣнные аттрибуты бога-громовника славяно-германской миѳологіи, включительно до молота Mjölnir'а скандинавскаго Тора рыжебородаго. Въ одномъ изъ варіантовъ вышеприведенной галиційской легенды Богъ, чтобы избавиться отъ безчисленно рас-

плодившихся чертей, беретъ въ руки молотъ и, ударяя по камню, высѣкаетъ изъ него, въ видѣ искръ, тьмы того небеснаго воинства, которое поражаетъ нечистыхъ. Въ осетинскомъ преданіи падучая звѣзда и крестъ имѣютъ одинаковое названіе. Илья-пророкъ бросаетъ въ шайтана пламенными крестами и опаляетъ его. Но еще вопросъ, всегда ли крестъ, побѣждающій демона, обозначаетъ въ миѳологіи народный крестъ христіанскій, а не первобытный громовой молотъ, котораго форма въ каменномъ вѣкѣ, когда слагались стихійные культы и миѳы, была крестообразная: увѣсистый булыжникъ, обтесанный къ одной сторонѣ тоньше, къ другой, къ обуху, толще и продыравленный по серединѣ, чтобы можно было глубоко насадить его на круглое древко. Громовникъ финновъ Укко машетъ огненнымъ молотомъ, знаменитый Mjölnir Тора имѣетъ чудесное свойство—поразивъ жертву, вновь возвратиться въ руки бога, его метнувшаго; ту же способность приписываютъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи и славянскаго Запада, молніи — «круглымъ пулямъ изъ огненнаго камня», которыми, въ лѣтнихъ грозахъ, охотятся за нечистою силою Господь Богъ, ангелы, пророкъ Илья или ап. Петръ, являющійся въ миѳологическомъ творчествѣ, весьма часто, также съ аттрибутами громодержца.

Трудно въ статьѣ миѳологическаго содержанія упомянуть слово «охота» безъ того, чтобы не вспомнить о «дикой охотѣ» —этомъ дивномъ образѣ ночной грозы, созданномъ фантазіей средневѣкового германца, зачавшею его въ гулѣ и мракѣ вѣковыхъ дубовыхъ лѣсовъ. Представленія грозы, какъ охоты, сопровождаемой быстрымъ, неудержнымъ движеніемъ, сохраняетъ и образъ Ильи-пророка, мечущаго стрѣлы или пули въ демоновъ, одѣтыхъ въ личины, волковъ, гадовъ или россомахъ, носясь на грохочущей колесницѣ. Воинственныя грозы эти, какъ замѣчалъ народъ имѣли, однако, дважды благодѣтельную силу: уничтожая зло, онѣ сѣяли благо; гоня демона засухи огненными стрѣ-

лами, онѣ, въ то же время, низводили на землю влагу небеснаго океана и оплодотворили почву. Полный миѳологическій образъ этого представленія мы находимъ, весьма цѣльно и сжато высказаннымъ, въ одномъ изъ заговоровъ стариннаго русскаго волхвованія. «На морѣ — на окіянѣ, на островѣ на Буянѣ *гонитъ* Илья-пророкъ въ колесницѣ громъ съ великимъ дождемъ». Кто держитъ въ рукахъ своихъ громъ и бурю, тотъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, является и властелиномъ-распорядителемъ плодородія. «Пророкъ Илья лѣто кончаетъ, жито зажинаетъ», «первый снопъ на Ильинъ день», «Илья-пророкъ копны считаетъ», говорятъ великорусскія примѣты, съ которыми согласуется и ласкательное наименованіе праздника 20-го іюля — «Илья — надѣлаша», т.-е. надѣляющій хлѣбомъ. Жатвенная страда вся стоитъ подъ покровительствомъ св. Ильи, замѣняющаго въ данномъ случаѣ того таинственнаго житнаго дѣда, кому славяно-германскіе земледѣльцы посвящали послѣдній дожиночный снопъ, что сохранилось и сейчасъ въ безсознательно-языческомъ обрядѣ дожинокъ, знакомомъ даже тѣмъ, кто отродясь не бывалъ въ деревнѣ — хотя бы по оперѣ «Евгеній Онѣгинъ». Искони считается недоброю примѣтою, снимая для себя плоды земные, — хлѣбъ съ поля, яблоки изъ сада, зерно съ гумна, — обобрать ихъ наголо, до послѣдняго. Чтобы и на слѣдующій годъ урожай былъ не хуже, находятъ полезнымъ суевѣрно оставлять на полосѣ нѣсколько не сжатыхъ колосьевъ, въ саду нѣсколько не сорванныхъ яблокъ и т. п. Этотъ обычай — не что иное, какъ утратившее смыслъ культурное переживаніе старинной жертвы житному духу, приносимой ему отъ его же даровъ, чтобы и онъ могъ сдѣлать запасъ корма себѣ на зимовку. Обычай извѣстенъ и въ великорусскихъ губерніяхъ, при чемъ оставить такой жертвенный клокъ жнивья, на языкѣ народномъ, опредѣляется характернымъ терминомъ «завязать Ильѣ бороду». Духи житные и духи грозы — во всѣхъ миѳологіяхъ, родные братья, — вѣрнѣе, даже, двѣ стороны одной и той

же медали, два видоизмѣненія одного и того же миѳа. Страшный молніеносецъ-громовникъ — онъ же и кроткій оплодотворитель. Народъ вѣритъ, что подъ Новый годъ Илья-пророкъ незримо ходитъ по землѣ съ «пугой житяною»: гдѣ пугой махнетъ, тамъ жито растетъ. То же самое приписывается ап. Петру, чье миѳологическое значеніе близко къ пророку Ильѣ: «Петръ съ колоскомъ, а Илья съ колобкомъ». Оба они держатъ ключи отъ неба, — не въ духовномъ, переносномъ смыслѣ, какъ принимаетъ религія христіанская, но въ прямомъ, стихійномъ. Сербскіе и болгарскіе духовные стихи, изображая св. Илью гнѣвнымъ на людскія прегрѣшенія, влагаютъ въ уста его такія слова, обращенныя къ «Огняной Маріи», т.-е. къ Божіей Матери, воображаемой божествомъ — молніей, и къ самому Христу-Спасителю: «Дай мнѣ ключи отъ неба, я запру туманы и облака; пусть три года не падаетъ дождь, три года не грѣетъ солнце, три года не дуетъ вѣтеръ, три года не родятся ни вино, ни жито!»

Какъ образъ грозный, карающій и въ то же время властный надъ плодородіемъ, Илья-пророкъ въ иныхъ легендахъ является въ спорѣ съ кроткимъ, мягкимъ, справедливымъ патрономъ крестьянина-земледѣльца, св. Николаемъ-Чудотворцемъ. Популярнѣйшая — какъ поссорились между собою попъ и мужикъ, и первый избралъ своимъ покровителемъ Илью, а второй Николу. Попъ намолилъ у Ильи на мужика всякихъ бѣдъ, но Никола, своевременными совѣтами успѣвалъ все зло перемѣнить въ пользу своего молельца: напримѣръ, попъ вымолилъ, чтобы Илья выколотилъ мужикову ниву градомъ; Никола является мужику и совѣтуетъ какъ можно скорѣе продать ниву попу же, тотъ покупаетъ съ радостью, соображая, что, разъ нива стала его, ей больше не грозитъ опасность, но, такъ какъ онъ не успѣлъ предупредить Илью о происшедшей перемѣнѣ, то градъ истребляетъ хлѣбъ на купленной полосѣ. Это — старинный споръ суроваго грома съ ласковымъ солнцемъ

въ доисторической стихійной миѳологіи. Чеченцы—полуязычники, полумусульмане—разсказываютъ его въ такой формѣ. У одной вдовы былъ маленькій сынъ. Однажды онъ говоритъ матери: «Мама! я пойду къ Богу и попрошу у него — чего-нибудь, мы бѣдны и у насъ многаго недостаетъ».—«Сынъ мой, говоритъ мать, ты такой оборванный; приближенные Бога не допустятъ тебя до Него». Сынъ снова говоритъ: «Нѣтъ, мама, я надѣюсь добраться до Бога,—пойду попытаю счастья». Но ангелы и приближенные, увидѣвъ оборванную одежду мальчика, не допустили его къ Богу. Мальчикъ печальный возвращался домой. По дорогѣ встрѣтился онъ съ сыномъ Бога,—Елтою. — «Куда ты идешь? — спрашиваетъ Елта, — и отчего такъ печаленъ?» —Мальчикъ разсказалъ Елтѣ о своей неудачной попыткѣ проникнуть въ жилище Бога. — «Отецъ мой управляетъ цѣлымъ міромъ!» — воскликнулъ Елта,—«неужели я не могу управлять однимъ мальчикомъ? Я беру тебя подъ свое покровительство: проси у меня, чего ты хочешь». Мальчикъ отвѣчалъ: «Я хочу посѣять пшеницу и прошу урожая». — «Пусть будетъ урожай на твоей пашнѣ. Иди и сѣй», — сказалъ Елта и пошелъ дальше. Мальчикъ съ матерью посѣяли пшеницу. Къ великой радости, у нихъ былъ такой хорошій урожай, какого не было ни у кого изъ сосѣдей: на одномъ стеблѣ выросло по два колоса. Когда хлѣба стали созрѣвать, Богъ послалъ своихъ ангеловъ посмотрѣть урожаи. Ангелы, осмотрѣвъ всѣ пашни, донесли Богу, что на пашнѣ мальчика, котораго они не допустили къ Нему, урожай лучше, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ людей. Услышавъ отвѣтъ ангеловъ, Богъ воскликнулъ: «Какъ могъ явиться у мальчика урожай безъ моего повелѣнія! Наведите на его пашню громъ и грозу, пусть они погубятъ хлѣбъ его!» Ангелы передали приказаніе Бога матери грома и грозы, чтобы она послала своихъ дѣтей для истребленія пашни мальчика. Когда Елта узналъ о приказаніи отца, то

послалъ сказать мальчику, чтобы онъ съ матерью поспѣшили убрать хлѣбъ свой.

Они дружно принялись за работу и, когда убирали уже послѣдній снопъ, пошелъ сильный дождь съ грозой и градомъ и истребилъ всѣ хлѣба на сосѣднихъ поляхъ. Богъ посылаетъ своихъ ангеловъ осмотрѣть хлѣба. Когда возвратившіеся ангелы донесли Ему, что у всѣхъ жителей хлѣба истреблены, а у мальчика цѣлы, Богъ сильно разгнѣвался за невыполненіе Его воли и приказалъ позвать мать вѣтровъ. Когда она явилась, Богъ сказалъ ей: «Подними бурю и разнеси хлѣбъ мальчика! Елта же послалъ сказать мальчику, чтобы тотъ перенесъ весь свой хлѣбъ на гумно и прикрылъ его хорошенько. Лишь только мальчикъ съ матерью окончили укладку хлѣба, поднялась страшная буря и стала разносить клочками по воздуху весь хлѣбъ сосѣдей, а хлѣбъ мальчика, прикрытый каменьями, остался цѣлъ. Ангелы, посланные Богомъ, чтобы узнать о дѣйствіи бури, въ третій разъ донесли Ему, что буря разнесла и погубила всѣ хлѣба у жителей, а хлѣбъ мальчика остался невредимъ. Тогда Богъ велѣлъ, чтобы у всѣхъ жителей съ каждаго тока получалось только по одной мѣркѣ хлѣба. Елта, узнавъ объ этомъ, предупредилъ мальчика, чтобы онъ обмолочивалъ свой хлѣбъ не сразу, а по одному снопу. Мальчикъ поступилъ по указанію Елты и отъ каждаго снопа получилъ по мѣркѣ пшеницы, между тѣмъ какъ у сосѣдей почти ничего не было. У мальчика уродилось столько хлѣба, что онъ роздалъ очень много своимъ сосѣдямъ, наиболѣе пострадавшимъ отъ неурожая. Когда Богъ узналъ, что и четвертое Его приказаніе не достигло своей цѣли, то страшно прогнѣвался и приказалъ позвать къ себѣ Елту и мальчика. Когда они явились, Богъ грозно обратился къ мальчику: «почему у тебя вышелъ хорошій хлѣбъ, въ то время какъ у остальныхъ жителей плохой, и кто помогалъ тебѣ въ этомъ?» — Мальчикъ подробно разсказалъ обо всемъ. — «Какъ ты

смѣлъ идти противъ моихъ желаній?»—грозно обратился Богъ къ Елтѣ.—«Тебѣ слѣдовало бы за твое ослушаніе выколоть глазъ!» При этихъ словахъ Богъ такъ сильно ткнулъ пальцемъ въ глазъ Елты, что онъ выскочилъ вонъ, и съ тѣхъ поръ Елта остался одноглазымъ. Любопытно, что, въ противуположность первенствующему по имени, но менѣе могущественному фактически богу грома, солнечное божество и у кавказскихъ инородцевъ, какъ въ скандинавской миѳологіи, является одноглазымъ.

Низводитель на землю небесныхъ потоковъ чествуется, какъ цѣлебная сила, въ самой влагѣ, видимо имъ низвергаемой: Ильинскимъ дождемъ умываются, окачиваются отъ призора и болѣзней. Но чествуютъ его и у земныхъ источниковъ—въ особенности же у тѣхъ «источниковъ на высотахъ», противъ обоготворенія которыхъ такъ энергично боролся Илья-пророкъ при жизни своей. О горныхъ и вообще не въ болотистой, а въ каменистой почвѣ бьющихъ источникахъ существуетъ въ народѣ убѣжденіе, что они явились изъ нѣдръ земныхъ, выбитые ударомъ молніи. Вѣроятно, каждый изъ читателей,—если дѣтство его протекало въ уѣздной или деревенской глуши,—припомнитъ въ своей мѣстности какой-нибудь «гремячій», «громовый», «святой» ключъ или колодезь, а то и прямо «Ильинскій», «Ильинъ», «Ильину Криницу» и т. п. Въ степной Екатеринославской губерніи одно село имѣло обыкновеніе справлять на Илью крестный ходъ къ мѣстному колодцу, сопровождая его языческими суевѣріями. Вновь назначенный въ село священникъ воспротивился стародавнему обычаю. Случилось такъ, что въ наступившій затѣмъ Ильинъ день гроза залила ливнемъ въ степномъ оврагѣ стадо овецъ, принадлежавшее священнику, а, верстахъ въ пяти отъ села, молнія, обрушивъ глыбу земли съ обрыва, дѣйствительно, открыла выходъ подземному ключу. Источникъ этотъ—«Ильина Криница» слыветъ въ народѣ богоданнымъ, а священнику пришлось перевестись въ другой уѣздъ,—такъ

обострилась нелюбовь къ нему населенія. О мытищенскихъ ключахъ, снабжающихъ водою Москву, тоже разсказываютъ, будто они потекли отъ громового удара. Огненныя стрѣлы, копыта коней въ колестницѣ Ильи-пророка или богатырскаго коня Ильи-Муромца, одноименнаго ветхозавѣтному святому и тоже признаваемаго святымъ, — обычные, по воззрѣнію народному, создатели гремячихъ источниковъ. Миѳъ, древній, какъ миръ: достаточно вспомнить Кастальскій ключъ, брызнувшій изъ-подъ копытъ Пегаса, когда помчалъ онъ въ высь небесъ Беллерофонта, этого типичнѣйшаго изъ громовниковъ эллинизма. Еще большимъ почетомъ пользуются тѣ изъ громовыхъ источниковъ, которые текутъ изъ-подъ корней какого-нибудь дерева, напр., матерого дуба. Быть можетъ, Афанасьевъ правъ, когда видитъ въ народномъ почитаніи такого соединенія живой влаги съ пышною древесною растительностью отголосокъ старинныхъ доисторическихъ представленій о «міровомъ деревѣ», — напр., о скандинавскомъ ясенѣ Игдразилѣ, съ источникомъ Норнъ, — перешедшихъ, видоизмѣненно, и въ христіанскіе апокрифы. Въ одной рукописи XVI вѣка читаемъ: «А посреди рая древо животное, еже есть божество, и приближается верхъ того древа до небесъ... А отъ корня его текутъ млекомъ и медомъ двѣнадцать источниковъ». Ильинъ дубъ, Петровъ дубъ — частыя названія въ русскомъ народѣ замѣчательныхъ по величинѣ и древности экземпляровъ этого дерева, во всѣхъ племенахъ и во всѣ вѣка язычества, посвященнаго богу грома. Когда Илью-Муромца иные миѳологи, какъ Афанасьевъ и Орестъ Миллеръ, стараются представить воплощеніемъ громовника во всей послѣдовательности его подвиговъ, это, конечно, — преувеличеніе ученой фантазіи, готовой, въ интересахъ своей теоріи, на какія угодно натяжки; но метаніе богатыремъ этимъ стрѣлъ каленыхъ въ дубы, обитаемые демоническими существами, въ родѣ Соловья-Разбойника, — несомнѣнно, черта громовническая, сильно напоминающая стрѣлы, разсыпаемыя тез-

кою богатыря св. Ильею-пророкомъ по нечистой силѣ, бѣгущей отъ него въ лѣса и дебри. Что касается Петровыхъ дубовъ, то ихъ, обыкновенно, связываютъ съ именемъ Петра Великаго: «вотъ-де этотъ дубъ старинный, его самъ царь Петръ посадилъ», хотя весьма часто попадаются они въ мѣстностяхъ, гдѣ Петръ никогда не бывалъ, и почти всегда подобный дубъ оказывается въ дѣйствительности старше Петра I на многіе вѣка. Дѣло въ томъ, что историческая память Петра Великаго вытѣснила изъ фантазіи народной первоначальное посвященіе дубравныхъ великановъ ап. Петру, «небесному ключарю», раздѣлившему съ Ильею-пророкомъ въ христіанствѣ языческое наслѣдіе громового культа. Къ такимъ дубамъ посылаютъ знахари болѣющихъ зубами—грызть кору и дресву святого дерева. При многихъ монастыряхъ русскихъ можно видѣть дубы, искусанные и даже обглоданные паломниками; въ родствѣ съ этимъ обычай грызть дубовыя колоды, служившія гробами св. угодникамъ, напр., въ Сергіевой Троицкой лаврѣ, а также знахарскій совѣтъ—коли зубы болятъ, выкури изъ дубовой трубки пригоршню дубоваго моха, и все пройдетъ, только во рту горько дня на три будетъ. Характерно, что зубную боль народъ поставилъ подъ прямое покровительство св. Пантелеймона—цѣлителя вообще, но зубныхъ страданій по преимуществу: св. Пантелеймонъ, по южному произношенію. Палѣй или Палій также изъ святыхъ громовниковъ. Сербы думаютъ, что Илья завѣдуетъ громомъ Огняна Марія—молніями, а св. Пантелеймонъ—бурями. Дни, посвященные этимъ святымъ, всѣ приходятся на числа между 20 и 28 числами іюля.

Великорусскій крестьянинъ кончаетъ Ильинымъ днемъ лѣто и зачинаетъ осень. «На Илью до обѣда лѣто, послѣ обѣда осень», говоритъ пословица. Съ этого праздника заборониваютъ паръ и перестаютъ купаться, считая, что вода холодѣетъ. «Съ Ильина дня работнику двѣ угоды: ночь длинна, да вода холодна». Связь охлажденія земныхъ водъ

съ ильинскою грозою и дождями выражается весьма наивнымъ представленіемъ, уже одною первобытностью своею, ясно указывающею на древнее стихійное вѣрованіе, предполагавшее дождь мочею громовника. Охлажденіе воды такимъ способомъ приписывается или самому Ильѣ, или оленю, еленю, — по созвучію съ Ильею, — или же, наконецъ, медвѣдю, что опять уноситъ наше воображеніе въ темныя области стихійной доисторической вѣры, ибо медвѣдь былъ «Перуновымъ звѣремъ» и однимъ изъ любимыхъ воплощеній громовника. Можетъ быть, не лишнее вспомнить тутъ и тѣхъ оленей, что посылалъ Илья-пророкъ изъ лѣсовъ міринамъ для закланія на его жертвенныхъ пиршествахъ.

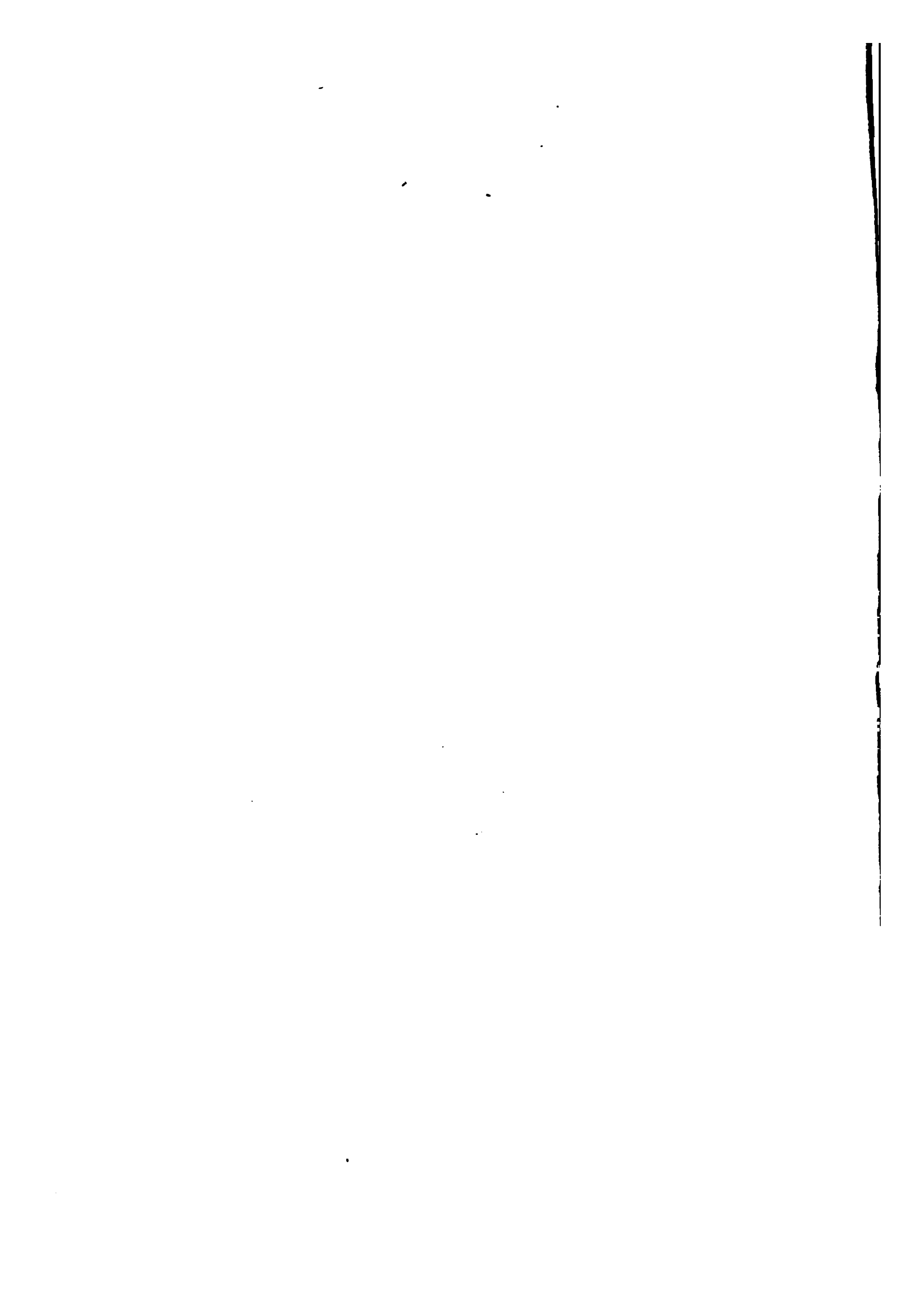
Стихійная теорія имѣетъ предъ всѣми другими въ миѳологіи преимущество эластичности: при нѣкоторомъ усиліи, подъ ея положенія можно подогнать рѣшительно какой угодно фактъ бытовой и исторической жизни. Брался же кто-то доказать, что Наполеонъ — не дѣйствительный герой нашего вѣка, но солнечное божество, окруженное 12 маршалами, т.-е. двѣнадцатью мѣсяцами *). Поэтому, ничуть не стоя за гипотезу, о которой сейчасъ будетъ рѣчь, я считаю долгомъ лишь упомянуть о ней. Одна изъ частныхъ метафоръ дождя въ древнихъ миѳологіяхъ — амрита индусовъ и нектаръ эллиновъ, вино и медъ — скандинавовъ, германцевъ и славянъ. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, если и, въ качествѣ своемъ покровителя медоваго и воскового промысла, Илья-пророкъ является преемникомъ древнихъ громовниковъ. Но я лично больше склоненъ думать, что поговорки народныя — въ родѣ «богатъ, какъ ильинскій сотъ», равно какъ примѣты, учащія на Ильинъ день подрѣзывать соты, подчищать ульи, перегонять пчелъ, вызваны просто тѣмъ обстоятельствомъ, что въ эту пору соты окончательно поспѣваютъ, добыча («взятка») пчелы начинаетъ умаляться, —

*) Въ послѣднее время тотъ же опытъ очень остроумно продѣлалъ dr. Zoll съ «солнечнымъ миѳомъ о Бисмаркѣ».

«ильинскій рой не въ корысть!» говоритъ пословица пчелинцевъ,—а первый осенній праздникъ, да еще какъ мы видѣли, справляемый всѣмъ обществомъ, давалъ предлогъ обробовать новые меды. Такія же хозяйственныя, ничего общаго не имѣющія съ небесными медами, пословицы— «до Ильина дня сѣно сметать—пудъ меду въ него накласть», «до Ильина дня въ сѣнѣ пудъ меду, а послѣ Ильина— пудъ навозу» и. т. п. Рѣзкій поворотъ лѣта на осень, пріуроченный къ празднику, отмѣченъ въ народномъ календарѣ множествомъ подробностей. Съ Ильина дня «и камень прозябаетъ»—по первымъ утренникамъ; до Ильина дня тучи по вѣтру идутъ, а послѣ Ильина противъ вѣтру; до Ильи попъ дождя не умолитъ,—послѣ Ильи баба фартукомъ нагонитъ; до Ильина дня и подъ кустомъ сушитъ, послѣ Ильина дня и на кустѣ не сохнетъ и т. д. Ясно по здравому смыслу, что изреченія эти—плоды отнюдь не суевѣрія, но просто естественнаго наблюденія за годовымъ кругомъ. Лишь одна изъ примѣтъ, говорящая о нагонѣ дождя бабьимъ фартукомъ, содержитъ намекъ на колдовской способъ «накликать дождь», махая одеждою, упоминаемый не только во многихъ дѣдовскихъ процессахъ, но и въ разсказѣ князя Андрея Михайловича Курбскаго о взятіи Казани. Но шутливый тонъ примѣты указываетъ, что она создалась въ весьма позднее время, когда въ колдовство уже перестали вѣрить, дерзали надъ нимъ трунить и подсмѣиваться, какъ надъ безсильною небывальщиной. Вѣрованіе стихійной религіи, христіанское суевѣріе и культурное переживаніе, безсознательное и незамѣчаемое, или же исполняемое съ окраскою насмѣшливаго скептицизма,—таковы три исторически послѣдовательныхъ фазиса въ жизни каждаго миѳическаго образа и представленія. Переживъ ихъ всѣ три, повѣріе изчезаетъ, и память о немъ стирается съ лица земного. Ильинскія повѣрья—еще въ третьемъ фазисѣ: надъ ними иной разъ трунятъ, но съ ними считаются.

1898—1900.
СПБ.

20



This book should be returned to the Library on or before the last da[y] stamped below.

A fine of five cents a day is incurre[d] by retaining it beyond the specifie[d] time.

Please return promptly.

DUE NOV 18 '50

JUL 2? '52 H

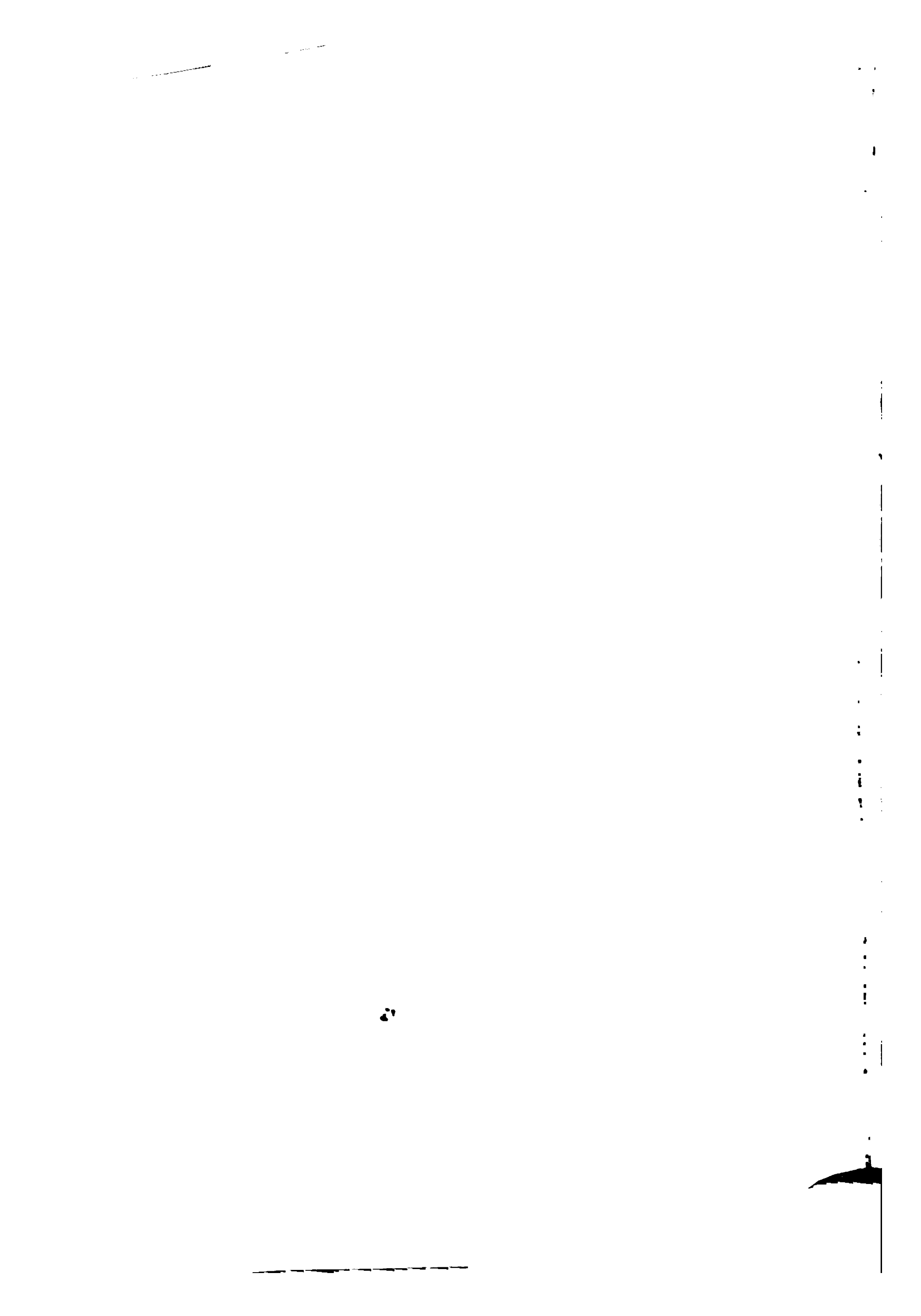
FEB 2 '59 H

JUN 9 '64 H

282.687

WIDENER
STALL-STUDY
JAN 28 1999
CHARGE
CANCELLED

1 195 724



he Library on or before the last date
tamped below.

A fine of five cents a day is incurred
by retaining it beyond the specified
time.

Please return promptly.

DUE NOV 18 '50

JUN 9 '64 H

82.682

WIDENER
ALL-STUDY
JAN 2 8 1999
CHARGE
CANCELLED

